
Даниил ГРАНИН

ВЕЧЕРА С ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ

Сообщения и свидетельства господина М.





К 300-летию Санкт-Петербурга



Даниил Гранин

ВЕЧЕРА С ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ

Сообщения и свидетельства господина М.

«Историческая иллюстрация»
2000

Гранин Д.

Вечера с Петром Великим (Сообщения и свидетельства господина М.). – СПб.: Историческая иллюстрация, 2000. – 432 с.

Новый роман известного писателя Даниила Граниина посвящеи самой выдающейся и загадочиой личиости российской истории — императору Петру Великому. Череда героев и событий, таииствеииых и мистических случаев, придворных интриг, любовных историй и воеииых триумфов стаиовятся предметом обсуждеиия и жарких споров компаиии отдыхающих в саиатории иа берегу Фииского залива.

На страиицах ромаиа Петр предстает перед читателем не только Великим Государем, Воииом, Созидателем, Учеиым, Писателем, ио и Человеком со всеми его достоииствами и иедостатками, возвышеииыми и иизмеииыми страстями, жестокостью и милосердием.

Автор выражает признательность губернатору Ханты-Мансийского автономного округа А. В. Филипенко, Главному управлению культуры Ханты-Мансийского автономного округа и президенту Фонда памяти светлейшего князя А. Д. Меншикова С. В. Филиппову за содействие в издании и финансировании этой книги.

ISBN 5-89566-019-3



ВСТУПЛЕНИЕ

Прибрежный корпус санатория стоял заколоченный. В нем жили летучие мыши, просто мыши и привидения.

После ужина, раздвинув доски, мы поднимались по широкой мраморной лестнице, мимо разбитых ваз, шли через залы на галерею. Под ногами хрустели осколки бутылок, валялись бумажные стаканчики, окурки. Линолеум был содран, перегородки разобраны, углы завалены железными кроватями, обои висят лохмотьями. Разруха обнажила старый дворец. В большом зале остался ломаный камин, весь заваленный бутылками. Пахло пометом, мочой, тленом.

Мы выходили на галерею. От парка поднималось тепло. Был виден залив, над темным обрывом горизонта в небе горело розовое зарево вечернего Петербурга.

В парке шумел водопад.

Молочков рассказывал, кто тут гулял при Петре, при Екатерине. Он их всех знал.

Привидения иногда спускались в парк, их видели в каменных беседках.

На галерее стояли скамейки, круглый столик и одно плетеное кресло. Оно было отдано профессору Челюкину.

В нем все соответствовало крупному ученому: аккуратная седая бородка, перстень, глубокий бас, даже имя-отчество – Елизар Дмитриевич. Занимался он лесными букашками-вредителями, обожал всю эту суетливую мелочь – жучков, червячков, таракашек, написал о них несколько монографий. Леса, которые они портили, он тоже любил.

– Человек это не только человек, – возглашал Елизар Дмитриевич, – это еще и звезды, и божья коровка, и гадюка.

Санаторий назывался „Канюк". Говорили, что есть такая птица. Больные называли его „Каюк". Это было справедливо, санаторий разваливался. За нами никто особо не смотрел, мы жили свободно, лениво, Гераскин приносил „маленькие", Антон Осипович соленые огурцы и соленые помидоры, раздавал их, спрашивал: „Что сказал Чехов?" и сам отвечал: „Сколько ученые ни думали, лучше закуски, чем соленый огурец, придумать не могли".

Антон Осипович соблюдал порядок – мы должны были произносить тосты, чокаться, пить с перерывами и без принуды.

Первым хмелел Молочков. Если его не завести, то он удалялся в себя, что-то шептал, бормотал, чему-то улыбался. Заводили его на исторические темы. Он был историк, хотя всячески открещивался, утверждал, что он всего лишь учитель, дилетант, недоучка, что у него нет научных работ.

Всю жизнь он увлекался петровским временем; стоило ему начать рассказывать про Петра, голубые глазки расцветали, голос креп, вялое лицо оживало.

В том, петровском, окружении у него имелись друзья и недруги, придворные дела волновали больше, чем нынешние.

Однажды он появился расстроенный, хлопнул стопку водки не закусывая, еще одну, после чего сообщил, что в Лондоне на аукционе продали архив Петра Андреевича Толстого. Кому – неизвестно. Наши, конечно, проморгали, да и наверняка не стали бы тратиться. Хоть бы одним глазком взглянуть – что там было. Видать, те документы, что Толстой вывез из заграничной своей командировки.

Петр Андреевич Толстой, пояснил он Гераскину, был правитель Тайной канцелярии, крупный сановник, может, третье лицо в государстве – примерно как Берия при Сталине, если считать вторым Маленкова. Что он мог вывезти? По-видимому, компромат на некоторых деятелей. Куда-то в надежные места пристроил. За такие материалы он, Молочков, все бы отдал.

Гераскин на это засмеялся.

– Да что у вас есть? Одно название – учитель. И то уволенный. А учитель, известно – низший член нашего общества.

Специальность Гераскина была резать правду-матку, и он резал ее с удовольствием, поскольку видел себя представителем исчезающего класса пролетариев. С падением советской власти, говорил он, царство рабочих и крестьян кончилось. Взять нашу компанию: профессор, учитель, чиновная шишка – это Антон Осипович; не то актер, не то художник, не разбери поймешь, – это Серега Дремов и им подобные, один он, Евгений Гераскин, – представитель прежнего Его Величества рабочего класса, ныне шофер-дальнобойщик, занятый перевозками сомнительных грузов по сомнительным адресам.

Молочков метался по галерее, отшвыривая ногами бутылки. Мы никогда не видели его таким расстроенным. Как будто этот архив похитили у него. Петра Толстого он всегда терпеть не мог. Проныра. Двуличник. Лжец. Недаром государь подозревал его, вот и выявился: вор, злодей, преступник, шутка ли – похитить государственные бумаги.

– И что там уж такого значащего? – поинтересовался профессор.

Молочков руками всплеснул – все, все значимо, там наверняка были материалы следствия по царевичу Алексею, тайна его гибели, дела по Долгоруким, может, и на саму государыню.

– Если бы компромат на нынешних – не пожалели бы денег, – рассуждал Антон Осипович.

Вечерние птицы влетали в разбитые окна дворца, Гераскин со стуком резал последний огурец.

– Вот вы говорите – злодей, – продолжал Антон Осипович, – а может, он хотел наоборот – злодейство опубликовать. Вы напрасно отмахиваетесь, я убедился – люди злодейства совершают большей частью не по своей воле. Возьмите: такой, можно сказать, классический злодей, как Лаврентий Павлович Берия. Я вам как-нибудь про него сообщу такой позитив, ахнете. Благодарные народы ему вполне могли памятник ставить. Шекспировский персонаж, шекспировская трагедия.

Это было что-то новое, обычно Антон Осипович сообщал нам о всяких темных делишках наших начальников – похоже, кадровики делились между собой информацией, иначе откуда бы ему знать столько про министров, губернаторов, депутатов, про их детей, любовниц, виллы, обслугу и доходы.

Мы устали от его обличений, от своей бессильной злости. Злость хороша как приправа, все это жулье, что обворовывало и обманывало нас в последнее время, – оно еще отравляло нас ненавистью, не хотелось больше слушать о них.

Нас больше влекло прошлое, когда Россия мужала, поднималась как на дрожжах... Молочков рассказывал о том времени горячо и странно.

Странность же заключалась в том, что все, что происходило с Петром, происходило как бы в присутствии Молочкова. Он являлся к нам из другой эпохи и торопился сообщить новости.

Как-то, когда Молочков вышел, Серега Дремов произнес:

– Очевидец!

Ничего удивительного в этом для Челюкина не было, он считал, что самый неизученный феномен – это Время. Каждый живет в своем времени. Например, Антон Осипович остался жить в Советском Союзе. Сам Челюкин обитал в том быстротекущем времени, в каком жили его сезонные букашки, а то и однодневки.

– Врет, как очевидец, – сказал Антон Осипович, подчеркивая слово „врет", хотя нас поразило „очевидец", – а ведь именно очевидцы-то перевирают – заботятся о впечатлении, им надо удивить, ужаснуть, обрадовать.

– Чего вы хотите, – обращался к нам Серега Дремов, – разве мы больше знаем, что там за кремлевскими стенами? Тоже гадаем, ловим слухи.

О чем-то Молочков явно умалчивал: говорит-говорит и вдруг оборвет себя. Иногда злился на кого-то из петровских деятелей: только и знают толковать, кто ближе государю, кого куда назначат.

Признался в своих симпатиях к Анне Монс, любовнице Петра.

Насчет Меншикова выразился так: „Раз государь держит его, не удаляет, значит, есть основания“.

Или вдруг: „Мне кажется, Меншиков благородного происхождения“.

Дремову нравилось воображать, будто Молочков встречался с Петром Великим, однажды он попробовал подступиться к этой теме, Молочков ответил: не, мол, не получилось.

Серьезный его тон смутил Серегу. Гераскин погрозил пальцем: „Не вникай, не нашего ума это дело“.

Посидев в тюрьме, Гераскин твердо усвоил, что все люди психи, у каждого свой Фантомас, у одних торчит, у других спрятан. Мир полон чудес, чудеса украшают жизнь, и не надо их разоблачать. Что касается Времени, то все как нельзя просто:

Время, времячко идет,
Время катится,
Кто не пьет,
Не ....,
Тот спохватится.

Любовь Молочкова к Петру удивляла и нравилась Гераскину. Хоть один достойный правитель нашелся.

– А может, там были сведения о заграничных счетах сенаторов, – не унимался Молочков.

– Уже тогда изловчились, – сказал Дремов.

– Много не надо смекнуть: у нас в России деньги не спрячешь, – сказал Гераскин.

Антон Осипович, человек практичный, поинтересовался судьбой заграничных счетов – что с ними стало?

Вздыхая, Молочков выдавал чужие секреты. Окном в Европу стали пользоваться сразу, пристраивали капиталы в банках голландских, английских.

Князь Голицын, князь Куракин, кое-кто из Долгоруких, более всех, конечно, Меншиков. После его смерти императрица

Анна Иоанновна вместе со своим фаворитом Бироном немедля принялась выяснять, как вызволить меншиковские вклады из голландских и английских банков. Банки пояснили, что деньги могут забрать только законные наследники. Эти заграничные банки позволяют себе. Бирон пораскинул мозгами и придумал комбинацию – царским указом помиловали и вернули из Березова сына и дочь покойного князя Меншикова. Бирон принялся их обхаживать. К дочери светлейшего посватался Густав Бирон, брат фаворита, они сочетались браком и отправились в Европу за деньгами. Сын же Меншикова задержался, пришлось его припугнуть, дали ему какое-то звание, деревушку, сотню крепостных, и все заграничные капиталы Меншикова прибрали к рукам.

Конечно, Меншиков охулки на руки не клал, но все же он был Молочкову симпатичнее этих шакалов.

У каждого была своя стезя, каждый каким-то образом нашел ее, обрел, приладился. Самое важное в жизни, считал Серега Дремов, найти свою стезю, нашел – и все остальное приложится, не нашел – и будешь болтаться как дерьмо в проруби. Стезя – это не призвание, это дело. Гераскин жалуется – не учился, остался обалдуем, вот и держись за бублик-баранку. Так хоть держится. А он, Дремов, мечется столько лет, ни за что уцепиться не может. Актера из него не вышло, подался в режиссеры, хотел поставить „Историю города Глупова“ – не дали. Сочинил пьесу о Марке Аврелии – не взяли. Перешел в театральные художники, а радости нет, годы идут без божества, без вдохновения. Должно же у него что-то быть, к чему-то он предназначен, неужели так вот и проживет, не узнав, где его талант.

Он завидовал Молочкову. Сутулый, бледный, некрасивый человечек, сразу видно неудачник, с диссертацией не получилось, публикаций нет – и никакой ущербности, парит, ликует в своих эмпиреях. Ведь если разобраться, у него и таланта особого нет. Только страсти. Может быть, эти страсти и есть призвание?

Ходит Молочков в драной лыжной куртке, денег нет, пьет на халяву и уверен, что все было у Петра не так, как преподносят.

Рассказывал Молочков артистично, у него и дикция, и напор, так ведь не со сцены, всего лишь кучке профанов. Чего ради силиться?

Молочков отвечал не очень понятно: „Солнце мешает видеть звезды". В нем многое было непонятно. Счастливый неудачник. Может, все дело в том, что Молочков сумел сосредоточиться, сфокусировать себя; когда человек сосредоточится, он способен совершать чудеса.

Мысль эта профессору Челюкину понравилась. Человек не знает своих возможностей, у нас культ гениев, на самом же деле цивилизация больше обязана людям, которые умеют сосредоточиться на чем-то.

Неожиданное утешение пришло от Антона Осиповича. Как специалиста по кадрам.

– Ты, значит, хочешь узнать свое дарование, так? Допустим, есть у меня метод. Прибор вроде детектора лжи. Могу и другим способом. У меня опыт есть. Определю. И что? Думаешь, тебя озарит и жизненный путь откроется перед тобой во всей красе? Эх ты, несмышленыш! Тут-то и начнется мучение. Потому что прибор покажет, что твое настоящее призвание – портной. Обрадуешься? Или к примеру – ветеринар! Ты ведь на меньшее, чем Булгаков, чем Мейерхольд, не согласен. А тебе кошачьего врача предлагают. Вот и живи с таким ярлыком. Может, и мне на самом деле не в кабинетах сидеть, а у плиты стоять поваром.

В такого рода разговорах Молочков участия не принимал. Он удалялся в себя, становился незаметным. Что это было – энергия присутствия, энергия молчания? Не поймешь. Если к нему обращались, он отвечал виноватой улыбкой глухого, она обезоруживала.

Вдруг он возвращался, чтобы огласить свою находку или изумление: Петр-то что надумал: взял и разделил помолвку и свадьбу. Раньше они шли одна за другой, заставил их развести

на шесть недель, чтобы молодые подумали, присмотрелись друг к другу. Придумал ли сам, высмотрел в Европе – без разницы, мудрость не в том, чтобы придумать, а в том, чтобы использовать.

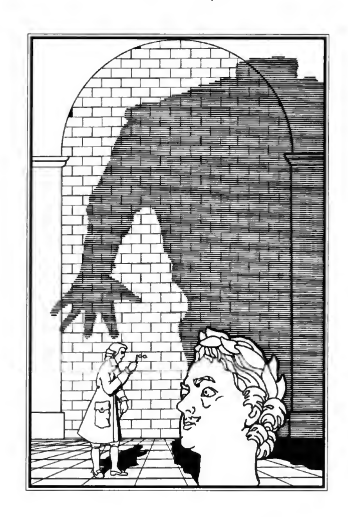
Наверное, нам самим нравилось видеть странным его поведение, так же как нравились рассказы медсестер о призраке графини Румянцевой, которая ходит тут среди пивных бутылок и окурков.

Ухмылки кончились с того дня, когда Антон Осипович объявил, что нынче вечером Молочков опоздает, а то и вовсе не будет, его увезли в город.

Осведомленность Антона Осиповича не вызывала вопросов. Информация поступала к нему неведомыми путями. Приехали за Молочковым из Русского музея, недавно найден был в провинции чей-то старинный портрет, надо было установить, кто изображен. К услугам Молочкова, оказывается, и раньше прибегали, каким-то образом он мог определять на портретах лиц из петровского окружения. Сотрудники музея говорили, что Виталий Викентьевич их узнает. Как это происходит, они не выясняли, „чтобы не сглазить“. К нему обращались и коллекционеры. Иногда он брал портрет домой, как они выразились – „вспомнить“.

На этот раз „атрибутация“ прошла быстро. Молочков сказал нам, что легко определил молодого Якоба Штелина, некоего петербургского немца, к тому же своего дальнего предка по отцовской линии. Им он когда-то занимался, он-то его и сблизил с Петром.

Глава первая



ПРОФЕССОР АЛЛЕГОРИЙ

От Якоба Штелина и начались неприятности у Молочкова. Кто такой этот Штелин, мы понятия не имели. И о самом Молочкове мало что знали. Мы с ним уже неделю общались и, чем больше общались, тем более странным он казался. Вроде бы ничего особенного – учитель средней школы, вернее бывший учитель, отстранен. А еще раньше уволен был из Института истории и еще откуда-то. И внешность была заурядная: человека, сильно траченного жизнью, болезненного, и все же он продолжал свои игры с ней: в прятки, в маскарад, не поймешь, что-то ребячье, увлеченное вспыхивало в нем, когда удавалось его разговорить.

Мы слушали его рассказ о Штелине, долго не улавливая, чем эта биография заслуживает внимания: добросовестный служака, законопослушный, жизнь без зигзагов и страстей. Но что-то же занимает в ней Молочкова? Приходилось внимать терпеливо.

Анекдоты о Петре, собранные этим Штелином, вызывали у учителя сомнения. Для работ Молочкова книга Штелина могла много значить. Надо было перевести с немецкого еще его письма, расшифровать записи, сделанные готическим шрифтом, а были еще записи по-латыни, совсем не доступной Молочкову. Но тут подоспела кандидатская диссертация, заказанная ему одним министерским прохвостом. Время от времени Молочков зарабатывал, изготавливая исторические диссертации для состоятельных клиентов. Заказчик согласился оплатить переводчика, правда, гонорар Молочкову секвестировал, заявив, что наука требует жертв.

Появился Якоб Штелин в Петербурге в 1735 году. Приехал из Лейпцига, где получил образование и занимался

всякой всячиной, переводил с древнегреческого стихи Сафо, играл в оркестре у Иоганна Себастьяна Баха, устраивал фейерверки для княжеского двора. С юношеским пылом брался за любое дело. В ту пору Российская Академия разыскивала в Европе специалиста по иллюминациям, императрица Анна Иоанновна выразила пожелание обновить сие искусство в России и поручила это дело Академии наук, кому ж еще заниматься устройством увеселений. Кто-то порекомендовал Академии молодого иллюминатора из Лейпцига, а может, он сам напросился, был заключен контракт „для аллегорических изобретений, иллюминаций и фейерверков", и Штелин отправился в Россию искать своего счастья.

Жалованье положили приличное, двор с расходами на такое дело не считался, молодой человек мог развернуться и стал вовсю расписывать северный небосклон своими огнями. Попутно он вызвался составлять гороскопы. Затем сделал проект подъема большого колокола для собора. Он ни от чего не отказывался. Взялся наладить гравировальное дело, стал выпускать газету, ремонтировать башенные часы, ему следовало зарекомендовать себя.

Россия ему нравилась, здесь он обрел уверенность, образованных немцев в России ценили. Он с удовольствием слагает оды к торжественным придворным датам, готовит праздничные представления с аллегориями.

С петровских времен процветало искусство аллегории, целая система понятий в зрительных образах, доступная широкой публике. Поучительные сцены изображали рисованные фигуры: Порок соблазняет Невинность, Корысть и Тщеславие борются со Скромностью, атрибуты были разработаны со всей тщательностью. Все они что-то держали в руках, были стройны, горбаты, юны, дряхлы, могучи, хитры.

Штелин ловко управлялся с этой компанией, где действовали Коварство, Измена, Победа, Благоверие, Слава. Соответственно одевал их, наделял репликами, нарядами, мечами, венками, лирами...

Обнаружив, что в России нет истории национальных искусств, он, не долго думая, принялся за ее составление. Ему помогала самоуверенность. История театра, музыки, литературы, живописи – материалов хватало, дело спорилось, он управлялся с любыми жанрами.

В архивах попадались курьезы недавних петровских времен. При дворе тоже ходило множество легенд о великом государе. Анекдоты были один другого забавнее. Штелин стал записывать их, не пропадать же добру. Эта плюшкинская страсть сохранять всякую мелочь для историка вполне достойная. С немецкой добросовестностью он старался отделить правду от вымысла. Понимал, что рассказчики округляли сюжет, приукрашивали. Интересная особенность: когда он начинал тут же, при рассказчике, делать записи, рассказ становился строже и достовернее. Были истории невероятные, но, чем дальше, тем тверже он убеждался, что как раз невероятное было свойственно Петру; вдруг находился новый свидетель, который подтверждал, казалось бы, совершенно сказочный сюжет. Прав был один из первых учителей христиан Тертуллиан: „Верю, потому что абсурдно“.

В конце концов Штелин решил, что его дело собирать и записывать все стоящее, а дальше видно будет.

Собирать анекдоты было интересно, но никто за них не платил. Заказы же на праздники прибывали. В России сиятельных особ хватало. Всем нужны были оды, лестные представления, роскошные иллюминации. Не годилось отказывать, да и не хотелось упускать подарков, наград, полезных людей. Ковры, перстни, шубы – грех было пренебрегать.

Кроме того, служить при дворе значило постоянно следить за переменами, угадывать новых фаворитов. Неосторожное слово, не тот поклон – везде скрывались ловушки.

Он добился расположения всесильного Бирона. Однако прочности не было; умерла Анна Иоанновна, начались шаткие времена, правители сменялись и сменялись, неизвестно, к кому прилепиться. Немецкую партию стали теснить. Бирона свергли, но Штелин вовремя успел перейти на сторону Елизаветы

2 Заказ № 164

Петровны. Бирон оказался в ссылке, а Штелин получил звание профессора Академии.

Бирона подсидел граф Миних, став первым министром, под Миниха копал вице-канцлер Остерман. „Танцы на вулкане“, – повторял Михайло Ломоносов. Высокочтимый друг, он помогал Штелину, переводил на русский его оды, сам сетовал на изменчивость власти.

На что Остерман – непроницаемо-осторожнейший, один из всех немецких царедворцев взяток не брал, ни в каком лихоимстве замечен не был, чуть что удалялся по болезни – и тот не уцелел, окончил дни свои в ссылке.

Русские друзья предупреждали Штелина непонятно – „держи ушки на макушке“. Ломоносов разъяснил, что сие значит, погрозил пальцем – суетишься много, нынче дороже рубля не шути.

Вступив на престол, Елизавета выделила Штелина среди прочих претендентов в наставники своему племяннику Петру Третьему – будущему императору.

Штелин не скрывал восхищения ее красотой, ни на что не претендуя, сопровождал иллюминации неуклюжими текстами в ее честь:

Надежды с правом
Ныне довольны,
Желание с верностью
Спокойны,
Того Россия токмо ждет,
Да век живет Елизавет!

Он продвигался потихоньку, не вызывая зависти, не хвастаясь, стараясь изо всех сил. Приобрел дом, выгодно женился, добился звания надворного советника. Его поощряли прежде всего как специалиста по светопредставлениям, по элоквенции, то есть красноречию, как знатока аллегории – занятия эти двор чрезвычайно приветствовал. На самом же деле его следовало чтить за труды по истории русского искусства, но это мало кого интересовало.

Время от времени он пополнял свою коллекцию анекдотов. Чтобы всерьез заниматься сбором, следовало самому искать сподвижников Петра, его денщиков, кучеров, адмиралов, врачей, сенаторов – навещать их, часами выслушивать воспоминания, вылавливая среди потока пустяков стоящее. При этом полагалось пить, угощать, угощаться.

Он видел, как следы Петра быстро зарастали, смерть подбирала последних его спутников. Скончался корабельный мастер, с кем Петр работал на верфи, умер адмирал Сиверс, умер Василий Долгорукий – смерть похищала целые страницы из жизни царя.

Досада коллекционера терзала Штелина. Однако дворцовые события не давали передышки. Его воспитанник Петр Третий стал царем и, не успев усесться на троне, был свергнут супругой Екатериной и вскоре погиб при неясных обстоятельствах. Как ни удивительно, Штелин и от этого выиграл. Воспитанник давно раздражал его своими капризами, презрением к России; куда привлекательнее для Штелина была принцесса Екатерина: любознательная, охочая до книг, – они часами беседовали вдвоем. Когда Екатерина стала Екатериной Второй, полновластной хозяйкой, Штелин оказался в числе приближенных, получил чин статского советника, ему поручили готовить коронацию в Москве. Он с головой отдался этому делу и изготовил церемонию на славу.

За коронацией сразу же последовали выборы конференц-секретаря Академии наук, ему удалось избраться, дальше шли выборы в члены Вольно-Академического общества, там ему надлежало произнести речь в честь молодой правительницы России. Сочиняя речь, Штелин вложил в нее все свое искусство. Фрейлина императрицы баронесса Розен поздравила его с успехом и спросила, как его коллекция анекдотов. Штелин снисходительно махнул рукой, сейчас не до пустяков, нынешнее царствование обещает великие события! Не упустить бы момент, пока слава ласкает, все остальное подождет.

Если бы мог Молочков подсказать Штелину, в чем состоит главное его дело.

Почему человек не знает своего предназначения? Даже гении не сознают своего дара. Вагнер ценил свои стихи выше музыки. Ньютон считал величайшим созданием своей жизни замечания на Книгу пророка Даниила.

Анекдоты из коллекции Штелина значили для Молочкова больше, чем иные исторические документы, они выхватывали Петра из тьмы прошлого, как моментальные снимки. В памяти свидетелей сохранялись его неожиданные поступки, нечаянные фразы, то, что поражало воображение, но, как правило, не попадало ни в какие документы, воспоминания.

Некоторые анекдоты Молочков сумел проверить, события в них оказались достоверными. Штелин ничего не осмеливался присочинять, всякий раз сообщал, от кого сие слышал, да и рассказчики не слишком фантазировали – из почтения к государю. Но даже в сомнительных анекдотах присутствовала история, важно ведь было и то, почему такой анекдот прилепился к Петру, с чем это связано.

Тем временем новое событие увлекло Штелина: государыня Екатерина задумала соорудить памятник Петру Великому. Штелин не мог оставаться в стороне. Кому как не ему – историку, создателю аллегорических фигур, знатоку искусств – представить императрице проект памятника.

Один из первых он подает свой проект. Потом второй, третий.

Триумфальный столп, где изображены подвиги Петра и его деяния, конная статуя, пешая статуя... Памятники он украшает подробными надписями, окружает аллегорическими фигурами. Чего он только не напридумывал. Проекты подал и Ломоносов, и другие академики. Но у Штелина были подробнее разработаны все аллегории; заслуги Петра – добродетель попирала ногами пороки. Добродетель была прелестна и молода, пороки плешивы, уродливы и норовили извернуться. А то еще распростерлись чудовища, низложенные храбростью Петра.

Свои мысли изложил и Михайло Ломоносов, письма шли к Екатерине со всех сторон, она поручила разбираться с ними президенту Академии художеств Ивану Ивановичу Бецкому.

Бецкому аллегории нравились. Он видел будущий памятник в духе знаменитой римской статуи Марка Аврелия. Сановник он был крупный и по российскому обычаю полагал командовать художником, коему будет поручено, – конечно, в соответствии с установками, полученными от Ее Величества. Она же хотела иметь памятник великому реформатору, творцу могучей империи. Это тоже не исключало аллегории. Например, штелинские чудовища вокруг пьедестала: грубое Невежество, безумное Суеверие, нищенствующая Леность и злобная Ложь. Петр всех четырех заковал в цепи.

Перечень понравился не только Бецкому – он и нам нравился, еще бы придобавить безудержное Казнокрадство, но его-то даже Петр заковать не сумел.

Проекты памятника обсуждались активно. В екатерининские времена общественность участвовала в государственных делах поболе, чем нынче. Насчет коня разногласий не было. Хотелось, конечно, и корабль соорудить – основателю флота, но совместить коня с кораблем было затруднительно. На постаменте – несомненно, барельефы, конечно – Полтавской битвы, Гангута, победы под Лесной... Некоторые интеллектуалы предлагали у подножия установить аллегории с латинскими надписями. (Штелин выдвинул фигуры четырех добродетелей: Трудолюбие, Благоразумие, Правосудие, Победа. Четыре девы хороводом вокруг Петра.) Прислал свои пожелания друг и поклонник Екатерины француз Дени Дидро. У него одна дева должна была изображать любовь народа, другая – побежденное Петром варварство. Интересно, конечно, как художник изобразил бы этих особ. Из Германии прислал свои соображения историк Гердер: Петр держит в руках карту России, вокруг навалена куча математических инструментов: циркули, линейки, подзорная труба, компас и прочие доказательства того, что перед нами царь-ученый, а не просто вояка, захватчик. Немецкий историк проповедовал в этом проекте свои принципы – отвращение к войне, непочтение к героизму и всяческим героям-полководцам, осуждение государственного стремления расширять границы. Его идеал монарх-ученый,

такого монарха он еще тогда увидел в Петре. Русские, считал он, занимают на земле больше места, чем в истории, и он хотел устранить эту несправедливость – за счет увеличения места в истории.

Доморощенные российские проекты, а их было немало, Екатерина без сожаления отклоняла. И памятник, сделанный Растрелли при жизни Петра, ей тоже не подходил, слишком спокоен, завершенность созданного. По совету Дидро она пригласила из Франции профессионала, известного скульптора Фальконе.

Скульптор Фальконе не хотел никаких девиц, чудовищ и прочих хороводов. Для него Петр был сам по себе сюжет. Чем проще, тем сильнее. Петр не нравился многим современникам, – что ж, он сделает Петра, который видит тех, кто еще не существует и кто будет благословлять его.

Фальконе ставит скалу, на ее крутизну взбирается конь. Скала не безразличный постамент, она сама по себе эмблема трудностей, которые Петр преодолел. Памятник-метафора. Настоящая метафора обеспечивает памятнику будущность.

Первая модель из глины вызвала у Штелина недоумение. Идея показалась беспомощной, слишком отвлеченной: всадник на коне, конь на скале и более ничего. А где же рассказ о заслугах царя, о том, чем ознаменовано его царствование?

Он принялся вразумлять француза: Россия к памятникам не привыкла, русскому человеку надо растолковать что да как – понятными иллюстрациями, текстом. Показал Фальконе свои проекты, мастерски исполненные аллегорические фигуры, кольцом окружающие Петра. Надписи по-латыни и по-русски – перечислялись победы, свершения. Привел анекдоты из своей коллекции.

Анекдоты позабавили Фальконе, история же побед и реформ ему быстро наскучила.

– Зачем мне это? – сказал он, потягиваясь.

Хоровод аллегорических девиц – Слава, Победа, Премудрость и прочие – вызвали у него смешок: Петр, нормальный мужик, должен на них заглядываться со своей скалы, грудки-то торчат совсем не аллегорические.

Бесстыдно подмигивая, он рассуждал, как сократить жеребячьи принадлежности вздыбленного коня.

Штелин обиделся. Неужели француз не понимает, кто перед ним, ему бы прислушаться, благодарить, он же ухмыляется, будто ему известно нечто иное. Потом сказал, что Штелин, как анатом, – вскрыл труп и думает, будто узнал человека. Перечень дел Петра – это не Петр.

Штелин настаивал, продолжал уговаривать, пока Фальконе не выдержал и, схватив его за отвороты сюртука, затряс:

– Каким он был, твой Петр, никто не знает. Он будет таким, каким его сделаю я, Этьен Морис Фальконе! Таким и станут знать Петра потомки, запомни!

Возмущенный Штелин пожаловался Бецкому, просил обратиться к императрице, установить хотя бы барельефы, нельзя оставить памятник немым. Бецкой поддержал Штелина, но Екатерина не вняла, она была на стороне скульптора. Штелин в сердцах бросил Бецкому, что государыня заботится не о Петре, а о своей славе просвещенной европейской правительницы, подруги Дидро. Неосторожно вырвалось, себя не помнил, впервые с ним такое приключилось, слава богу, Бецкой сделал вид, что не слыхал.

Бецкий был не начальник-бурбон – знаток искусства, друг французских энциклопедистов, горячий поклонник античности. Проект Фальконе – скала, одинокий всадник, взлетающий на нее, – не соответствовал античным канонам, таким образцам, как статуя Марка Аврелия. Античность, спорил с ним Фальконе, не предмет абсолютного поклонения. И в древности создавалось немало дряни. Статуя Марка Аврелия прекрасна, есть, однако, и другие средства достигнуть желаемого. Бецкой потребовал от Фальконе письменных объяснений. Тратить на это время Фальконе не желал и обратился к императрице. Хотя Екатерина высоко чтила Бецкого, тем не менее встала на сторону Фальконе. Она сразу сумела оценить его замысел. Распознать в художнике талант дано не всякому, а тем более преимущества замысла дерзкого, небывалого. Русские цари время от времени в этом разбирались неплохо. Екатерина написала

Фальконе, чтобы он не обращал внимания на критиков: „Вы сделаете в сто раз лучше, слушаясь своего упрямства".

Фальконе и его подруга Мария Колло как ни в чем не бывало приглашали Штелина в мастерскую на свои пирушки, благо он хорошо говорил по-французски. Всякий раз он видел, как утверждается будущий памятник. Безгласный Петр в нерусской одежде, не ведомый никому всадник, без скипетра, державы, без короны взлетел на край скалы. Это самоубийство! Подвел Россию к пропасти?..

Однажды Штелин пришел в мастерскую, когда там никого не было. Пьяный сторож храпел в углу. Большая модель памятника высилась на дощатом помосте. Низкое закатное солнце смотрело в широкое окно. Тень всадника и коня на белой стене то расплывалась, то придвигалась из солнечной дымки. Тень Штелина тоже обозначилась где-то внизу.

Невесомые тени сошлись. Конь мчался на Штелина, можно было тронуть его рукой, и всадник был рядом, узнаваемый разом по силуэту – Петр! Солнце входило в мастерскую, гасло и вновь входило, огромный всадник и его конь надвигались, это был не просто конь – буря, пылающая жаром, никто кроме Петра не мог обуздать такого коня, эту стихию, сдержать ее над бездной.

Воля – вот чего всегда не хватало России, вот что внезапно увидел Штелин – воплощение воли! Идея личности Петра явилась Штелину, об этом он подробно написал своему другу в Лейпциг. Сам ли он высмотрел ее в памятнике, или же она была задумана скульптором – неважно, важно, что эту суть он прочел без надписей, без аллегорических фигур, они все вошли в него, все победы Петра, реформы, одоления...

Тень не нуждалась в деталях, она была идеальным обобщением. До сих пор Штелину не удавалось определить характер Петра – вспыльчив, но и дьявольски терпелив, умел ждать и не умел ждать, то скуп, то щедр, то остроумен, то пьяно-туп. Что он был за человек? На этот вопрос Штелин обычно отвечал, что гений непостижим, гений не следует логике, гению

диктуют не знания, не обстоятельства, его ведет божественное озарение, не ведомое прочим натурам.

Фальконе на это пожал плечами – скульптору эти пышные слова ничего не дают. Его материал – глина, а не слова.

Нахальный француз, грубиян, выпивоха, зубоскал – он постиг, его осенило! Глина! За что, спрашивается, этому прощелыге такая милость, почему ему достался Божий промысел? Несправедливо!

Вдоль стен на полках стояли бюсты Петра, Екатерины, самого Фальконе, Дидро – вылепленные Колло. Тонированная голова Петра выделялась своей мощью.

На глазах Штелина один за другим сменялись правители, государыня Екатерина пятой была – каждый был понятен, явление же Петра чем дальше, тем становилось загадочней. Как он мог из духоты ленивого кремлевского быта, из вялой замкнутой российской жизни взлететь – этот стремительный вихрь, закружить всех, увлечь... Откуда такая тяга к просвещению, отказ от царской роскоши, как появился этот сгусток энергии, эта стрела, пущенная невесть кем... Однажды Ломоносов сказал Штелину: „Следы Петра надо искать не в прошлом, они идут к нам из будущего".

В том же письме в Лейпциг Штелин признавался, что готов был разбить гипсовую модель памятника, о, если бы этим можно было уничтожить творение француза! Но созданное не разбить, памятник существовал в сознании не только Фальконе, он обосновался в сознании самого Штелина, изгнать его оттуда уже невозможно.

И все равно хотелось его уничтожить.

Признать Фальконе гением было невозможно. Штелин ожесточенно поносил француза, не только в этом письме, повсюду он доказывал, что Фальконе не сумел слепить голову Петра сам, потому что он посредственность, что пьедестал нелеп, что памятник не русский...

Вокруг надписи на постаменте тоже разгорелись страсти. Предлагали перечислить все заслуги Петра, его таланты, хронику побед. Пышно, велеречиво. Фальконе же искал в надписи

соответствия лаконичной простоте памятника. Дидро прислал самый краткий текст:

„Петру Первому посвятила памятник Екатерина Вторая. Воскресшая доблесть привела с колоссальным усилием эту громадную скалу и бросила ее под ноги героя".

Скалу действительно доставить в Петербург стоило трудов чрезвычайных.

Фальконе, подумав, решился упростить эту надпись, несмотря на все свое почтение к Дидро.

„Петру Первому воздвигла Екатерина Вторая". Как говорил другой великий ваятель, классик Древней Греции: „По когтю узнают льва". По краткости, найденной Фальконе, можно понять, насколько верил он, что памятник не нуждался в словесной поддержке.

Надпись показали Екатерине, она взяла перо и вычеркнула глагол, оставив предельное: „Петру Первому Екатерина Вторая". Это было не просто сокращение, она вплотную приблизила себя к Петру, расширила смысл, речь шла уже не только о сооружении, а о продолжении дела Петра: Первому – Вторая; сказался и вкус ее, и политический талант. Ее памятник, он и ей памятник.

В Медном всаднике все совпало: и Петр, и Фальконе, и Екатерина.

– И Пушкин, – вырвалось у Сергея.

Но Молочков не услышал. Он продолжал про другие памятники Петру – в Таганроге, в Выборге, по его мнению, все они замечательные, не Фальконе, но все равно... Однако анекдот заключался в том, что история с надписью имела продолжение.

После смерти матушки ее нелюбимый сын, взошедший на престол, Павел Первый, решил установить собственный памятник Петру перед своим новым дворцом в Петербурге. Вспомнили об отвергнутом памятнике работы Карло Растрелли, отца архитектора Растрелли. Работу над этим изваянием скульптор начал еще при жизни Петра. Екатерину не устроил

величественный покой конной статуи императора, задумчивость всадника, одетого римским цезарем. Павлу же нравилось то, что не нравилось матери. Статую извлекли из сарая, очистили от грязи и водрузили. Надпись Павел придумал самолично в пику Екатерине: „Прадеду правнук", указывая тем самым на свое прямое родство с Петром, Екатерина же как бы исключалась, не имела русских корней, пришлая... Такая вот дуэль произошла.

Несмотря на свое восхищение Медным всадником, учитель признавал и памятник перед Михайловским замком. Там, на барельефе в сцене Полтавской битвы, рядом с Петром изображен Александр Меншиков. По-видимому, единственное тогда изображение Меншикова. Вообще-то сподвижники Петра заслуживали большего.

Русские друзья спрашивали, продолжает ли Штелин собирать анекдоты? С какой стати, отвечал он, разве он получил заказ? Но как же так, он всегда объяснял, что собирает их потому, что печется о славе России и Петра. Он вдруг ожесточился – никто из русских ведь не печется о славе Саксонии или Пруссии. Фальконе старается, потому что ему хорошо платят. Ему, Штелину, платят за иллюминации, и он делает это лучше других.

Ну что ж, это было всем понятно. Никто не удивился, когда он принялся печатать гравюры с описаниями устроенных им торжеств, ибо немало великих событий осветили его потешные огни. Хорошая бумага, отлично исполненные гравюры. Описания пользовались успехом. Граф Алексей Орлов заказал Штелину семьсот штук описаний того праздника, когда Екатерина пожаловала к нему на новоселье. Гравюры показали затейливые выдумки Штелина – фонтаны огней, горящие вензеля, вертелись маленькие мельнички. Граф дарил описания гостям и приближенным.

Штелина охотно приглашали на званые обеды, на приемы, он не докучал учеными разговорами, дарил свои произведения с автографом: „конференц-секретарь Академии", так что придавал обществу легкий блеск учености. Он упивался успехом.

Все похвалы, все знаки внимания он тщательно собирал, записывал. Показывал сыну, жене, друзьям. „Ученый художник" – называл он себя. С гордостью перечислял, где, кто требует его участия. Его деятельность: „не освещение, а просвещение". Он ведает изданием календарей.

Иногда Молочкову казалось, что Штелин изо всех сил старается доказать свои научные успехи и художественные таланты. Кому доказать?.. Для кого собирались, аккуратно подписывались все эти свидетельства? Никто так и не удосужился разобраться в его наследии.

В Академии Штелин вскоре привык чувствовать себя хозяином, командовал тоном, принятым вельможными чиновниками, после смерти Ломоносова никто ему не смел перечить, разве что Леонард Эйлер. С ним, вернее с его сыном, у Штелина произошло неприятное столкновение. Эйлер недавно потерял второй глаз, полностью ослеп, сын служил ему поводырем. Однажды, сидя в приемной, сын выразил возмущение: вторую неделю его отец добивался аудиенции у Штелина, и сейчас уже несколько часов они сидят, ожидая приема, понимает ли Штелин, кто такой Эйлер и кто в сравнении с ним Штелин с его фейерверками и бездарными стишатами. Все это и многое другое произнесено было в голос, прилюдно, в присутствии многих именитых людей. Штелин накричал на него, как бы ни был знаменит Эйлер, он обязан подчиняться порядкам Академии, и не ему судить о заслугах Штелина, на сей счет есть более высокие особы.

Сам же Эйлер в черных очках отрешенно сидел в сторонке, занятый решением задачи по теории упругости. Слепота, по его словам, помогала ему сосредоточиваться.

Власть испортила Штелина, оппозиция ему росла.

Молочков был убежден, что вхождение во власть никого не делает лучше, власть всегда портит человека.

Новым президентом Академии была назначена княгиня Дашкова.

Штелин явился к ней на доклад. Перед княгиней лежала стопа его описаний. Дашкова небрежно перелистала их и ска-

зала, что подобные труды не делают чести ни Академии, ни Штелину. Они не имеют отношения к истории, задача Академии изучать отечественные летописи, негоже, когда в Академии командуют забавники, когда деньги тратят на прославление потех.

Но это же исторические свидетельства, защищался Штелин. Дашкова не терпела возражений, но и Штелин не желал сдаваться.

На ближайшем заседании Дашкова вошла в зал, держа под руку академика Эйлера, подвела его к председательскому столу, где сидел конференц-секретарь Штелин и прочее начальство, и попросила освободить кресло для великого математика, ибо такие люди должны украшать Академию, им сидеть на почетных местах, а не профессору иллюминаций и прочих пустых занятий, иначе сама Академия станет аллегорией мнимой науки.

Речь ее звучала беспощадно, это был хороший повод заявить о новом порядке, показать себя.

С того дня к Штелину прилепилось прозвище „профессор Фейерверкин". Над ним злорадно посмеивались, анекдот пересказывали при дворе, княгиню хвалили, поскольку она находилась у императрицы в фаворе. Слава Штелина истаяла в два дня, авторитет, нажитый десятилетиями, рухнул.

Профессор аллегорий, фейерверков, давно погасших огней. А ведь казалось, что удачлив, сумел приблизиться к трону, удостаивался внимания императрицы. Добился, достиг. Хвалился перед покойной женой. Даже над Михайлой Ломоносовым чувствовал превосходство.

Штелин пытался получить аудиенцию у императрицы. Напрасно... „Лучше, милый мой, не трепыхайся", – сказал ему граф Орлов.

Наступила новая пора жизни. Он заперся дома и ждал, когда его позовут. Водянка, что его донимала, обострилась. На празднествах обходились без него. С какой легкостью он, казалось незаменимый, был вычеркнут из обихода, – остался лишь анекдот, маленькое украшение биографии

Дашковой, не более того, он присоединился к теням прошлого.

Мы все еще не понимали, для чего Молочков препарировал эту жизнь, показывал нам, как близость власти „то вознесет его высоко, то в бездну бросит без следа“. Школьный урок о суетности славы? Поучительное повествование не имело завершения, куда-то оно все же вело, не могло кончиться вот так, угасанием.

Что-то заставило Штелина выйти из этого состояния, но что именно, Молочков не знал. Штелин словно очнулся и ринулся разыскивать свою заброшенную коллекцию. В биографии каждого человека есть непонятные решения, поступки, совершенные по наитию.

Начиная с этого дня, Штелин стоял за конторкой, приводя в порядок свои записи. Сокращал, убирал позолоту, верноподданическую мишуру, отсекал все лишнее. Устав, ложился на диван и лежа продолжал работать как одержимый. Садился за стол, сидел до поздней ночи, отекшие ноги давали о себе знать.

Что побуждало его, Молочков не знал. Будь на месте Молочкова сочинитель, которому про героя все известно, он мог бы рассказать про вещий сон, это всегда эффектно. Посетило его видение Петра, потребовало. А может, привиделось будущее, оно ведь тоже подает знаки.

Но Молочков честно обозначил свое неведенье.

Штелин спешил, страх подгонял его, никто кроме него не смог бы разобраться в этих торопливых записях, сокращениях. Коллекция зияла дырами, пучилась повторами. Он отбирал лучшее, то, что отличало Петра от прочих государей, тем более российских. Теперь было видно – упустил про Тайную канцелярию, Ушаков мог бы много рассказать и про Всешутейный собор. Упустил итальянца Паоло, как его там, который вместе с Петром делал проекты дворцов вокруг Петербурга. Нашел начало рассказа покойного Федора Соймонова, обер-прокурора Сената, так и не завершил, надо было съездить к нему в Ропшу, да все было недосуг. Годы сгорели на про-

клятых фейерверках. А небо все так же чисто, никаких следов былых огней, величественных картин.

Глуховатый генерал Василий Ртищев, стольник петровский, участник юных похождений царя, в их роду ходило немало легенд о царе, братья, дядья служили Петру комнатными стольниками, учились в Италии, знали сокровенные дворцовые дела. Сам напрашивался к Штелину, ждал, ждал и не дождался.

Чем же он был так занят, статский советник, его высокородие? Черт его знает, не вспомнить. Дня не нашлось...

Врачи ничего не могли сделать с его водянкой. Живот стал огромным, Штелин весь распух, ноги, как две колоды. Он подгонял себя, не считаясь с запретами врачей.

Всего набралось около полутораста достойных анекдотов. Изложенные на его родном немецком, они выглядели малой стопкой по сравнению с кипами черновиков. Не откладывая, решил послать их на отзыв князю Щербатову, знатоку русской истории, сенатору. Князь прочел быстро, немецкий знал хорошо, рукопись ему понравилась. Он усмотрел остроумие, не известные до того добродетели Петра, главное же, убедился не в свирепости, а в терпимости Петра. Он сам давно доказывал, что зря винят Петра в непомерной строгости, не употребил бы Петр палки, так еще двести лет дремала бы Россия на лежанке, упивалась бы своим святым невежеством и высокой миссией. Князь рекомендовал издать анекдоты книгой „В наставленье государям".

Известно, что ее величество наставлений ни от кого не терпела. Намек был дерзкий.

Прослышав о рукописи, издатели из Голландии, Германии, Франции слали предложения. Русские издатели выжидали. Штелин кое-что дописал, исправил. В одном из писем в Лейпциг он удивлялся себе – откуда силы брались, судя по страшному виду своему, он должен был уже умереть. Но было еще одно дело – он хотел увидеть открытие памятника, приуроченное к столетию вступления Петра на престол. На торжества Штелина не пригласили, он поехал сам. На устланные коврами ступеньки Сената допущен не был. Стоял в толпе,

опираясь на палку. Тысячи заполнили площадь, напротив, на Васильевском, тоже теснились зрители. Императрица прибыла на яхте, прошла по красному сукну к своей ложе. Пройдя мимо Штелина, скользнула глазами, не узнав.

Августовский день, теплый, тихий, был полон блеска воды, оружия, позолоты. Преображенским полком командовал Потемкин в петровском темно-зеленом мундире. Он подал сигнал. Забили барабаны, заиграли трубачи. Взгляды устремились к дощатым ширмам. Веревки натянулись, ширмы отпали.

Единый вздох и слитный непроизвольный крик „ура!" и опять „ура!". Творилось что-то невероятное, большинство людей впервые в жизни видели памятник. В сущности – то был первый памятник в России. Грянули залпы орудий. Полки двинулись торжественным маршем. Императрица встала, принимая парад. Но все смотрели на памятник. Многие плакали.

– Такого открытия памятника больше не было, – сказал Молочков, – и не будет.

Опираясь на слуг, Штелин приблизился к подножию памятника. Цветы, венки, маленькие букеты, ленты... Слезы текли по его щекам. Он благодарил Господа за то, что дожил до этого дня. Увидев князя Щербатова, спросил, где Фальконе.

Скульптор был в Париже, его не пригласили.

– Как же так?

Князь прищурился, хмыкнул в толстые усы.

– Праздник-то чей? Ее Величества!

Спросил: издает ли Штелин свою рукопись?

– Отправил. И надеюсь, что книга побудит других искать еще разные истории о Петре. Сегодня я увидел, князь, как людям нужен образ правителя, кого можно любить. Чтобы в пример ставить.

– Много таинственного связано с этим памятником, – сказал учитель. – Фальконе уехал, так и не увидев его завершенным. Пушкин так и не увидел свою поэму напечатанной. В десятилетие со дня открытия памятника под брюхом коня

оказалась черная коза, привязанная к змее. Что сие означает, никто не знал. Дважды еще она появлялась... В блокаду хотели памятник снять и увезти в укрытие, чтобы сохранить от бомбежек. Но появился какой-то старичок и сказал, что если Петра уберут, то быть городу пусту, и так это сказал, что памятник оставили, только мешками с песком завалили...

– Между прочим, у Пушкина Александра Сергеевича отношение к этому кумиру на бронзовом коне было двойственное, – сказал профессор.

– Памятник – это метафора, каждый понимать ее волен посвоему.

– А я бы другую метафору для Петра придумал. Герб. Два скрещенных топора, один плотницкий, другой палаческий.

– Виталий Викентьевич, профессор нарочно заводит вас, – сказал Сергей. – Кого еще нам любить в русской истории, если не Петра?

– Логично, – сказал Гераскин. – Нам бы еще одного, двух таких, как Петр, и никаким Америкам нас не догнать.

– Нет уж, увольте, хватит, – сказал профессор. – Пожить бы без вождей, царей и идей.

Учитель признался, что ничего плохого в монархизме не видит. Пример Петра как просвещенного монарха много значил для всех русских царей. Но еще больше значил человеческий пример Петра, пример того, сколько может успеть за свою жизнь правитель, какие горы своротить, когда у него есть светлая цель. Феномен Петра заключается в его воле. Способных правителей в России было много, но воли им не хватало. Помогал Петру и его инженерный талант, поставив цель, он находил наилучшие пути к ней. Знал, как флот надо строить, знал, чем армию вооружить, что молодежь надо посылать учиться за границу.

Двести лет в России спорят, был ли Петр благом для России, или же бедой. Толкнул ли он Россию вперед, либо назад. Не нравится, что он традиции нарушил, оставил Россию без кафтанов и бород, учиться заставил. Екатерина Великая, которая

дела российские знала получше наших славянофилов, говорила, что, не будь Петровских реформ, Россию поборола бы склонность к старым порядкам, и еще сто лет не стащить ее было бы с лежанки. Еще она говорила, что, как бы Петр ни был вспыльчив, истина всегда побеждала его гнев. Конечно, в душе его хозяйничали не только ангелы, имелись там и демоны, но он смирял их. Считают, что Россия на вызов Петра ответила Пушкиным. А Петр, откуда он взялся? Он сам был ответом на вызов Европы. Александра Македонского обучал в детстве Аристотель, у Петра таких учителей не было. Он появился как вулкан, из подземных сил, накопленных веками русской дремоты.

Больше Штелин не вставал. Спустя два дня после его смерти сыну пришла из Лейпцига книга анекдотов о Петре. Вскоре стали приходить издания из Парижа, Амстердама.

С тех пор книга Штелина переиздается. Двести лет ею пользуются все историки петровских времен.

Однажды на городском семинаре Молочков назвал ее лучшей книгой о личности Петра. Есть еще подобные книги – Нартова, Голикова, но книгу Штелина он считал лучшей, добавил сюда еще книгу о Петре польского историка Казимира Валишевского. Сказал к тому, что увлекательная форма повествования бывает куда ценнее для науки, чем ученые трактаты.

Его выступление не понравилось. Как это немец и поляк могут понять Петра лучше отечественных историков? Слава богу, у нас хватает книг, отмеченных премиями, с чего бы это пропагандировать книги иностранцев. Штелин – типичный представитель немецкой партии в России, лукавый царедворец, его книга полна подлогов.

Профессор аллегорий и фейерверков, какой из него историк?

„Позвольте, но все ее цитируют и будут цитировать“, – настаивал Молочков... Его не слушали, ему говорили: „А ваш Валишевский смакует порнографические сплетни в духе западного чтива!“

Молочков не соглашался, Валишевский – темпераментный писатель, не в пример нашим сухарям, он чтил Петра выше

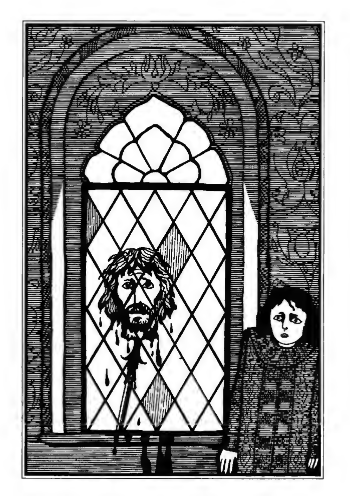
Наполеона, тот только величайший француз, но не был всей Францией, Петр для Валишевского – вся Россия, ее плоть и дух, страсть и гений. Якоб Штелин – образец добросовестности, у него не может быть подлогов, да, есть у него спорные факты, кстати до сих пор не опровергнутые. Его труд основан на первоисточниках.

– Мы не умеем быть благодарными, – твердил он. – Особенно иностранцам. Неблагодарность – наша русская черта, чтобы иностранные ученые превосходили наших – ни за что!

Беда Молочкова была в том, что он, как шахматная ладья, мог двигаться лишь прямолинейно. Отчислили его из Института с неприятной характеристикой. При этом все в Институте жалели его и винились перед ним, говорили: „Ты должен нас понять“. Когда увольняли из школы, тоже вздыхали, любили его за доброту и, как ни странно, за правдолюбие, то есть за то самое, за что увольняли.

Заговорили о том, можно ли считать книгу Штелина объективной. Почему он исключил анекдоты неприглядные? Были же с Петром истории стыдные. Были, подтвердил Молочков, было несколько совершенно неприличных историй, услышанных Штелином от императрицы Елизаветы Петровны. В том числе про Марию Гамильтон, еще про некоторых фрейлин. Государыня рассказывала в подпитии, и Штелин ссылался на нее весьма осторожно. Была история про письмо Карлу, довольно-таки похабное, про затеи, учиненные с тремя фрейлинами. Считалось, что все это Штелин уничтожил, но Молочкову удалось кое-что разыскать. Публиковать не стал, в диссертацию министерскому прохиндею, конечно, не включил, да и вообще не решил, стоит ли нарушать волю и замысел Штелина.

Глава вторая



ПРО БЕДНОГО ИВАНА НАРЫШКИНА

Для работы на верфях в Адмиралтейство прислали мастеров, собранных отовсюду. Петр приказал их выстроить, лично стал обходить строй. Адмиралтейские службы только складывались. Петр ценил свои корабли и не жалел времени узнать будущих работяг, придирчиво расспрашивал каждого – кто такой, откуда, что делал, что умеет. Дойдя до одного усатого краснорожего матроса, он остановился, ничего не говоря, начал вглядываться, пригнулся и вдруг отпрянул. Свита застыла, никто из приближенных не видел его таким напуганным. Петр закрыл лицо руками, снова открыл, задрожал, словно встретил призрак.

Матрос этот побледнел, опустил голову, сжался. Офицеры на верфи знали его как исправного работника, замечаний он не имел, на днях его произвели в боцманы. Но тут, хотя и не понимая, что происходит, старший офицер подскочил к нему, заставил поднять голову, смотреть на царя.

Смотреть на Петра было страшно – губы его дергались, голова тряслась, с трудом справился с собою, спросил хрипло:

– Ты из стрельцов?

Тот что-то забормотал.

– Отвечай!

– Да, государь... Из стрельцов.

– Из тех?

– Нет, нет! – в ужасе закричал матрос.

– Врешь! Это ты!

Петр взял его за ворот рубахи, выдернул из строя.

– Ты убивал Ивана Нарышкина!

Он не спрашивал, он выкрикнул.

Ноги матроса подвернулись, он повалился на землю, обхватил ноги Петра, завыл истошно, по-звериному.

Петр никогда не мог забыть этих стрельцов. И тех, кто приставил лестницу к крыльцу, и тех, что перебрались через решетку, оттолкнули матушку и сбросили на пики Михаила Долгорукого, за ним подступили к боярину Артамону Матвееву, вырвали его из рук царицы и, раскачав, тоже швырнули на подставленные пики. Струи крови брызнули во все стороны. Вопли несчастных смешались с ревом стрельцов: „Любо! Любо!" Забили барабаны, бердышами рубили на части тела бояр. Петр с братом Иоанном стояли на крыльце, застыв, смотрели, как отсекают руки, ноги, кидают на белокаменные плиты, сапогами топчут горячую плоть, танцуют в осклизлой кровавой каше.

От ужаса у десятилетнего Петра свело руки, ноги, лицо закаменело, он не мог открыть рта, это был столбняк, его унесли.

Братья знать не знали нитей заговора Милославских, родных первой жены царя Алексея Михайловича, не знали, что их партия старалась убрать от власти партию Нарышкиных, второй жены царя, то есть нынешней царицы, матери Петра, чтобы расчистить дорогу Софье, дочери царя от первого брака. Душой заговора был Иван Михайлович Милославский, опытный придворный интриган, он-то тайно и направлял бунт стрельцов. Так тайно, так осторожно, что только через пятнадцать лет случайно раскрылась полностью его роль.

В памяти слепящей вспышкой остались лица стрельцов, вопящих у кремлевского крыльца. Они ворвались в царские покои. Царица Наталья еле успела обоих царевичей – своего сына Петра и пасынка, шестнадцатилетнего Иоанна, – спрятать в церкви. Там перед алтарем их настигли двое пьяных стрельцов, кинулись с ножами. Кто-то крикнул, что у алтаря кровь проливать нельзя, они замешкались, заругались, и царица Наталья увлекла царевичей в задние комнаты дворца.

Ловили одного за другим бояр, особо охотились за Нарышкиными, всю их партию по списку, всех, кто их поддерживал,

указано было перебить. Для того и деньги давали, и поили. В те дни шестьдесят с лишним бояр изрубили, волочили за ноги трупы их на Красную площадь, там бросали собакам и воронам. Более других искали Ивана Нарышкина. На него наговорили, что он собирается отравить царевича Иоанна. Метит сам стать царем, нарядился в царскую одежду, надел корону, стал говорить, что никому другому так не идет корона, как ему. Софья подтверждала, когда она забранила Ивана Нарышкина за такое, он кинулся на царевича Иоанна, схватил его за горло, чтобы задушить, спасибо, Софья отбила.

Царица Наталья спрятала своего брата. Его не нашли. Царица заверила стрельцов, что не знает, где Иван Нарышкин. Держалась твердо. Страшные сцены бойни не сломили ее духа. Ей удалось уговорить стрельцов уйти.

Вечером стрельцов снова поили в кабаках, разъясняли им, что царица обманула их, спрятала брата, а он всему злодейству голова.

После убийства Матвеева главную угрозу Милославские видели в Иване Нарышкине. Молодой, энергичный, способный, он служил опорой Наталье, к тому же еще успел завоевать любовь маленького Петра. Недавно назначенный оружейничим, заказывал мальчику для военных игр деревянные пушечки, копья, помогал в играх. Карьера его многих бояр обижала, слишком проворная. После смерти царя Федора Алексеевича и года не прошло, спехом спешила царица пристроить своих родичей, осуждали ее – „легка умом, торопыга".

Нарышкина запрятали в чулане, заваленном пуховиками, перинами. Дверь чулана оставили приоткрытой, дабы не возбуждать подозрений. Про то, что Нарышкин укрыт во дворце, кто-то донес Софье, от нее и пришло к стрельцам; разъяренные обманом, они наутро вызвали на крыльцо царицу, заявили, что, если не выдадут им Ивана Нарышкина, они перешарят все царские покои, бояр не пощадят, самой царице не поздоровится.

Царица удалилась в слезах, Софья приказала стрельцам обождать, пошла в палаты, где собрались бояре, сказала при

всех Наталье Кирилловне, что ее брату Ивану от стрельцов не уйти, если не отдать его стрельцам, все погибнут.

Перепуганные бояре молили царицу согласиться. Петр видел, как мать рыдает, как Софья ведет ее почти силой в церковь Спаса. Наталья Кирилловна велела брата привести туда. Он пришел, она, плача, просила простить ее. Иван понял, что это означает, он мог бы попытаться бежать, много выходов было из дворца, но он согласился – его приносили в жертву, и он пошел на эту жертву.

Исповедался, причастился.

Бояре неотступно стояли у входа в церковь, ждали. С площади доносился нетерпеливый барабанный бой, глухой гул толпы.

– Смерти я не боюсь, – утешая сестру, сказал Иван Нарышкин. – Хочу одного, чтобы моей смертью кончилось кровопролитие.

Царица обняла его, целовала, не могла оторваться. Софья принесла образ Богоматери, царица приняла от нее образ, передала брату. Софья уверяла, что стрельцы устрашатся образа, пощадят Ивана. Она всячески показывала, что не причастна к бунту, видно, понимала, он обречен, но пока был обречен Иван Нарышкин.

Бояре нервничали, торопили их – стрельцы не вытерпят, вот-вот ворвутся.

Иван Нарышкин поцеловал образ, поклонился всем, сестре, обоим царям особо и вышел, неся перед собою образ.

Стрельцы потащили его в застенок, потребовали признаться, что он хотел умертвить царя Иоанна Алексеевича. Им надо было оправдать свой разбой. Они уже чувствовали, что за бесчинство придется нести ответ. Признание Нарышкина многое значило бы. Но Нарышкин отрицал вину, не брал на себя грех. Его принялись пытать, пытали жестоко, подвешивали, ломали суставы, надеялись, что оговорит себя. Он отмолчал, не поддался. Тогда его вынесли на Красную площадь, разрубили на части бердышами.

После казни дяди Ивана мальчик свалился в горячке. На всю жизнь у Петра остались припадки, судорога набегала, кри-

вила лицо жуткими гримасами, он дергался, вытаращивал глаза полоумно. Ужасы, насилие запечатлелись прочно в детской памяти, отпечатались навсегда лица стрельцов, картину счастливого детства залило кровью, завалило кусками мяса, отрубленными руками на талом кремлевском снегу.

Спустя двадцать с лишним лет он все же узнал в боцмане одного из тех стрельцов.

Боцман признался, как после разгрома бунта он бежал, много лет скрывался на севере под Архангельском, потом поступил в Архангельское адмиралтейство, сказавшись сибирским крестьянином. Когда Петр приехал в Архангельск проверить оборону города, он поспешил укрыться, здесь же не сумел, надеялся, что царь позабыл, не узнает его.

Но Петр ничего не забыл. Добрая жизнелюбивая натура мальчика надломилась, стрелецкий топор расщепил задуманное творцом чудо...

Последствия зверств долго не утихали. Вокруг ребенка все клокотало местью. Приближенные Натальи Кирилловны проклинали Софью, жили в ожидании новых казней, кругом Петра опустело, не у кого было искать защиты, за несколько дней от большой родни ничего не осталось, всех порубили. Мать жила в тоске за сына, он один оставался ее надеждой, один был залогом возмездия. Атмосфера дворца, пропитанная ненавистью, отравляла душу мальчика. Жили под занесенным топором. Стрелецкая смута повторилась, когда Петру было семнадцать лет. Ночью, заспанный, в ночной рубашке, вскакивает он на коня и мчится под защиту стен Троицкого монастыря. Бегство паническое, унизительное, понятное. Запах крови преследовал его, в Кремле, за каждым углом мерещились стрельцы. Нужны были исполинские силы, чтобы выбраться из трясины ужасов. Жажда мести не ослепила его, страхи не обессилили. Но демоны поселились в его душе.

Всю жизнь ему снились кровавые кремлевские побоища. Только водка позволяла забыться глухим сном. Видения

прошлого без спросу врывались в царскую жизнь. Бывало, что Петр клал рядом денщика, засыпая, держал его за плечо. Так было спокойнее...

– Что было с тем матросом? – напомнили мы учителю.

– С матросом... Петр велел отправить его подальше в Сибирь, предупредил, если попадется хоть раз на глаза, казнен будет жесточайшей казнью.

Эпизод с Иваном Нарышкиным приводят в цепи прочих сцен Стрелецкого бунта. Зарубили боярина Матвеева, князя Ромадановского, список велик. Среди них образ Ивана Нарышкина возникает на мгновение и гаснет в вакханалии бунта. Никто не заметил его роли в судьбе Петра. Откажись он выйти к стрельцам, они бы устроили новую резню. Второй раз Иван принес себя в жертву, когда выдержал пытки, устоял, не дал повода продолжить бунт.

Он не догадывался, кого он спасает для России. Человеку не дано увидеть, как спустя годы откликнется его поступок, он не может свериться с будущим, оно скрыто во тьме, единственное, чем он располагает, – это тихие веления совести.

Иван Нарышкин действовал как верноподданный, жертвуя собой ради царя – психология, давно утраченная. Для него десятилетний племянник был прежде всего русский царь, которому он должен служить верой и правдой, не щадя живота своего.

– Петр понимал, что совершил его дядя? – спросил Дремов.

– С годами все больше заботился о вдове несчастного Ивана, определил ее старшей нянькой к новорожденному сыну своему. Большая должность. Понимала и Наталья Кирилловна.

Учительствуя в школе, Молочков видел, как легко травмируется детская психика. Когда он рассказывал о том, что выпало Петру в детстве, он волновался, словно при нем калечили его любимца, ребенка, отмеченного даром нравственного и физического совершенства, доброго прекрасного принца.

Историки, по его словам, из века в век винят Петра за жестокость, показывают, как он лютовал над стрельцами, чуть ли

не самолично рубил головы и бояр заставлял рубить. Никто не видит чуда в том, как искалеченная душа его смогла все же выправиться. Другой на его месте превратился бы в истерика, изувера, его жалели бы, оправдывали. Петра же никто не жалеет.

Профессор Елизар Дмитриевич, самый ученый человек в нашей компании, как всегда, оговаривался, что в истории он дилетант, тем не менее, широко известно, что Петербург построен на костях. Десятки тысяч строителей уморили. Людей царь не жалел, мерли как мухи. Окрашенный бурым прочным загаром лесовик, Елизар Дмитриевич отличался галантностью, безупречными манерами, удовольствие было следить, как они с Молочковым спорят, соблюдая все правила учтивости.

– Откуда вам известны, профессор, цифры погибших?

– Неоднократно читал в популярной литературе. Специально, извините, не углублялся, но согласитесь, это общеизвестно.

– Настолько, что принимают как факт. Мерли, конечно, только кто считал? Где документация? Я пытался найти, не нашел. Беглых было много, может, их считали... Про Петра и про Петербург много наклеветали. Петр – антихрист. Значит, и дело его дьявольское. От него мор идет.

Врагам Петра такие слухи на руку были. В глазах современников поступки Петра иногда выглядели мистическими, дьявольски жестокими.

И учитель привел такой пример.

Пятнадцать лет спустя после стрелецкого бунта раскрылся заговор на жизнь государя. Учиненный розыск выявил целую группу стрельцов. Руководил заговорщиками стрелецкий полковник Циклер. Приговорили его к смерти. Перед казнью Циклер рассказал, как Софья подучала его убить Петра и как тогда оговаривали они с Иваном Михайловичем Милославским разные способы, как пробовали, как случайности мешали им. Иван Михайлович Милославский давно умер, был похоронен в трапезе церкви Николы как примерный христианин. Можно

считать, счастливо ушел от кары, выскользнул, пролаза. Теперь он был недосягаем для суда мирского.

Но для Петра не было недосягаемого, жажда возмездия жгла его, он велел откопать гроб Милославского. Сгнившие останки погрузили по его указанию на повозку, запрягли шестью свиньями, повезли через всю Москву. Народ высыпал на улицы, ужасался, но на этом процедура не кончилась. Останки сунули под помост, на котором стояла плаха. Когда головы заговорщиков отсекали, кровь стекала на гроб Милославского...

– Не знаю, совершалась ли где еще подобная казнь, – заключил учитель.

Профессор покачал головой.

– И вы мне будете оправдывать его.

– Между прочим, я лично поддерживаю в этом царя, – объявил Гераскин. – Хороший пример. Пусть знают, что от ответа не уйдешь. Здесь не поймали, потом изловят, детей опозорят.

На сей счет Женя Гераскин был неумолим, знал бы Петр, что у нас преступников захоронили на Красной площади, и до сих пор...

Молочков согласился с ним, а насчет детей улыбнулся неопределенно, сослался на своего приятеля генеалога, который нашел, что полвека спустя после смерти Петра одна из Нарышкиных влюбилась в одного из Милославских, и, несмотря на протесты родни, они сочетались браком.

Судьба несчастного Ивана Нарышкина вдруг побудила учителя высказаться о роли личности в истории. Когда-то он учил своих школьников, что от личности ничего почти не зависит, все решают массы, так что личность может не беспокоиться, история творится без нее. Великие люди, может, кое-что и определяют, но не само событие, а его физиономию, личность выражает потребность развития и опирается на движение народных масс. Как опираться на движение, направленное в разные стороны, Молочков не понимал и не старался понять. Ему втолковывали, что учить надо тому, что положено, а не тому, что понимаешь. Но в истории он всякий раз наталкивался на

какого-нибудь деятеля – то ли он по дурости проиграет сражение, то ли вовремя цыкнет и наведет порядок. И не обязательно это великий человек. В судьбе Кутузова многое определил его учитель, обыкновенный учитель. В моменты нерешительности вдруг кто-то (случайный, смелый, трусливый, совестливый, безвольный) получает право наклонить Историю куда он хочет. Извлекая их из безвестности, учитель радовался своим находкам.

Одну из таких историй ему подарил Антон Осипович.

Происходит спецрейс из Адлера в Москву. Октябрь 1964 года. Везут Хрущева. Не то чтобы насильно, но явились на правительственную дачу и попросили. Усадили в машину, доставили в аэропорт. Незнакомые молодцы с каменновысеченными лицами, безмолвные, в одинаково песочного цвета костюмах, желтых туфлях, шляпах. Летят. Ему сказали, что на пленум ЦК, которого он не собирал. Хрущев, видимо, соображает что к чему, потому что ему до этого были сигналы, что Брежнев что-то затевает. Не поверил. Посреди полета Хрущев вдруг входит в летную кабину и просит первого пилота сделать посадку в Киеве. Пилот говорит, что менять маршрут он не имеет права. Хрущев повышает голос: „Ты знаешь, кто я? Я генеральный секретарь, я приказываю, запроси Киев о посадке“.

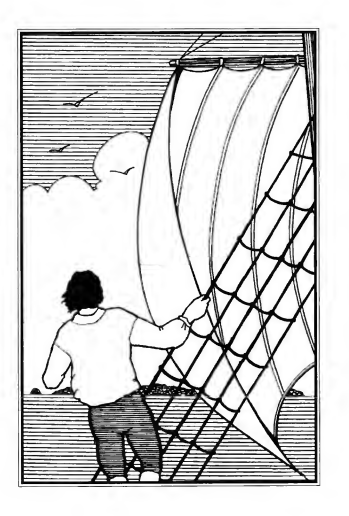
Сопровождающие молодцы толпились в дверях, требовали от Хрущева вернуться в салон, но применить силу не решались. Никто ведь не знал, как еще обернется дело. Хрущев был напорист, летчик как бы дрогнул, был момент, но все же не подчинился, самолет приземлился в Москве. Сверни он на Киев, события могли бы пойти по-другому.

– Выходит, этот летчик мог всесоюзную заваруху устроить? – спросил Гераскин.

– Вполне, – сказал Молочков. Ему эта история понравилась.

– Представляю, какие минуты пережил летчик, – сказал Дремов. – Может, потом всю жизнь жалел, что не послушал Хрущева.

Глава третья



АСТРОЛЯБИЯ

Этот рассказ Молочков начал с некоторым вызовом. Мягкий его голос заранее напрягся, оттопыренные уши малиново накалились.

– У нас любят издавна повторять: „царь-плотник, царь-плотник“. Прилепилось к Петру, и всех умиляет, как же, царь-государь всея Руси и так ловко топором орудует. Памятник соответственный соорудили: царь, в рубахе, топором ладит ботик. Корабельный плотник. Поставили у Адмиралтейства. Символ! Хрестоматийный образ! На самом деле называть Петра плотником все равно, что числить Льва Толстого артиллеристом. Глупости это, никакой он не плотник!

Человек считает главным в своей жизни одно, а потом оказывается, что главным было совсем другое. У Боккаччио основной страстью была наука, он составлял энциклопедии, исследовал античные рукописи. Под конец жизни стал священником, занялся толкованием „Божественной комедии“ Данте. Что осталось от всей его деятельности? Книга непристойных рассказов, их он шутя написал для одной принцессы. Дивная книга – „Декамерон“. В старости он горячо отрекался от нее и все же остался на века приговоренным к ней: „Боккаччио – Декамерон“.

Гёте разрабатывал теорию цвета. Льюис Кэрролл всю жизнь занимался математикой...

Подростком Петр не выказывал интереса к царским своим обязанностям. До пятнадцати лет торчал то в кузне, то столярничал, играл в войну, строил крепости, плавал на старом ботике. Судя по его юным пристрастиям, никогда бы ему не стать государственным гением. Не надень на него судьба короны...

Начав учиться корабельному делу, Петр смолил, шпаклевал, буравил, ковал, чертил и, конечно, плотничал. Сооружал фрегат „Петр и Павел“ он уже не плотником, а мастером. Все это было попутно, задача у него была – не просто строить корабли, а находить архитектуру, располагать мачты, искать пропорции. Всего полгода понадобилось, чтобы он понял, что каждый мастер на этих верфях производит собственный расчет, общей же науки нет. Без теории ставить корабельное дело в России, строить флот невозможно. Торговать голландцы умеют лучше всех, корабельное же дело у них поставлено эмпирически. Петру нужно было постигнуть закономерности, ибо по своей натуре он не „царь-плотник“, он „царь-инженер“. Как ни люба ему Голландия, он покидает ее и отправляется в Англию за корабельной наукой.

– Царь-инженер? Это что-то новое, – подал голос из своего угла Елизар Дмитриевич.

Реплика профессора обрадовала Молочкова.

– В том-то и дело, никто этого не хочет замечать. Более того, он не просто инженер, – учитель сделал паузу и провозгласил торжественно: – Он естествоиспытатель! Я утверждаю, именно наука его сокровенное призвание. Отсюда все остальное. Ему не дает покоя любопытство, то самое, какое движет каждым ученым, желание опробовать новое, более совершенное, узнать законы, закономерность природы, мира, чего угодно.

Историки умиляются необычному поведению царя, отмечают, для европейских монархов того времени, для Людовика XIV, Вильгельма Оранского – английского короля, Леопольда Австрийского, подобное было бы диким. На самом же деле куда необычнее другое – то, что, не имея высшего, да и просто образования, он сумел критически подойти к голландскому корабельному делу, увидеть отсутствие „совершенства геометрического“. Для этого нужен врожденный талант, такой инженерный талант впервые в истории оказался на троне. В первый и последний раз.

Елизар Дмитриевич хмыкнул несколько иронично.

– Позвольте спросить, в какой области Петр ученый? Имелся у него к чему-либо углубленный интерес?

– Ах, профессор, вы же отлично знаете, что в те времена ученые были универсалами. Спустя полвека после Петра появился Михаил Ломоносов. Кто он такой? Он и физик, он и химик, он географ, он электричеством занимается, мозаикой... Петра также тянула любознательность. Вместо того чтобы веселиться на балах, заниматься царской охотой, посещать дворцы, Петр торчит в анатомическом театре, наблюдая, как анатом вскрывает труп взрослого, а затем ребенка. Все наклонились, рассматривают рассеченный живот, лиловые кишки... так и он голыми руками рылся во внутренностях. Что означают визиты Петра в типографии, в монетные дворы? На бумажные фабрики, где он сам пробует отлить бумажный лист.

– Всего лишь любопытство, – вставил профессор. – Похвальное любопытство неофита.

– А вас разве ведет не любопытство? – воскликнул учитель. – Зачем вы столько лет подсматриваете личную жизнь букашек? Вот и Петр... Только вам хочется открыть то, чего никто не знает, а ему надо все то, чего он не знает, вот он и сует нос повсюду, где чует наживу, ему надо привезти в Россию и газету, и апельсины, и бильярд, и залезть в человеческое брюхо, потрогать кишки, и звезды его тянут, вроде их не ухватить, а тянут. Ему надо понять, опробовать, научиться. Из тьмы, из дикости он угодил в самый эпицентр европейской цивилизации. Не ослеп, не оглох, не растерялся...

В своих поисках Молочков забирался все дальше в детство Петра. Ребенок учится и начинает быстро решать задачки. Или хорошо играть в шахматы, рисовать, строить модели. Тогда говорят, что у него обнаружились способности. Но бывает – никто его не учит, и вдруг у него появляется неудержимая тяга к чему-то. Это призвание. Редкое, счастливое свойство. Не надо искать себе специальность, все предопределено. Призвание властно ведет за собою.

Детская душа Петра созревала быстро и рано раскрывала свои возможности. Что касается военных игр, потешных войск, сражений – это естественное увлечение мальчиков. Игра в солдатики – страсть общая, разница лишь в сравнении с другими сверстниками, мальчиками следующих веков: вместо оловянных или компьютерных солдатиков, Петр имел живых, „потешных солдат". Пушки были сперва деревянные, потом настоящие. Игрушечные сабли, алебарды сменялись на тяжелые металлические. Крепости становились все больше, стены выше. Но все это еще оставалось игрой.

Отделила его от остальных подростков личная, чудна́я страсть. Откуда она взялась, неизвестно. Осматривая в Измайлове амбары своего деда Никиты Романова, Петр увидел старый ботик, построенный при Алексее Михайловиче для разъездов по Москве-реке. Вид ботика почему-то взволновал его. Удивился его острому килю. Сухопутный мальчик, среди сухопутных родичей, словно гадкий утенок из старой сказки, обнаружил свою тайную природу. Он стал расспрашивать Франца Тиммермана: что за судно? Английский бот. Где его употребляют? Тиммерман сказал, что при кораблях. А какое у него преимущество перед русскими судами? Ответ Тиммермана поразил царевича. Спустя тридцать два года Петр вспоминает об этой сцене в своей собственноручной записке:

„... Он мне сказал, что он ходит на парусах не только по ветру, но и против ветру, которое слово меня в великое удивленье привело и якоби неимоверно".

Дальше Петр вспоминает, что стал немедленно выяснять, есть ли такой человек, чтобы починил бот и показал ход против ветра. Когда Франц сказал, что есть, Петр обрадовался, велел сыскать его, этого голландца Бранта, который был призван еще Алексеем Михайловичем для кораблестроения на Каспии.

Петр не оставил никаких мемуаров, ему некогда было заниматься воспоминаниями. Это единственная сцена из детства, видно, так запечатлелась, что ворвалась в записку непроизвольно. Тайное призвание открылось ему, детская страсть к ремеслам, к технике вдруг сосредоточилась на этом ботике. Его

захватила задача, казалось бы, противоестественная: плыть против ветра – надо было постигнуть смысл этого явления, его механизм.

Бот привели в порядок, стали плавать по реке Яузе. Лавировали, и то и дело бот упирался в берег. Из узкой речки перешли в пруд. Но и там не раскатаешься. А охота, как пишет Петр, час от часу росла. Он узнал, что Переславское озеро просторнее, и перенес свое плаванье туда. Шаг за шагом он подходил к мечте о море. Где-то на глобусе были нарисованы моря и океаны, но что это такое, он плохо представлял себе.

Старший друг Петра, один из обитателей Немецкой слободы, Франц Лефорт, швейцарец, весельчак, любезный собеседник, выдумщик на всевозможные забавы, принялся учить морское дело в угоду Петру, вырыл пруд у своего дома и показал ему сражение небольших моделей военных кораблей. Петр пришел в восторг, велел Бранту заложить два фрегата и три яхты, строить их на озере.

Было еще одно, не менее примечательное происшествие. Как-то князь Яков Долгорукий рассказал царевичу, что видел за границей прибор, по которому моряки издалека определяют расстояния между предметами. Петр попросил достать ему такой прибор. Вскоре из Франции привезли длинный ящик. Название прибора звучало тайной: „ас-тро-лябия“. Распаковали, но не знали, как его использовать. Стали искать, и вот тогда появился Франц Тиммерман. Астролябию развинтили, разобрали, но подросток ничего не слыхал про долготу, широту, угол склонения. И так и этак разглядывал кольцо, по которому определяли широту светил, „алидиды“. Названия пленяли благозвучностью – лимб, секстант, нониус.

Заниматься с Петром было легко, он сам понукал голландца, выжимал из него все что возможно.

Созвездия приблизились, звезды соединились в фигуры Стрельца, Скорпиона, Девы, Медведицы... Черное московское небо ожило. От просторов Вселенной кружилась голова. Местонахождение ботика можно было определять по берегам, но интересно было найти себя на Земле, ощутить ее размеры.

Ему нужно было море, чтобы затеряться, чтобы только звезды над головой и компас. И астролябия. Добраться до Большой Воды удалось не скоро. Ближайшее море России было Белое, на Каспийском Россия имела малый кусочек северного берега, всем остальным владели персы, кавказцы.

Придворные не понимали царской страсти. Сухопутные люди, они привыкли завоевывать земли. Ценностью были леса, пашни, селения. А для чего море? Откуда у юного царя появилась мечта о море – никто из его предков не плавал, не путешествовал.

И в самом деле, бесполезно искать происхождение его корабельных и морских влечений в родословной. Происхождение гения неведомо. Откуда взялся гений Ньютона – сына бедного фермера или Леонардо да Винчи, их родословные ничего не объясняют, это не наследственность, это вспышки Природы, ее озарение, ее собственность.

Никто не следил за тем, чем Петр занят. И получилось, что вдруг, неожиданно для всех, оказывается, что он каменщик, он механик, он столяр, он пишет много, быстро, хотя с ошибками, почерк у него ужасный, он не знает правил этикета, но знает строительное дело. Похоже, он станет военным инженером или кораблестроителем. Впрочем, ему этого мало. Ему все время интересно КАК. Если бы можно, он вскрыл бы внутренности Земли, разобрал бы на части Солнечную систему. Что там внутри? На его гербе следовало бы изобразить астролябию.

Мореплавание было наукой, полной чудес. Действительно, на озере он научился двигаться против ветра, можно было ловить ветер, работать с двумя парусами, с тремя. В те времена людям служили только сила ветра и сила воды. Понять механику этих сил было непросто.

Преподавали Петру учителя добросовестные, но случайные, знали они лишь историю, географию да Священное Писание. Ум Петра жаждал узнать, как летит пушечное ядро, как надо строить крепость, делать ее неприступной, защитить от огня, от пуль, где ставить пушки, как маневрирует корабль и что делать, если нет ветра.

Перикла обучал философ Зенон, философ Анаксагор, знаменитые ученые Древней Греции. Александр Македонский своим образованием обязан величайшему уму в истории человечества – Аристотелю, кроме того, его воспитывали представители македонской знати. В жизнеописаниях великих людей почти всегда присутствуют знатные наставники, учителя или школа, где получено было широкое образование.

Систематического образования Петру не досталось – ни школьного, ни от учителей. К престолу готовили старшего брата Федора, за ним по возрасту шел Иоанн. Никто не думал, что царствовать будет Петр. Он был предоставлен себе, рос как бы беспризорным, случайные наставники быстро исчерпывали свои знания. Ученик был слишком восприимчив, он схватывал все с лету. Сам искал себе учителей повсюду: в кузнице, в токарне, у плотников.

Он играет в войну, гуляет на веселых пирушках в немецкой слободе. Друзья-гуляки все время отвлекают его от астролябии, от корабельного дела, от плаванья. Другие ему напоминают о царских обязанностях. Надо усмирять новый Стрелецкий бунт 1689 года, считаться с посягательством на трон сестры Софьи. Царская корона смертельно опасное украшение. Отказаться от нее ему не дадут, слишком много близких и родных заинтересованы в его царствовании. И военный советник Патрик Гордон, и заводила гулянок Франц Лефорт, и вся молодая компания от Ивана Головина до Кикина. Они научили Петра выпивать, плясать, петь, они свели его с красоткой Анной Монс, они же его обороняли, были с ним в борьбе против Софьи.

Кутежи, гуляния, гостьба перемежаются с военными потехами. Будь поблизости море, конечно, Петр предпочел бы морские потехи. Единственный морской порт был далеко, в Архангельске. Приходится водяные битвы устраивать на Переславском озере.

Там он снаряжает морские экипажи. Больших трудов стоит оторвать его от этих забав, увезти в Москву на прием нового персидского посла.

Царская служба для него нудная повинность, настоящее дело – это корабли, паруса – гарельные, латинские, боковые, одна только парусная оснастка, искусство управления ими требует безотрывного внимания.

В Архангельск ему удается вырваться только спустя год.

Долгожданное море было совсем не то, что грезилось ему, – и больше, и страшнее. Необъятность воды соединялась в мощь, с которой ничто не могло сравниться. Хмурое северное море уходило в неведомые дали. Оно звало, грозило, обещало. Отсюда можно было добраться до любых стран и земель. Распах тускло блестел, заполняя весь окоем, позволял плыть неделями, без стеснения берегов, границ, добраться до теплых морей и океанов. В Белом море была совсем другая вода, чем в Двине, и пахла она иначе. Земля никогда не виделась ему такой огромной, как море. Счастье бескрайнего простора охватило его, это был праздник полной воли. „Я вижу красоту мира!“ – воскликнул он.

Море стало его главной любовью. Любовь держится тайной, море – чем ближе он узнавал его, тем таинственнее становилось.

Он днями бродил по торговым причалам, заходил в конторы купцов. В порту стояли корабли с иностранными флагами. Вкатывали бревна, грузчики несли бочонки икры, связки мехов, кожи. Сгружали шелка, сукна, ящики с какими-то украшениями, зеркала, краски. Подъезжали возы с пенькой, льняным полотном. Отъезжали возы. Скрипели сходни. Кричали, переругивались на всех языках. Огорчало, что в единственном русском порту не было ни одного русского корабля.

В свиту Петр взял Франца Тиммермана. На яхте „Святой Петр“ вышли в открытое море. Сперва отправились вдоль порта, потом повернули в море сопровождать уходящие из Архангельска купеческие корабли. Качало. Петр зачерпывал воду, пробовал – вода была солонее, чем в порту. Наступил вечер, июльское солнце все не заходило. Петр рулил по золотой дорожке. Глаза его блестели, волосы развивались, он не отзывался на слова Франца, губы шевелились, словно он разговаривал

с морем. Волна поднималась, у восточных берегов полуострова Франц заставил повернуть назад. Потом он рассказывал архангельскому воеводе Федору Апраксину, что, конечно, боялся уходить далеко на малом судне, но больше за царя, который словно ошалел, готов был обниматься с морем, а оно не любит безумств, оно требует почтения, для него нет ни царей, ни господ.

В следующий раз, через год, когда он вышел в море, Нептуново царство показало ему справедливость слов голландского моряка. То было в мае 1694 года, в разгар белых архангельских ночей. На той же яхте они плывут на Соловецкие острова. Это уже настоящее морское плавание. Приметы обещали спокойную прогулку. Город скрылся за горизонтом, исчезли берега, со всех сторон осталось море, тускло-белесое, с лиловыми разводами, мелкая волна шлепала о борт, холодное солнце катилось по пустому небу. И вдруг море словно заметило их, невесть откуда взялась настоящая волна. Такой Петр не видал, она стала швырять корабль, вздымалась над ним, обрушивалась всей массой. Буря налетела без облаков, корабль закружило, понесло, ветер менялся, хлопали паруса, Петр видел, как матросам приходится убирать в шторм нижние косые паруса. Царь схватился за руль, но старший матрос отстранил его: „Не умеешь – не суйся!"

Свита – бояре, стольники, денщики в ужасе молились, плакали. Они никогда не были в открытом море, тем более в бурю. Петр не подавал виду, что испугался. Царское достоинство не позволяло и любовь к морю, – оно испытывало его, проверяло его чувство, он должен был выдержать.

Молочков обратил наше внимание на то, что любой поступок Петра, его поведение рассматривались как царские. Смелость не считалась смелостью, поскольку он царь, он и обязан держаться спокойно. Когда Меншиков или Апраксин так держатся – это им в зачет. Он знал математику, астрономию – на то он и царь, он должен быть всезнающим. Никакой слабости проявлять не мог. Когда он ночью бежал из Москвы, оставив

близких, чтобы укрыться от стрельцов в Троицком монастыре, никто не оправдывал его страха. О том, как он выскочил в ночной рубашке, – об этом шушукались с улыбочками, не делали скидок на то, что ему было семнадцать лет. Царь не имеет возраста.

Весь шторм он провел на мостике, рядом с капитаном. Буря умчалась так же внезапно. Она отрезвила Петра. Море не взбунтовалось, оно всего лишь хватило его за шиворот и встряхнуло, показав свои мускулы.

Когда они выпивали в каюте, он, смеясь, вспомнил, как персидский царь Ксеркс велел высечь море за то, что оно заштормило и потопило несколько кораблей из его флотилии. Нет, с морем надо ладить... Он понял, что оно другой мир, не подвластный земным законам и земной власти, чтобы жить в нем, недостаточно любить его, надо еще уметь подчиняться, оно как зеркало, в которое следует смотреться, чтобы познать себя. Море требует изучения.

С этого часа, можно считать, в нем многое определилось, и ясной стала мечта о выходе к морю, европейскому, близкому.

– Сколько ему было? – спросил Антон Осипович.

– Двадцать два года.

– По нашим меркам – молодой специалист. Самостоятельного дела еще поручать нельзя.

– У Петра хватало советников.

Молочков покачал головой.

– Ни одного хорошего. Хорошие советы ему давали не до, а после.

– К этому возрасту душа должна созреть, – сказал Сергей Дремов. – В двадцать лет человек готов. Если он не определился с полной силой – плохо, он уже не сумеет раскрыться. Хочешь быть великим человеком – торопись. Все становились до тридцати лет. Дальше – пустоцвет. Гению, конечно, легко, его качества лезут из него, хочет он этого или нет. А вот мы, вся остальная толпа граждан, мечемся до конца дней, не нахо-

дя себя. Кто найдет, тех считают талантами. Я утверждаю, что талант есть у каждого. Где-то в генах у каждого точно записано – судья, портной, хирург, шут гороховый, а этот шут проводником ездит, а хирург дом красит и никогда не узнает, что он замечательный хирург. Люди уходят, так и не став теми, кем сотворила их природа. Это величайшая трагедия человечества, самое большое наше несчастье...

В юности Петра поразило отличие Немецкой слободы от прочей Москвы. Чистенькие благоустроенные домики, ночные горшки, фарфоровая посуда, картины – иностранцы жили не по-московски. Ровными рядами тянулись кирпичные дома, били фонтаны. На вечеринках дамы танцевали с кавалерами – гроссфатер.

Немецкая слобода, которую усердно посещал с юных лет Петр, обосновалась под Москвой еще до Романовых. Там жили кроме немцев голландцы, датчане, англичане, шотландцы. Был у них театр, который любил посещать царь Алексей, там играла музыка, читали книги.

Благоухающий оазис европейского комфорта подчеркивал затхлый, византийский вид столицы. Немудрено, что в Немецкой слободе Петр дышал полной грудью, веселился, мечтал, молодой ум его посещали ослепительные проекты.

Стремление к Западу не Петром началось. Еще Иван Грозный вел политику выхода к Балтике для торговли с Европой, для кратчайших и безопасных контактов. Продолжал его дело и Алексей Михайлович. Его сподвижники Матвеев, Ордын-Нащокин стояли за борьбу со Швецией ради выхода к морю. По сути, Петр выполнял завещанное отцом. Темпы, взятые Петром, его напор, радикализм оторвали его реформы от предшественников, и стало считаться, что западничество – чисто петровская затея. На самом деле Петр придал ускорение, и от его мощного толчка Россия еще надолго сохранила движение сквозь лень и бездарность преемников Петра, вплоть до Екатерины Великой – она сумела подхватить петровский раскат.

Петру вменяют в вину неосуществленные проекты. А посмотрите, сколько лет отняла у него война, смута – извечная беда всех наших великих начинаний. Он взялся за Беломорканал, Волгодон, уральскую металлургию, флоты – военный, торговый, порты, он оснащал будущее России, строил дорогу, уходящую в века, расчищал горизонт, показывая, каковы возможности этой страны. Не все получилось при нем. Получилось позже. Быт Немецкой слободы подготовил ум молодого Петра к восприятию европейской культуры. Тем сильнее впечатлило его то, что он увидел в Германии и Голландии. Громадные замки с башнями, неприступными стенами. Уходящие ввысь своды храмов, под ними гремели могучие звуки органов. Сияние витражей. На городских башнях били часы. Фонари освещали мощенные камнем улицы. За каждым углом его подстерегали новшества. Играли шарманки, блестели витрины. По каналам сновали баркасы. Он не сторонился толпы, он погружался в сутолоку причалов, ярмарок, любовался искусством продавцов. Заморские диковины, французские кастрюли, масляные лампы, английские компасы, подзорные трубы, пистолеты, экипажи на рессорах.

Нечто подобное испытал на себе Молочков. Когда он впервые попал в Берлин, он почувствовал себя дикарем, роскошь магазинов, обилие товаров – все удручало и обескураживало учителя. Он не представлял себе, что так хорошо живут на Западе, было стыдно за свою бедность, дикость, он не знал, как правильно переходить улицу, почему лежит Библия в его номере.

Смелость Петра в том, что он нарушил все обычаи русского двора. Никто из государей столько не путешествовал даже по России. В те времена сиднем сидели дома. Выезжать заставляла война. При Михаиле Федоровиче Романове каждого русского, хвалившего чужое государство, укоряли. Тот, кто желал ехать в Европу, считался преступником. Князя Хворостина обвинили в том, что хотел отправиться за границу. Шведские дипломаты в XVII веке отмечали – русским запрещено ехать

за рубеж, опасаются, что они возлюбят чужеземные учреждения и устыдятся порядков Московии.

В Амстердаме кипучая жизнь шла на каналах города и в море, оно шумело рядом, голландцы с ним сжились, потихоньку отжимали его, оно уступало им землю. Голландцы умели ладить с морем, умели строить дворцы на сваях, строить плотины. Петр ходил в лютеранские церкви, в католические, в синагоги, осматривал памятники мореходам, рынки с невиданными восточными фруктами, тканями, африканскими масками, копьями, божками. Амстердам был самым богатым городом Европы. Глаза разбегались от оружия, драгоценностей; тюки новых товаров из Индии, Малайзии, Мадагаскара, Кипра без конца выгружали в порту. Разноязычный говор, негры всех оттенков, индусы в тюрбанах, сарацины в белых одеяниях, голоногие мавританки. Он научился курить трубку, стрелять в тире, разбираться в сортах пива.

В Голландию Петр влюбился сразу и навсегда. С тех пор оказывал предпочтение голландцам, завел себе друзей среди моряков, купцов, ученых. Во времена Петра Голландия еще сохраняла могущество, считалась богатейшей страной, в ней процветали науки, искусства. Голландское общество, дома, где бывал Петр, были взбудоражены научными спорами, запретом книги Спинозы „Этика“. В ней автор решил избавить людей от суеверия. Он отрицал существование сатаны и дьявола. В историческом романе излагались идеи Спинозы. На глазах у Петра в ратуше книги эти публично сожгли. Другой философ, Локк, выступал в защиту человека от религиозного фанатизма. Терпимость, утверждал он, это отсутствие нетерпимости, властям не обязательно знать, как гражданин собирается достичь вечного блаженства.

Работая на верфи, Петр отказывает себе в светских удовольствиях, все свободное время уделяя кунсткамерам, анатомическому театру, новым машинам. Он прослышал об изобретателе микроскопа и отправился к Антони ван Левенгуку посмотреть прибор.

Его вело любопытство чистое, без каких-либо практических побуждений, то любопытство, которое рано или поздно приводит к размышлению. Инстинктивно он определял среди множества новинок самое примечательное. Революция, произведенная изобретением Левенгука, была еще впереди.

Возможностей микроскопии никто по-настоящему не представлял. Петр просто любовался неведомой жизнью, что открылась за пределом обычного зрения. Это была другая вселенная, микромир, такой же бесконечный, как звездный. Прибор Левенгука демонстрировал новое торжество разума.

Кровообращение в медицине, да и в науке о животных представлялось таинственным явлением. Как оно происходит, никто не знал. Теперь же, с помощью микроскопа, Левенгук показывал сквозь кожу угря движение крови по его телу. Молодой угорь, в стеклянном цилиндре с водой, висел вниз головой, и в его туловище видно было, как течет кровь по сосудам. Точно так же, утверждал Левенгук, движется кровь и в теле человека...

Угрюмого старика упросили показать в микроскопе чудо самых простых препаратов. Жало пчелы становилось сказочно огромным, грубым, волосок бобра превращался в мохнатый ствол. Петр ахал, не верил своим глазам. Польщенный его волнением, Левенгук соблаговолил подвести его к своему рабочему микроскопу. Там, в стеклянной трубочке, находилась капелька воды. Старик направил на нее луч света от зеркала. Происходило нечто завораживающее: крохотные зверюшки проворно носились, вертелись, целые толпы этих существ, несомненно живых, населяли каплю воды. Стоило оторвать взгляд от окуляра, мир этот исчезал – чистая прозрачная вода, но если опять прижаться к окуляру – фантастический мир вновь оживал.

По-видимому, Петр был первым из русских и первым из всех монархов, который узрел мир этих животных, не подвластный никому. Не известный ни древним грекам, ни одному из путешественников от начала времен.

Чем-то понравился русский царь недоверчивому хмурому Левенгуку. Старик объяснил ему, что эти ужасающе малые животные разных сортов обитают в воде речной, озерной, в слюне, в зубах... Откуда они берутся, каково их назначение, как они размножаются? Он не знал ответа, нужно еще наблюдать и наблюдать, ставить опыт за опытом, сотни опытов.

Устройство микроскопа требовало знаний, поверхностный осмотр мало что разъяснил Петру, несомненно одно: ему показывали не чудеса, не фокусы, зверюшки существовали реально. Надо было приобретать микроскоп, везти его в Россию. Но Левенгук наотрез отказался. Ни за какие деньги ни один из его микроскопов продан не будет. Сколько Петр ни уговаривал упрямца. В сердцах он выругался, схватил шляпу, выбежал, хлопнув дверью. На улице его окликнули. Левенгук звал из окна, просил прислать завтра за микроскопом, он приготовит его в подарок. Яростная досада царя, очевидно, понравилась старику. Это единственный известный случай, когда Левенгук подарил свой прибор.

Зато изобретатель вакуумного насоса охотно продал Петру свою машину. Петр быстро ее освоил и в России, в Кунсткамере, демонстрировал зрителям, поражал их физическими опытами.

Анатомическая коллекция Фредерика Рюйша заставила Петра часами изучать таинственное искусство ученого. Заспиртованным экспонатам, будь то внутренности человека, недоношенный плод, больные органы, монстры, Рюйш умел придать живой вид, наряжал их в кружева. Неизвестным способом он сохранял естественные краски, давал причудливые позы. Ходили слухи, что мертвецы общаются с ним, возомнили, будто могут не подчиняться законам смерти. Рюйша интересовал миг смерти, что испытывает человек, когда умирает. Установил, что этого мига никто из умирающих не замечает. Так же, как никто не может заметить миг засыпания. Рюйш был разочарован, мертвецы ничего нового о смерти сообщить не могли, они объясняли, что при умирании в них остается

такая ничтожная доля жизни, что ее не хватает ни для боли, ни для чувств.

Как ни странно, подобная фантасмагория помогала молодому Петру избавляться от суеверий, увидеть человека изнутри как механизм, подверженный всем прихотям и бедам природы.

Будучи в Гааге, Петр узнал, что там есть ученый-математик, умеющий определить местонахождение корабля без звезд и солнца, методом счисления. Изобретение показалось Петру весьма важным, прежде всего для флота. Да и само по себе удивительным. Он попросил провести опыты в его присутствии. Снарядили специальную шлюпку, на которой построили шалаш. Шлюпку опустили в большой пруд. По всему пруду расставили шесты с номерами. Расположение этих шестов нанесли на план. Шесты представляли в масштабе разные страны и порты. Так что это была в некотором смысле модель моря. Шлюпка с гребцами плыла куда хотел рулевой. Математик, сидя в закрытом со всех сторон шалаше, должен был со своими инструментами по солнечным лучам определить, возле какого шеста находится шлюпка. Он отмечал на плане и сообщал во всеуслышание. Петр забрался к нему в шалаш, расспрашивал, делал замечания. У голландца не все ладилось. Бывало, он ошибался и путался. Петр уличал его, подозревая в шарлатанстве. Три с лишним часа шла работа. Петр, скрючась в тесном шалаше, продлил испытание. Объехали все до одного шесты. Несмотря на ошибки кое-чего математик все же добился в своем умении. Петр заключил, что пока еще ему недостает совершенства, но поощрить его труды следует, и щедро наградил – дал сто червонцев, – что делал редко, да и к тому же пригласил работать в Россию. Самое же важное в этом эпизоде – мысль, которую в завершение высказал Петр: „Я нимало не хулю алхимиста, ищущего превратить металлы в золото, механика, старающегося сыскать вечное движение, и математика, домогающегося узнавать долготу мест, для того что, изыскивая чрезвычайное (обратите внимание на эту формулировку!), внезапно изобретают многие побочные полезные вещи.

Такого рода людей должно всячески одобрить, а не презирать, как-то многие противное сему чинят, называя такие упражнения бреднями".

– Если это так, то у него довольно современная точка зрения, – с удивлением признал профессор. – О пользе средневековой алхимии, например, недавно выступил один уважаемый академик. Правда, в более осторожных выражениях, чем Петр, и то это было сочтено за смелость. Его поздравляли с новым взглядом.

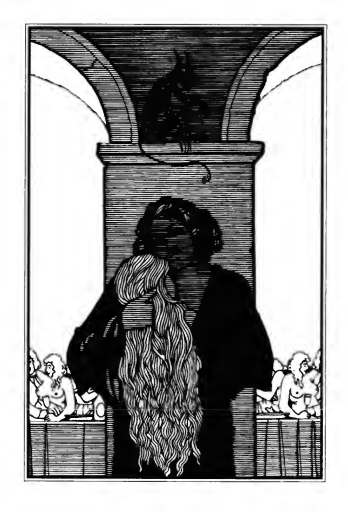
Но тут Гераскин решительно повернул разговор в сторону любви – молодому, красивому мужику самые лучшие приборы любви не заменят. Бабу можно заменить другой бабой, а вот взамен любви ничего подходящего не найти.

По этому случаю Сергей прочел Шекспира:

Любовь над бурей поднятый маяк,
Не меркнущий во мраке и тумане,
Любовь – звезда, которою моряк
Определяет место в океане.

А Молочков, идя навстречу пожеланиям выздоравливающих, рассказал историю первой любви царя Петра.

Глава четвертая



АННА МОНС

Царю было девятнадцать, когда он влюбился в дочь виноторговца из Немецкой слободы, красавицу Анну Монс, веселую, крепкую, плясунью, за которой ухаживали напропалую и молодые и старые, немцы и русские. Анна позволяла себе подшучивать над попытками Петра говорить по-немецки, а он смеялся над ее акцентом и нелепыми словосочетаниями. Им было хорошо друг с другом. Это была отличная пара – юный великан, живое выразительное лицо, роскошные кудри, за словом в карман не лезет, недаром Петр так нравился женщинам, и Анна – она привлекала и фигурой, и ножками, душистая, наряжалась по-иностранному, ложилась в кровать с шутками, любовью занималась изобретательно, с выдумкой. Все у нее было приготовлено для аккуратности – полотенечко, туалетная вода. Отношения их быстро продвигались. Петр всерьез привязался к немке. Ничего такого раньше не случалось. Прошел год, два, три, на подарки он не скупился: жемчуг, кольца, портрет, осыпанный бриллиантами. В просьбах не отказывал. Просьб хватало. Подарил имение с угодьями. Одно, потом второе. Расщедрился – велел построить ей особняк в Немецкой слободе. Семейство Монсов – мать, сестра, братья. У всех были просьбы, бояре, ведая про любовь царя, подступали к Анне с ходатайствами, кто по судебным делам, кто просил должность. За хлопоты одаривали ее деньгами, мехами, золотой, серебряной утварью. Она брала, и с охотой. Так что молодое чувство вскоре стало приносить доход, удовольствие же от этого не убывало. Музыка гремела до утра, танцы, пирушки, попойки продолжались, и Петр все больше привязывался к ней, к этому дому, так не похожему на русские дома.

5 Заказ № 164

Десять лет, не утихая, продолжался их роман. Она никогда не выговаривала ему за его случайные связи, если на него находило, он мог хватать первую, что попадала под руку, – повариху, княгиню, чью-то дочь, жену – без разбору. Анна не ревновала. Похоже, она была уверена в себе.

Любила ли она? Разве любовь может быть без ревности? Но влюбленному неведомы недостатки возлюбленной.

С этой Анны Монс начинается в жизни Петра странная цепь роковых совпадений. То прячась, то возникая, они сопровождают Петра до самых его последних дней. Фамилия Монсов словно очерчивает заколдованный круг, из которого Петру не вырваться. Сама Анна никак не похожа на роковую женщину. Она красива, сумасбродна и практична. Что творилось в ее душе, никто из современников не понял, тем более не понять этого нам, спустя триста лет. Никто не мог предугадать загадочного поворота в царском романе и в ее сердечной судьбе.

В судьбе каждого человека, по мнению учителя, заключен свой смысл. Учитель искал водяные знаки в судьбе Анны Монс и Петра, в том, что их связывало.

Уехав за границу, в первое свое путешествие, Петр не скучает по возлюбленной. Новые впечатления настолько захватили его, что за полтора года он не написал ни одного письма своей Аннушке.

В Европе их простодушный роман мог показаться ему старомодным.

Царствующие особы Европы похвалялись количеством любовниц и любовников. Все делалось открыто, напоказ. Интимность была исключена из жизни. Каждый придворный подражал государю в меру своих возможностей. Сменяли любовниц, менялись любовницами, обсуждали их достоинства. Больше не было тайн ни в своей половой жизни, ни тем более в чужой. Женщина – это орудие наслаждения, если ей поклоняются, то как источнику чувственности. Физическое наслаждение – вот главное в жизни двора. Процесс наслаждения был разработан до тонкостей, обставлен сладостными обрядами. Женщиной умели лакомиться со вкусом, блюдо тщательно готовится, при-

меняют много специй, от женщины требуют искусства воспламенять.

Петр не имел никакого любовного образования. В своих желаниях он действовал просто и грубо, не стесняясь, брал, что подвернется под руку.

За границей его атаковали придворные дамы. Его старались заполучить, одарить своей любовью, своими прелестями, желая украсить собственный любовный список русским монархом.

Романы требовали соблюдения правил, правила требовали времени, но как раз этого у него не было. Светские балы, салоны были ему чужды, как и дворцовая роскошь, как украшения, наряды, карточные игры...

Еще в России его однажды уговорили поехать на псовую охоту. Полагалось царю соблюдать обычай – и отец и дед, все участвовали в псовых охотах.

В назначенный день явились бояре-охотники со множеством псарей и собак. Петр внимательно осмотрел эту шумную толпу и сказал, чтобы слуг отпустили – зачем они? Останутся одни охотники. Вельможи, взяв собак из рук псарей, отправились с царем. Когда выехали в поле, все пришло в расстройство. Собаками бояре управлять не умели, собаки подбегали к лошадям, кидались друг на друга, испуганные кони носились по полю, не слушая всадников и стараясь выбросить их из седел. Охота не получилась. Петр, смеясь, возвратился в Преображенское.

– Не лучше ли нам быть воинами, чем псовыми охотниками? – сказал он, прощаясь. – Слава царя в благополучии народа, охота же – слава псарей.

Впервые о ритуалах любви, о галантных обычаях кавалеров и дам Петр узнал от короля Августа, искусного мастера ухаживаний и разврата.

Однако в Англии его сумела обворожить актриса королевского театра Летиция Кросс. Связь их была короткой. Хорошенькая, прелестная на сцене, она в любовных утехах не произвела впечатления на Петра. То ли чувства его были заняты

другими диковинами, то ли он распознал в ней притворство, во всяком случае связь их закончилась тем, что он поручил Меншикову заплатить актрисе от имени царя 500 гиней, что составляло 1200 рублей. Кросс выразила недовольство такой платой, сказала Меншикову, что русский царь скуп. Меншиков передал царю ее замечание. На это Петр сказал:

– За такую плату в 1200 рублей мне служат старики с усердием и умом, а эта худо служила.

– Какова работа, такова и плата, – согласился Меншиков.

По возвращении в Москву Петр сразу вспомнил про Анну Монс. Отложив дела, в первый же день поехал в Немецкую слободу.

За время разлуки Анна не сидела в ожидании своего царственного любовника, у нее завязался роман с саксонским посланником. Петру, разумеется, донесли. Он рассердился, приказал заключить Анну под домашний арест со строгим надзором, запретив даже посещать кирху. Подробности измены выяснились случайно – саксонец утонул, в карманах у него нашли любовные письма Анны Монс.

Неверность Петр воспринял болезненно. Шли месяцы, Петр скучал по своей немке, любовь не проходила. Сладкие воспоминания мучили его. Имей Анна больше такта и ума, она покаялась бы, попросила прощения, вместо этого, по совету приятельниц, она занялась ворожбой, заговорами, колдовством: „Чтобы не мог без меня ни жить, ни быть, ни есть, ни на утренней заре, ни на вечерней, как рыба без воды, как младенец без матери“ и так далее.

В те времена за чернокнижье, колдовство строго наказывали. Донесли. Доносили исправно. Немедленно началось следствие. Петр, однако, дело прекратил, но у неблагодарной отобрали имения и особняк. Меншиков уговаривал выслать ее из России – напрасно.

Опала Анны Монс была на руку Меншикову, как всякий фаворит, он не терпел других фаворитов, кроме того, она осмелилась на него кричать. Когда он, выпив, полез к ней, изруга-

ла его при всех, да еще намекнула на его содомский грех. Меншиков обид не прощал. С тех пор как Анну посадили под арест, Меншиков, наблюдая за тоской царя, задался мыслью сосватать ему свою свояченицу Варвару. План безумный, но наглость не раз выручала князя. Варвара отличалась злющим характером, к тому же была некрасива. Породниться с царем значило разом избавиться от упреков в безродности, обрести положение надежное, о большем и мечтать нечего. Старания его успеха не имели. Петр однажды, во хмелю, употребил Варвару, но на этом его интерес кончился. Однако произошло другое – государь заинтересовался горничной Меншикова, до того прачкой у Шереметева, а еще до того полковой прачкой, утехой русских солдат в Ливонии, а что было до них, толком неизвестно, ясно лишь, что женская биография ливонки была богатой.

Служанки были привычными партнершами государя. Среди множества его женщин, пожалуй, более всего служанок.

После первого свидания Петр дал будущей императрице Екатерине рубль, так что ничего обещающего не было. Куда заведет Петра внимание к пленной ливонке, Меншиков предполагать не мог, она нужна была, чтобы вытеснить Монс из сердца Петра.

Прошел год. Приятель покойного саксонца прусский посланник Кайзерлинг стал просить за Анну Монс – освободить ее от домашнего ареста. По наивности он обратился к Меншикову. Расспросами Меншиков выяснил, что прусскому посланнику нравится красотка Монс и что-то у них уже завязалось.

Взвесив все обстоятельства, Меншиков затеял игру против Анны Монс, игру рискованную, но удача не могла изменить ему, он и мысли такой не допускал. Прусскому посланнику он дал понять, что к просьбе его царь может склониться, если на то будет важная причина, например желание Кайзерлинга вступить в брак с девицей Монс... После некоторого раздумья пруссак согласился. Однако Меншиков сказал, что государю нужно доказательство. Если будет письменная просьба от нее, что она-де желает выйти замуж за господина Кайзерлинга, тогда...

Психологический расчет Меншикова оказался точным.

Получив документ, Меншиков доложил царю о просьбе Кайзерлинга, добавив свое возмущение: как она могла предпочесть государю немолодого, хромоногого, малорослого посланника.

– Вранье, – сказал Петр, – я верно знаю, она меня любит, никто не разуверит.

Меншиков ссылался на то, что Кайзерлинг честный человек, врать не будет.

– Нет, нет, – настаивал Петр, – не может этого быть.

Тогда Меншиков извлек заготовленное прошение, написанное рукой Анны.

Петр читал, перечитывал бумагу, скомкал, швырнул в лицо Меншикову.

– Не верю. Твои интриги. Только если она сама скажет мне.

Любовь к Анне Монс оказалась куда прочнее, чем думал Меншиков. Меншиков рассчитывал на самолюбие, но Петр хотел сохранить Анну любой ценой.

Судьба дала Монс еще один шанс вознестись, изменить течение своей жизни, взойти на престол, стать русской царицей...

Она слушала Петра безучастно, затем оборвала разговор, твердо подтвердив, что желает замуж за Кайзерлинга, ни за кого другого не пойдет.

Петр грязно выругался. На такую потаскуху никто не полезет, кроме этого недоумка. Кто она – пустышка, глупая немецкая трактирная девка. Он был разъярен, им пренебрегли! Она пренебрегла короной!

– Любить царя, – сказал он, – для этого надо царя иметь в голове. У тебя его сроду не было!

Он не мог успокоиться.

– Раз ты обо мне мало думала, незачем тебе иметь мой портрет!

И тут же отобрал портрет, украшенный алмазами, свой давний подарок, не подумал, что не царское это дело мелочиться, забирать свои подарки у женщины.

Но это еще ничего не означало. Любимая имеет право быть и дурой, и потаскухой – ей ничего не заказано, пока она воз-

любленная, ее ничто не свергнет. Считать ее глупой значило не понимать, что у женщины все сердце, даже голова.

Состоялся прием по случаю тезоименитства государя. Приглашен был дипломатический корпус. Меншиков подпоил Кайзерлинга, сам много выпил и стал вспоминать обиды, какие ему нанесла невеста посланника. Эта Монсиха, сучка, обирала государя, развратная баба, она Меншикову давала, Лефорту давала, лезет ко всем.

Кайзерлинг не вытерпел, вступился за нее, воззвал к государю, прося защиты – бедняжка уже несколько лет томится под арестом, ее братьям запрещен доступ на царскую службу, запрещен и выезд из страны, нельзя ли смилостивиться по случаю праздника.

На это Петр ответил весьма примечательно – посланник в донесении королю приводит с немецкой точностью его слова: он, государь, воспитывал девицу Монс для себя с искренним намерением жениться на ней, но так как Кайзерлинг прельстил ее и развратил, то ни о ней, ни о ее родных он ничего знать и слышать не хочет.

Пруссак стал терпеливо отстаивать свою репутацию, он-де честный человек, никто не может доказать, что он развращал фрейлин Монс, привлекало его к ней исключительно чувство сострадания, и если она готова оказать ему честь, то следует принять во внимание, что оба они не осмелились бы пойти против воли его величества, их действия соответствуют советам князя Меншикова, которые тот...

Не дослушав, Петр раздраженно ушел в другую залу. После этого Меншиков вовсю стал потешаться над Кайзерлингом, обзывая его такими отборными словечками, что дамы, смеясь, закрывали уши. Он высмеивал мужские достоинства немца, его кривые ноги, как он смел переступить царскую дорогу, что он есть, в сравнении с государем, червь, ничтожество, урод... Ругаясь, он подступал все ближе, пока Кайзерлинг не оттолкнул его. Шпагу у него отняли при входе, иначе обнажил бы ее, чтобы отстоять свою честь. Он выкрикнул:

– Вы пользуетесь, князь, своим преимуществом, будь мы в другом месте, вы бы не посмели говорить такое, вы думаете, что здесь вы безнаказанны, так вот я заявляю вам, что вы подлец!

Кроткий законопослушный Кайзерлинг нарушил дипломатические запреты, сделал все, чтобы вызвать Меншикова на дуэль. Не учел он, что дуэль до России дойдет еще через полвека, пока же здесь честь отстаивают мордобитием, что незамедлительно от светлейшего князя и последовало. В сравнении с ним Кайзерлинг был немощен, да и непривычен к потасовкам. Меншиков лупил его в полное свое удовольствие. Напрасно Шафиров пытался остановить его, напоминая о дипломатической неприкосновенности. Куда там, Кайзерлинг старался лишь, чтобы его не сбили с ног, предпочел прикосновенность.

На шум появился Петр, посмотрел, как избивают посланника, спросил, намерен ли тот драться как положено, на шпагах. „Да", – выкрикнул немец. Тут на него налетели подручные князя, вытолкнули, спустили с каменных ступеней, Меншиков позвал гвардейцев, те выбежали во двор и там продолжали лупцевать несчастного.

Назавтра разразился международный скандал. Был подан протест, потребовали письменное объяснение. Все дипломаты сообщили своим правителям о том, что произошло. Речь шла не только об отношениях с Пруссией, но и о положении дипломатов в России. По всем правилам посланнику следовало отбыть, покинуть страну.

По мнению учителя, это вполне устраивало бы Петра: Кайзерлинг уедет, Анна останется, кулаками Меншикова он выместил свою ревность и мог надеяться, что Кайзерлинг опозорен в глазах Анны. Проходили дни, Кайзерлинг не уезжал, тянул время, вел переписку с Берлином. Чтобы остаться в России, он должен был получить официальное извинение от Меншикова или от правительства. Извиняться никто не спешил. Посредники в его переговорах сообщили условия – он может остаться в России, если сам принесет извинения Меншикову. Невероятно... Это как вам будет угодно... Выхода не было, ина-

че ему придется расстаться с Анной. Цена была невыносимая. Но он ее заплатил, принес в жертву свою честь, вымучил постыдное письмо князю Меншикову. Взял всю вину на себя, покаялся, что в пьяном виде произнес непристойные выражения, просил забыть их ссору. Отказался от каких-либо упреков. Читать его послание тяжело, насколько первое его письмо прусскому королю пылает гневом, настолько же униженно, раздавленно выглядит он в своем прошении обидчику.

Слух о том, как избили посланника Пруссии, широко разлетелся по Европе. Что-то надо было предпринять. Извинения Кайзерлинга не снимали афронта. Чтобы удовлетворить прусского короля, решили наказать гвардейских офицеров, посланных Меншиковым. Петр долго не размышлял – за побои, нанесенные посланнику, – расстрелять, о чем и сообщить в Берлин. Как всегда в России – все через край.

Посланник ужаснулся, захлопотал о помиловании офицеров. Приготовления к расстрелу, тем не менее, были сделаны, офицеров привезли на площадь, завязали глаза, дали в руки свечи, зачитали приговор. Появился адъютант Меншикова и сообщил, что по просьбе прусского короля им даровано прощение. Конфликт был улажен, состоялось примирение. Меншиков предложил все забыть.

Государь также выразил сожаление: мало ли что бывает по пьянке.

Была еще надежда, что Анна отступится от своего обесчещенного жениха, но нет, не отступилась. Они обвенчались, и только тогда Петр освободил ее от ареста. Мужское самолюбие его страдало. Как могло случиться, что Анна предпочла невидного пруссака ему, Петру, по общему признанию красавцу, на его стороне и молодость, и сила, во всем он превосходит соперника, в чем же дело? Объяснения он не находил, заноза осталась надолго. То, что Кайзерлинг вел себя благородно, не считалось. Ревность имеет свои права...

...Обсуждали бурно – что за таинственные создания женщины, в них уживаются любые противоречия, никто не знает,

как расставаться с ними. Формула: чтобы любить царя, надо иметь царя в голове – защищала самолюбие Петра, устраивала придворных, но вызвала возражение у профессора.

– Может, Анна Монс и недалекая, но лично мне симпатична. Недаром Петр прилип к ней. Вы утверждали, что она жадна до денег. Почему же она отвергла царскую милость, а значит, и все то, что могло бы перепасть царской избраннице? Я так полагаю – либо оскорблена была, либо своего немца-посланника полюбила всей душой. Знала ведь, что царь страшен в гневе. И не убоялась. Открыто предпочла своего немчика хромоногого. Какова! Это же поступок, публичное неповиновение вашему красавцу!

– Потому что дура! Ничего другого я тут не вижу, – воскликнул Молочков.

– Боюсь, что любовь к Петру сделала вас пристрастным.

– Бабы имеют свою анатомию. Вот в чем их хитрость, – вмешался Гераскин. – Мы считаем, что у них мозги работают, полушария, а они желудочками, всякими клапанами размышляют, поэтому практически недосягаемы. Наверняка, этот немец ухаживанием одолел. Цветы, комплименты. У них культура. А у наших программа простая – потискать и завалить. А тут еще Меншиков отмочил, унизить хотел немца в ее глазах. Побили, с лестницы спустили. Да разве так действуют? Я на этом нажегся, – и как всегда Гераскин привел пример из личного, по его выражению, Декамерона.

Особа, на которую он имел виды, „колоссальная девица“, обратила внимание на другого. Тот был „шибздик ничтожных размеров и к тому же заика“. Однажды в компании наш Гераскин, выйдя из себя, взял и засунул этого „несущественного типа“ в холодильник. Гераскин хотел его опозорить, показать свою мужскую бравость, а получилось наоборот, она принялась жалеть этого мозгляка, Гераскина же полностью отвергла. Точно как эта немочка, Анна Монс.

– Эх, не было меня рядом с Петром Алексеевичем, я бы его научил на своем опыте.

– И что бы ты ему подсказал? – спросил Дремов.

– Я бы сказал – Ваше Величество, пора нам с вами понять, любовь не отмычка, а ключ.

Профессор поддержал Гераскина, отдал должное благородному поведению посланника, не в пример глупостям, которые натворил царь-государь.

Учитель был обескуражен. На его глазах из его же фактов и сведений был составлен образ женщины, совершенно не знакомой ему. А главное, все то, что раздражало глупостью, прямо-таки нелепостью, прекрасно укладывалось в ее новый облик. Как произошло это превращение? По-видимому, ему мешало то, что он видел ее глазами Петра, впрочем как и многое другое в том времени. Его признание обрадовало профессора. Он и прежде не считал историю наукой. Не только потому, что ее все время приспосабливали, использовали для политики, но и потому, что история не позволяет поставить эксперименты и проверить выводы. Историк пишет картины прошлого так, как кому понимается. Трактует каждый по-своему, в каком-то смысле сочиняет. История Ключевского не отменяет Соловьева. Великие историки, так же, как великие философы, сосуществуют – Платон и Шопенгауэр, Фейербах и Ницше, все, как в картинной галерее – выбирай по своему вкусу. Это вам не генетика, не физика.

Однако учитель не старался отстаивать историю. Пусть об этом беспокоятся доктора исторических наук. Он возвращался к своей ошибке, если это была ошибка. Да, он представлял себе Анну Монс, как видел ее Петр, то есть так, как хотел ее видеть Петр, оскорбленный в своих чувствах. Это имело для него принципиальное значение. Много лет он потратил, пытаясь найти пути, чтобы заглянуть в сокровенные глубины петровского „я“. Увидеть Петра изнутри значит получить совершенно иной портрет этого человека. Потому что, к вашему сведению, Елизар Дмитриевич, биография не есть нанизывание событий на человеческую жизнь. „Я“ того же Петра скрыто от нас, оно скрыто и от него самого. Мы видим лишь объект, а не субъект, Петра то на коне, то на палубе, то в Сенате, каждый раз мы знаем его поступки, его решения, но, как они

появляются, мы не знаем. Почему он ничего не писал Анне, почему он вел себя так, а не иначе? Установить это можно, лишь проникнув внутрь, туда, где клубятся еще неосознанные страсти, где мысль еще не стала словом, но где-то там, в самой глубине, таится цель, программа, заложенная в нем. Называется это призванием, природным даром, в каждом из нас заложена программа, она дает знать о себе порывами к чему-то иному, беспричинной тоской или же вдруг счастьем совпадения, когда удалось осуществить.

Рассуждения эти побудили Дремова рассказать историю своей размолвки с любимой женщиной. Она покинула его внезапно, без причины, ушла к их общему приятелю, милому человеку, посредственному художнику по костюмам. Никаких видимых поводов, никаких причин Дремов не мог отыскать. Жили весело, дружно, он даже приходил к мысли, не жениться ли ему на этой ладной, крепкой врачихе. Ушла, ничего не объяснила. Не плакала, не грустила, словно сделала пересадку в метро, не более. Солнечное равнодушие исходило от нее. Не было упреков, не было и волнения, художник не мог нравиться ей. Раньше она отзывалась о нем пренебрежительно. Дремов не так грустил по ней, как был озадачен и оскорблен тем, что она предпочла такого, у кого не было никаких преимуществ. Два года прошло, поступок ее остался неразгаданным и по временам сильно мучил Дремова.

– Наверное, мне надо было увидеть себя ее глазами. Как это сделать? Это ж надо извернуться, проникнуть... Вам хорошо, Виталий Викентьевич, у вас документы, письма, а у меня что? Ничего, кроме обиды. Может, она и мешала мне забраться в душу моей жене.

Но, оказывается, под „я“ Виталий Викентьевич имел в виду не душу, ибо душа нечто иное, она существует как бы независимо от тела, она занята выбором между злом и добром. „Я“ человека Молочков представлял как хаос желаний, страстей, похоти, стыда, как выбор по правилам морали или своего самодержавного хотения. Увы, как происходит выбор, что там в глубине, он не знал. Перед ним было лишь таинство происхо-

дящего, рождение, но не зачатие. Косточка внутри плода, но что там внутри... Судьбой человека управляет не только он сам, неведомые внешние силы, они тоже участвуют.

– Все это умствование, отвлеченное философствование, бесплодное, – уверял профессор, – потому что мозг человека не в состоянии постигнуть сам себя – так же, как нельзя поднять себя за волосы, увидеть свои мысли, уловить, как они облекаются в слова. О человеке можно судить лишь по его поступкам. Это единственная реальность. Петр состоит из поступков, и только. Есть хорошие, есть плохие. То, что остается после вычитания, есть итог жизни. Все стремления, надежды в счет не идут.

Его категоричность не понравилась. Обыкновенные люди вынуждены подчиняться обстоятельствам, нельзя требовать от каждого героизма.

– Это оправдание для малодушных, – сказал профессор. – Человек не рождается героем, он делает себя героем. Теперь-то я знаю, что мог не уступать обстоятельствам, мог выстоять, а уступил, но это знание уже не зачтется мне.

На этот раз Молочков деликатно перевел разговор на другую тему, сам предложив новую историю.

Глава пятая



ПОКУШЕНИЕ

На Петра не раз покушались. И всякий раз какие-то чудесные обстоятельства спасали его. Судя по всему, Молочков считал его заговоренным. Взять, например, историю с заговором стрелецких полковников Цыклера и Соковнина.

Проведав о заговоре на свою жизнь, Петр велел вечером заговорщиков окружить и схватить. Но, перепутав час, явился сам преждевременно в дом заговорщиков. Он застал их всех, человек шесть. Они были поражены, вся компания изменников, однако, встала, изъявляя государю должное почтение. Царь виду не подал, сказал, что увидел у них свет в окнах, проезжая мимо, и надумал заехать, обогреться. Самообладание помогло Петру найти нужный тон, распить вместе со стрельцами круговую чашу, повести разговор. Неизвестно, на что надеялся Петр, но вел он себя уверенно, так, будто дом был уже окружен и солдаты только ждали его приказа. Представьте себе: никто из действующих лиц этой сцены не знает, что произойдет в следующую минуту. Петр понимает, что уйти так, запросто, он не может, произошла ошибка, он в ловушке. И оставаться далее нельзя. Один из стрельцов тихо говорит Соковнину: „Пора брать!“. Соковнин так же отшептался: „Еще нет!“ Петр, поняв, что происходит, вскочил, ударил Соковнина так, что тот упал, вскричал: „Если тебе еще не пора, сукин сын, то мне пора. Связать этих скотов!“ Все растерялись. И в эту минуту, ровно в одиннадцать вечера, согласно приказу, солдаты во главе с офицером ворвались в дом. Далее все завершилось по правилам американского триллера, которого никто из них еще не видел. Таков анекдот, записанный Якобом Штелиным. Насколько приукрашена эта история – неизвестно.

Следующий случай уже из области мистики. Речь идет о покушении, произведенном Александром Кикиным. Начав бомбардиром в потешном полку у Петра, он вскоре становится одним из ближайших к нему людей, сопровождает денщиком в походах, едет с Великим посольством, остается в Голландии, учится строить корабли. Умница, энергичный, образованный представитель древнего дворянского рода. Предки его боярами были у Дмитрия Донского. Немудрено, что он терпеть не мог выскочку Меншикова, нувориша, наглого фаворита. У них все чаще происходили столкновения, и царь неизменно брал сторону Меншикова. Это возмущало Кикина, доводило его до бешенства.

Денщики неотлучно дежурили при царе, обычно ждали, когда он заснет, и ложились спать в соседней комнате. К очередному дежурству своему Кикин приготовил пистолет, зарядил его, дождался, чтобы Петр заснул, и, направив пистолет в голову царя, спустил курок. Осечка. Повторяет снова. Опять осечка. Озлясь, он сменил кремень, попробовал курок, убедился, что все исправно, перезарядил пистолет. Опять осечка. Рассказчики расходятся в подробностях. Одни утверждают, что попыток было две, другие – три.

Неудача поразила Кикина. Столько случайностей быть не могло. Это не осечки – это запрет, божественное вмешательство. Может, сам Всевышний защитил его и сейчас покарает. В ужасе он разбудил Петра, упал на колени и признался во всем. Показал пистолет, совершенно исправный. Теперь он, Кикин, считает себя „недостойным тяготить землю“.

Подумав, Петр сказал, что раскаяние Кикина еще более подтверждает Божье покровительство.

Верил ли он сам в свою чудесную звезду, внушал ли окружающим, трудно сказать. Кикина в тот раз он простил.

История сомнительная и в то же время слишком невероятная, чтобы быть выдуманной.

Учитель всерьез полагал, что Петра всякий раз хранил некий Божий промысел. В его биографии он находил много необъяснимого. Время от времени в истории появляются и

действуют непонятные силы, он был убежден, что в исторической науке атеистам приходится трудно.

После этого случая Петр назначил Кикина адмиралтейским советником.

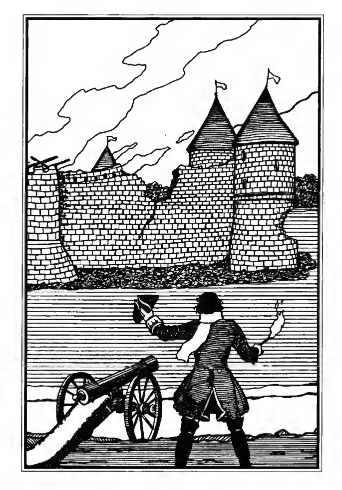
Что означал сей акт? Видимо, Петр уверился, что раскаяние гарантирует верность, иначе как же, Кикину ведь был Божий знак.

Вскоре, однако, был Кикин уличен в деле о хлебных подрядах, в злоупотреблениях, судим. Суд конфисковал его имение, приговорил к ссылке. Кикин обращается с прошением о помиловании к царю, и Петр снова, веря в раскаяние, возвращает его из ссылки, отдает имение, оставляет в прежнем звании. Через несколько лет того же Кикина разоблачают как одного из главных участников заговора царевича Алексея. Это он советует царевичу не возвращаться в Россию, установить связь с французским двором. Кикин устроил бегство Алексея в 1716 году. Кикина судят, приговаривают к казни. Петр не только разгневан, он еще и уязвлен – как же так, дважды им помилованный, дважды прощенный, должен был по всем законам совести и благодарности верен быть, служить преданно, возлюбить должен был. Вместо же этого не только казнокрадство, к чему Петр не то чтобы привык, но притерпелся, но из пыточных признаний предстала многолетняя лютая тайная ненависть к нему Александра Кикина. И хотя следствие над сыном прежде всего поглощало внимание Петра, все же он улучил время посетить приговоренного Кикина, спросить, что заставило этого человека „употребить ум свой в толикое зло?“

Говорят, что Кикин, не раскаиваясь ни в чем, ответил ему такой фразой: „Ум любит простор, а от тебя было ему тесно“.

6 Заказ № 164

Глава шестая



ПИСЬМО ДАМАМ НОТЕБУРГА

— ...По дороге в Москву Петр остановился в Вышнем Волочке. Не мог не посмотреть, как идет строительство канала и шлюзов. Он ведь хотел соединить бассейны Волги и Невы. Первую великую российскую стройку запустил. Однако не о том речь. Осмотрев работы, он вернулся в город пообедать. Пока ел, собрался у ворот и в сенях народишко. Принарядились, пришли царя увидеть и себя показать. Петр отличался доступностью. Специально „общаться с народом“ – этого в манере Петра, по словам Молочкова, не было, да и ни к чему ему было, „общение“ происходило на ходу, по делу. Пообедав, вышел к ним и во время разговора обратил внимание на одну девушку. Хороша была, к тому же поведения скромного. Стояла поодаль, заметив взгляды царя, смущалась и пряталась. Петр в таких вещах был человек настороженный. Велел подозвать ее. Она приблизилась, закрывая лицо рукой. Счел он этот жест за девичью застенчивость, взял ее руку и стал говорить, чтоб она не боялась: девушка она видная, пора ей замуж, любой такую возьмет. При этих словах бабы кругом засмеялись, некоторые же нарочито громко, так что вышло неприлично. „Чему вы, дуры, скалитесь, – прикрикнул Петр. – Тому, что девушка скромнее вас?“ На это бабы грохнули пуще прежнего. Петр спросил у ближнего мужика, чего они заливаются.

– Может, ревнуют, что я ее приметил?

– Нет, государь-батюшка, они не тому смеются, причина тут другая.

– Какая же?

– Ты назвал ее девушкой.

– Что ж, она уже замужем?

– В том-то и дело, что не замужем.

– Так что же?

– Девушка она неплохая, трудолюбивая, да вот сошлась с немецким офицером, он постоем у нас стоял, потом отряжен был в другое место. Прижила она от него сына. Теперь наши девки не знаются с ней, смеются.

– Эко великое зло, – сказал Петр. – Да если она ничего худого не сделала, чего ей долго вменять в вину. Да еще ругать. Родила, и молодец.

Он повысил голос, чтобы все, кто в сенях и во дворе, слышали:

– Смотрите у меня, чтобы это прекратили. Повелеваю всем не попрекать ее отныне, не сторониться!

Петр взял ее снова за руку, погладил, сказал, чтобы не боялась, ни о чем не печалилась. Попросил принести сына. Это оказался крепыш, двухлетний малыш. Петр погладил его: „Славный мальчик, будет добрым солдатом. Старайся, чтобы вырос здоровым“. Он поцеловал мать, подарил ей денег и с тем и уехал.

– Как трогательно, – сказал профессор. – Так писали в старину для церковно-приходских школ хрестоматийные рассказики про царя-батюшку. Он у вас, Виталий Викентьевич, – сахарна головушка, медовые уста, печальник и заступник. Я уверен, что на самом деле вы знаете о нем совсем другие истории.

– Видать, трахальщик был этот Петр, – мечтательно сказал Гераскин.

– Бог с ней, с этой гуленой, – сказал Дремов. – Вы на другое обратите внимание – доступен был, напрямую контактовал, выяснял индивидуальные обстоятельства. Я давно заметил – где начальник толковый, он готов принять тебя, времечко у него всегда найдется, слушает, не торопится. Если наш начальник бестолочь, к нему не пробиться, всегда занят. Парадокс!

Гераскин упорно возвращал учителя к теме „Петр и женщины“.

– Петр много сделал, чтобы ввести русскую женщину в свет, – начал было Молочков, однако вдруг рассмеялся и вспомнил иную историю.

Шла осада Нотебурга. Так у шведов называлась крепость Орешек. Петр лично принимал участие в сражениях. День за днем русские из сорока орудий обстреливали крепость. Безуспешно.

...Из-за бездорожья обозы отстают от войск, так же как и осадные пушки. Северная война началась в распутицу, в октябре 1700 года под Иван-городом с того, что сразу обнаружилась нехватка ядер. Порох был скверный. Артиллеристам приходится закладывать полуторный заряд. От этого рвутся пушки, гибнут бомбардиры. Видя подобные беды, капитан артиллерийской роты Гуммерт переходит на сторону шведов. Военные советники, нанятые Петром, плохи, не оправдывают надежд.

При бомбардировке Нотебурга пушки то и дело выходят из строя. Когда солдаты пошли на штурм крепости, они не могли залезть в пролом стены, лестницы оказались слишком коротки.

Еще когда русские окружили крепость, Шереметев, командующий армией, послал коменданту трубача с посланием. Фельдмаршал предлагал шведам сдаться. Положение их безнадежно. Помощи ниоткуда не будет. В ответ шведский комендант Шлипенбах учтиво и язвительно благодарил за объяснение причин, по которым гарнизон должен сдаться, и просил несколько дней сроку, чтобы получить разрешение от своего начальства.

Такой ответ не устраивал Шереметева. Обстрел возобновился. В разных местах крепости начались пожары, черные столбы дыма поднимались в хмурое октябрьское небо.

Барабанная дробь пробилась сквозь звуки канонады. Из ворот крепости вышел в парадной форме барабанщик. Он направился к русским батареям. Стрельба прекратилась. Случайно или нет, барабанщик вошел в расположение бомбардирской роты Преображенского полка. Командовал ею не кто иной, как

капитан Петр Алексеев. Барабанщик, подойдя к нему, попросил вести его к командующему, передать письмо. „Где письмо?" – потребовал капитан. „Оно на имя фельдмаршала". – „Не бойся, я передам". Отобрал и тут же черными от пороха руками вскрыл печать. Был капитан высоченный, как потом докладывал барабанщик, кошачьи усы торчком, волосы облепили потный лоб, шея замотана шарфом, внушал он робость, так что барабанщик спорить не посмел.

Письмо было от жены коменданта. Она от имени офицерских жен просила фельдмаршала дозволить „зело жалостно, дабы могли из крепости выпущены быть ради великого беспокойства от огня и дыму".

Прочитав, капитан-бомбардир крепко прошелся по гарнизонным потаскухам, которым не место в крепости, а коли они там пребывают, пусть нюхают без разбору, что придется, потом расхохотался и сказал, что сам даст ответ. Тут же писарь на шведском барабане под диктовку царя со всеми приличиями отписал, почему не стоит отправлять барабанщика к самому командующему – поскольку тот „не согласится опечалить шведских дам разлукою с мужьями", да и опасно им одним попасть в русское расположение. Посему капитан-бомбардир галантно советовал, „если дамы изволят оставить крепость, то пусть берут с собою любезных супругов".

Ответ Петра вызвал одобрение у Антона Осиповича.

– Дипломат! Самое трудное – красиво отказать.

– А чего это он – то Петром Алексеевым служит, в капитанском звании, то плотником Михайловым, – поинтересовался Гераскин. – Уставал, что ли, от своего царского звания?

Молочков пожал плечами.

– Любил отстраняться. Почему – точно объяснить не могу. На шутейных соборах тоже передавал свою власть – папе-кесарю.

– Не боялся, значит, побыть без короны.

– Конкуренции не боялся, – сказал Антон Осипович. – Монархия, прения не обязательны.

– Что же дальше было? – потребовал Дремов.

– Барабанщика напоили вином и отпустили. Как только шведы получили ответ, они от злости открыли огонь по царской батарее. И опять шведские дамы мучались от дыма и гари.

В огне пожаров сгорели все деревянные постройки крепости. Половина русских пушек перекалилась, вышла из строя. Русские пошли на штурм, устремились в пробитые артиллерией бреши. Шведы лили на них смолу, стреляли в упор. Сражались отчаянно. Крепость считалась неприступной, и недаром – стены высокие, полоска суши между стенами и водой узкая, так что осаждающим не развернуться.

Штурм продолжался час за часом, тринадцать часов, то и дело обнаруживалась неопытность русских, недостача осадных средств, Петр все видел со своей батареи. Гибли его лучшие гвардейцы. Вновь надвинулось позорище „Нарвской конфузии“. Горящая смола защитников крепости лилась сверху, вспыхивали деревянные лестницы. Преображенцы, семеновцы – его любимцы, его надежда – падали у каменных стен, застревали убитые в слишком узких проломах. „Бомбардирский капитан“ не мог ничем им помочь, судороги бегали по лицу. Губы дрожали, когда он отдал приказ отступать. И тут произошло небывалое – подполковник Семеновского полка Михаил Голицын ослушался:

– Скажи царю, что я уже теперь не его, а Божий.

И Петр не осердился на ослушника, Петр возликовал, появился боевой дух, о коем он мечтал, когда офицер делает то, что нужно делать не для царя, а для победы!

Его гвардейцы и преображенцы майора Карпова повторили приступ. Назад пути им не было, они сами столкнули суда в воду и пустили их по течению реки. Теперь им оставалось только взять крепость. В это время, несмотря на обстрел, на остров высадился свежий отряд подпоручика Меншикова. Они снова и снова бросались врукопашную. Никто и ничто уже не могло остановить штурмующих. Под утро шведы сдались. Петр принял от Шлипенбаха золотой ключ от крепостных ворот.

Из этих ворот вышли остатки шведского гарнизона. Картина была красочная. Петр в темно-зеленом мундире стоял с огромным золоченым ключом. Шведские солдаты – кто перевязанный, кто хромая, опаленные, грязные, заросшие – тащили четыре чугунные пушки, столько им разрешили взять. Ружья висят дулами вниз. Небритые щеки оттопырены. При изготовке и стрельбе пули клали в рот, обе руки заняты. Знакомый Петру барабанщик шел под знаменем. Барабан его молчал. Шествие замыкали дамы. Они тащили узлы. Последними шагали, опустив головы, шведские офицеры. Санитары везли на повозках раненых.

Строй русских солдат во главе с Шереметевым и Петром отдавал честь стойким защитникам крепости. В знак высшего уважения шведам разрешалось взять с собою личное оружие, офицерам – шпаги.

Тут же Петр велел переименовать крепость в Шлиссельбург (Ключ-город), дать ей новый флаг, герб и наградить всех медалями.

История приписывает победу двум полководцам – Шереметеву и Репнину – ну и, разумеется, Петру.

Победа многому научила и офицеров, и солдат, и самого царя, ему навсегда запомнился миг его слабости.

Уже спустя неделю были выбиты медали в честь взятия Нотебурга: изображен был Петр и осада крепости.

Глава седьмая



ПЕРЕВОДИТЬ ПОЛНОСТЬЮ

Интересная была у Молочкова манера – никаких вступлений, вводных слов. Из него вдруг вырывалось, иногда с середины, не сразу поймешь к чему, с чего началось:

– ...Заказали ее перевод монаху Гавриилу Бужинскому. С этой книгой получилось любопытное недоразумение. Называлась она „Введение в историю европейскую". Лично Петр заказал. По разным художествам он отбирал заграничные книги для перевода. По географии, архитектуре, о делании фейерверков, по садоводству, по анатомии. Все называлось художеством. Монах старался как мог, немецкий знал хорошо, и через несколько месяцев труд был завершен. Он взял рукопись, отправился во дворец на прием, ожидая царской благодарности, потому что сделана работа раньше срока. Время было послеобеденное, царь, отдохнув, вышел в приемную. Обходил, здороваясь, дойдя до монаха, спросил, скоро ли он кончит перевод. Вопрос был кстати. Перевод готов, отвечал монах, радуясь предстоящей похвале. Петр с довольным видом взял рукопись, стал листать. Листал явно отыскивая какое-то место. Найдя, стал читать. И тут монах увидел, как лицо государя начало мрачнеть, брови грозно сошлись.

– Что я тебе приказывал сделать с этой книгой?

– Перевести.

– Где ж твой перевод? – Петр с силой ткнул пальцем в параграф о Российском государстве. – Это что? Разве так было в книге?

Монах испугался. Переводя, он полностью опустил критику в адрес русского народа. Не стал переводить про беспорядок в устройствах власти, не оставил о пьянстве, о взятках и о других непочетных качествах русских людей.

В других местах кое-что смягчил – про леность. Отдельные выражения сделал приятнее.

Память у Петра оказалась крепкая, он уличил переводчика в пропуске целой страницы, сердито вернул ему рукопись:

– Сделай, как я тебе приказал. Все оставь в точности, что сочинитель написал.

И пояснил, чтобы понятно было присутствующим: полный текст нужен ему не для поношения своих подданных, наоборот, надо знать, что думают о русских в других странах, такое знание полезно для исправления нравов.

„Введение в историю европейскую" была знаменитая книга, написанная еще более знаменитым немецким ученым Пуфендорфом в 1684 году. Человек для него существо разумное, и поэтому в естественном состоянии господствует не всеобщая вражда, а мир.

Что это за выпущенные места, которые приметил Петр?

Русские, написано было у автора, такие же люди, как и прочие европейские народы и в политике, и в прочем, однако тут же оговаривается, они малообразованны, малограмотны, священники „грубы и всякого учения непричастны", из Священного Писания знают одну-две главы. В быту русские невоздержанны, свирепы, о своих достоинствах нестерпимо гордятся, чужие достоинства отвергают. Будучи о себе высокого мнения, они не видят своих недостатков. Заключает же тем, что этот рабский народ рабски смиряется с жестокостями власти и даже любит повиноваться. Подобные характеристики Бужинский не посмел оставить.

В книге по истории войны со шведами Петр вставляет примечание, что в прежние, довоенные времена шведы рассуждали о русских примерно так, как писал „славный историк Пуфендорф", в нынешние же времена, конечно, суждение иное.

Урок, преподанный Петром, переводчик Бужинский усвоил на всю жизнь и переводил другие книги дословно, ничего не выпуская.

Петр заказывал разные переводы и составил как бы правила переводчикам. Требовал знать предмет, который переводит.

Не разумеющие наук должны быть оным обучены. Мало знать язык иностранный, надо собственный знать, так что лучше, когда переводчик русский.

– А что с тем монахом? – поинтересовался Гераскин.

– Монах перевел Пуффендорфа слово в слово. В 1723 году монах вручил книгу государю. Ее издали. Правда, после смерти Петра, в следующем издании хулительные места, восстановленные Петром, были опущены.

Профессор восхитился, откинулся на спинку кресла, залучился мелкими морщинками от удовольствия.

– Узнаю тебя, родина. Да разве мы можем вытерпеть хулу от иностранца. На что нам честь, была бы спесь. Первая заслуга у нас, что русским родился. Вторая заслуга, что русский лучше всех остальных. Кто это сказал? А это мы сами знаем.

– Не любите вы русских, – сказал Антон Осипович.

– Еще как не люблю. Потому не люблю, что я русский. Между прочим, Челюкины – новгородские бояре. Не люблю, потому что насквозь знаю Россию, всю ее, лесную, изъездил. Да, не хочется знать, какими нас видят со стороны, ой не хочется. Сами себя тоже видеть не хотим. Нас надо мордой тыкать в наше дерьмо, и то не научишь.

Говорил он это, не горячась, без злости, даже обрадованно, словно давно ждал этого разговора и дождался.

– А за что любить русского человека? Объясните мне. Рабский народ. Наша разновидность рабства самая стыдная – холопство. Возьмите, допустим, нашего официанта. Ни приветливости, ни гостеприимства, он холуй и хам. В каждом русском три „ха“: холоп, хам и холуй. Мы рабы без цепей и надсмотрщиков. Свобода нам мачеха. У нас Сталина до сих пор обожают. Измывался, гноил в лагерях, – это все неважно, важно, что считал людей мразью. Мы охотно подтверждаем – да, мы и есть мразь. Мы винтики! Мы пыль! Мы в восторге оттого, что винтики. Винтики-энтузиасты. Назовите мне, чего, чего наш народ достиг без принуды? Возле моей дачи озеро. Каждый год там ставят скамейки, и каждый год их ломают, жгут на костре. Поставили баки для мусора, никто мусор в них не несет.

Накидают кругом себя, да еще обязательно бутылки разобьют, осколки валяются. Тараканы и крысы, пьянь и ворюги, стукачи и вертухаи – вот приметы России. Мы нищие в самой богатой стране, назло себе бедные. Озера и реки загадили. Леса порубили. Угольные места завалили терриконами. Страну превратили в свалку и предлагаем себя как помойку Европе.

Видно, когда-то Челюкин возмущался, пылал всем этим, с годами у него отгорело, остались печаль и насмешка над прошлыми своими страстями.

Давно он пришел к выводу, что, с точки зрения мировой цивилизации, наше существование является вредным, мы не имеем права пользоваться этой страной, следовало бы отнять у нас земли, наличие в мире такого бесхозяйственного государства экономически неоправданно. Пустая Сибирь, неосвоенный север... Будь его воля, он не побоялся бы призвать к нам чужеземцев, хоть японцев, хоть немцев, чтобы они навели порядок.

– Меня в Германии немец спросил, откуда я. Узнав, что из России, похлопал по плечу, сказал, смеясь: „Вотка! Давай. Давай!“ – вот их представление о нас. Мне стыдно, что я из России. Глупая страна. Столько умных людей, а страна дура.

– Наша страна дала миру Толстого, Достоевского, Чайковского, – стал перечислять Антон Осипович.

Профессор вежливо кивал, потом сказал:

– Ничего она не дала. Все они вопреки России произошли. Россия всех своих гениев душила. Таланта у нас терпеть не могут, либо запретят, либо до петли доведут. Позвольте вам процитировать классика Щедрина: «„Это что за страна?“ – спросил приезжий. „Это не страна, – ответили ему, – это Россия“».

Люди холопского звания
Сущие псы иногда,
Чем тяжелей наказанье,
Тем им милей господа.

Могу Лермонтова, могу Толстого, могу Горького цитировать – они все знали цену России. Вы читали сочинение

Мережковского „Грядущий хам", так вот, это мы. Хам пришел и явил миру свою харю. Это еще цветочки. Мы ж никого не любим, ни один народ не чтим. Поляков презираем – что они могут? Немцы – терпеть их не можем, смеемся над их аккуратностью – мещане, бездуховные, скупые. Все иностранцы плохие, все ниже нас, жмоты, подозрительные. Не любим иностранцев и завидуем им, и заискиваем. Я крем купил, наш крем, а название по-английски, и то с ошибкой.

– За такие высказывания раньше давали срок, – сказал Антон Осипович, – да и нынче можно привлечь по клевете. При этой идеологии зачем сидеть в России, уехали бы за границу.

– Это правильный вопрос, – без всякой обиды отвечал профессор. Он не раз подумывал об отъезде, тем более, что дочь его с мужем уехали в Германию, там они устроились и работают врачами. Но уехать – значит сдаться, перечеркнуть свою многолетнюю борьбу. Нет, лучше, как говорится, пасть на поле боя. Победа ему не светит, но и бегством себя марать неохота.

Тут неожиданно Гераскин выступил – он своих сыновей определил в английскую школу, чтобы язык знали и при первой возможности отправились за границу. Спасать надо от наркоты, от бандитов, от заразы всякой, Россия больна во всех смыслах.

Но вот что интересно: пока Челюкин говорил, с ним соглашались, а кончил – стали возражать, приводили в пример блокаду: Ленинград – единственный город во Второй мировой войне, осажденный со всех сторон, и не сдался, выстоял.

– Это как, по-вашему, – кричал Антон Осипович, – вы скидываете со счета?

– Я не понимаю, как можно жить в Петербурге и не признавать достоинств нашего народа, – говорил Сережа Дремов. – Чтобы создать такой город, сколько надо художественного вкуса, любви к той же Неве. Дело даже не в архитектуре, вся суть в поэзии города. Вспомните вашу юность, катание на Неве, белые ночи, острова, свидания...

Челюкин неприятно засмеялся.

– У меня первая любовь произошла на вонючей кошачьей лестнице, на подоконнике. Так что не надо мне про свидания. Она жила в общежитии, а мы в коммуналке, пять человек в одной комнатушке. Где мы с ней только не искали местечка. В кустах парка культуры, среди собачьего дерьма. Выломали окно, забрались в детский сад. Ни разу не могли, допустим, снять номер в гостинице, чтобы лечь в постель на чистые простыни. Все было случкой. Ничего не осталось от той юной любви, стыдно вспомнить.

В его тоне не было ни торжества, ни горечи, он как бы утешал Дремова, оправдывался за то, что приходится говорить и такое.

Дремов не сдавался.

– Допустим, не повезло вам. А мне повезло. Про каждый народ можно наговорить плохого. Не все так воспринимают Россию.

– Рабы! – упрямо повторял профессор. – Петр сказал: „Я вам зубы рвать буду!“ Пожалуйста, все разом рот раскрыли, подставили себя этому сумасброду, самозваному лекарю.

Серега встал, театрально откинул голову, поднял руку.

– Знаете ли вы историю Древнего Рима? Когда-то я увлекался ею. Поучительно. Позвольте вам сообщить мои наблюдения. „Камо грядеши“, „Нерон“, „Братья Гракхи“, сочинения Вагнера... Нерон явный псих был. По мере того как болезнь его росла, власть расширялась. Все понимали, что больной, и помалкивали. Отравил своего брата. Убил мать свою Агриппину. Его садизм не знал пределов. Свободолюбивые римляне покорно принимали его тиранство. Всякий раз оправдывали и прославляли. Центурионы, трибуны целуют Нерону руки, утешая его после убийства матери. Его прославляет Лукан: „Нет божества, которое не уступило бы тебе своего места. Природа разрешит стать тебе любимым богом“. Он истребляет всех кого хочет, без причины, без объяснения. И ему разрешают это делать сами жертвы. Они идут ему навстречу, не протестуя. Вот в чем ужас. Никаких судебных разбирательств. Он указывает пальцем, и герой убивает себя. Без жалоб и кассаций.

Извещенные трибуном о том, что час настал, римляне садятся в ванну и вскрывают там себе вены. Так поступают один за другим. Астин, Острик, Торкват, Петроний, Лукан. Мой любимый Сенека, мудрец, замечательный свободный мыслитель, получив приговор Нерона, он покорно подчиняется, садится в ванну и смотрит, как алеет вода. Во имя ничтожества уходит жизнь великого человека, без ропота, без сопротивления. Плавт, будучи в Азии, может в любой момент поднять легионы в свою защиту, вместо этого он по приказу Нерона подставляет горло под меч евнуха. Бездарному певцу, артисту присуждают две тысячи венков. Свергают статуи олимпийских чемпионов, на их постаментах воздвигают изображения Нерона. Вот что меня поражало.

– Это нам знакомо, – сказал Гераскин. – Интересное кино.

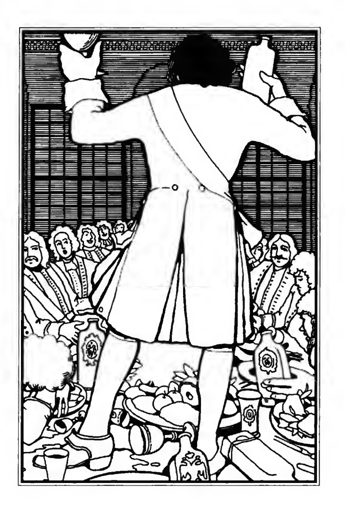
– В том-то и дело, может, и у других было похоже. У испанцев. Или индусов, я не знаю, но римляне!

– То было две тысячи лет назад, – сказал профессор. – Эпоха рабства.

– Всегда виноват человек, а не эпоха, – убежденно сказал Дремов.

Учитель поджал губы, синие глазки его вспыхнули, он хотел что-то сказать, но промолчал.

Глава восьмая



ЧЕРЕПАХОВЫЙ СУП

Деспот, свирепый, самодур, по-первобытному дикий – чего только не навешивали на Петра. И все доказательно, на все есть факты. Польский историк Валишевский считал натуру Петра темной и страшной, как девственный лес. Он то палач, то он Фальстаф, то Наполеон, то Александр Македонский.

Было время, когда Молочков представлял его одержимым идеей служения Отчизне, а все такие люди – фанатики, лишенные обыкновенных человеческих радостей, страстей, увлечений.

Однако, чем дальше учитель погружался в материал, тем чаще Петр не желал оставаться в угрюмой сосредоточенности или в безоглядной устремленности. То там то тут его ребячий смех, проказы сбивали с толку, путали.

– Вы заметили, что Летний дворец Петр строил на другом берегу Невы, как раз напротив своего первого домика. Наступала весна, начинался ледоход, и Петр забавлялся тем, что переправлялся на тот берег, прыгая с льдины на льдину. Приближенные в страхе смотрели на это сумасбродство. Хохоча, он озоровал, наслаждаясь смертельной игрой с любезной ему стихией. Льдины звенели, сталкиваясь, поскрипывали, налезая друг на друга, между ними крутилась стылая черная вода. Меншиков как-то попробовал следовать за ним, но отступил, убоясь.

Можно подумать, что Петр в детстве не доиграл. Розыгрыши, потехи, спектакли не отпускали его до конца жизни.

В 1723 году ночью в столице зазвучал набат. Звонили с нескольких колоколен. Люди думали, что пожар, помчались туда, где виднелось высокое пламя. Там перепуганных, на-

спех одетых горожан хохотом встречали солдаты. «С первым апреля!» – громко возглашал царь, это он верховодил у костра.

Он не упускал случая повеселиться, а повеселиться – значит, придумать представление, игру, розыгрыш.

В Дрездене, на ярмарке, он уселся на деревянную лошадку, погонял ее криком: скорей, скорей – Schnell! Лошадки карусельные, их вертят быстрее, спутники Петра не удерживаются, их выбрасывает из седел, Петр хохочет от удовольствия, он счастлив как ребенок.

На празднике, уже в России, по случаю заключения мира, Петр устроил народное гулянье, и сам пил, угощался со всеми на площади, пел песни, вскочил на стол, отплясывал. Веселость его увлекла окружающих, словно уличный мальчишка, он радовался больше всех. Гулянки длились далеко за полночь, а спозаранку он мчался работать. Что такое усталость, он не знал, похоже, до конца жизни.

Во время плавания по Дону Петр увидел, как голландский матрос выловил черепаху, сварил ее и с наслаждением съел. Русские, наблюдая это, ужасались. Петр позвал повара, велел ему сварить такой же суп и подать в кают-компанию под видом куриного бульона. Когда приближенные съели этот суп, и с удовольствием, Петр объявил, что то была черепаха, и показал им панцирь. Шафирову и Шеину стало дурно. Бедняги не знали, что это деликатес.

Беден тот, в ком ничего не осталось от ребенка. В Петре сохранялся сорванец, бедокур, выдумщик всевозможных проказ, шуток, фантазий.

Он способен отправить послание любимой собаке Меншикова, покорно просить ее не задерживать хозяина, напоминать о срочных делах.

На Новый год он отправляется вместе с толпой ряженых распевать псалмы перед дверьми купцов, приносить поздравления и ждать, когда хозяин вынесет угощение. Один московский купец пожадничал, отказался угощать. Петр взбунтовал толпу, заставил купца платить каждому штраф.

В Митаве Петр познакомился с местным палачом, тот показал ему свои орудия. Петр выторговал у него специально изготовленный топор. Этот палаческий инструмент Петр послал в подарок (!) князю-кесарю. Ромодановский отписал царю, как он новым топором хорошо отсекает головы преступникам.

Жутковатый юмор легко перемежается с веселыми выдумками.

В пьяной компании он пьет не передергивая, может пить два-три дня подряд, но это не запой, его нельзя назвать пьяницей. Его не тянет к вину, он не валяется под столом. Память иногда отшибает, и все же не совсем. В записке адмиралу Апраксину пишет: „Как я вас покинул, я, право, не могу сказать, так как прямо обременен дарами Вакха. Прошу меня простить, ежели я в чем-либо провинился против некоторых из вас... И забыть то, что произошло". Апраксин был старше его, и Петр соблюдал этикет, заведенный издавна в России. Старших уважали. Вельможа вставал перед человеком низшего звания, украшенным сединами. Князь Михаил Голицын, увенчанный воинскими лаврами, генерал-фельдмаршал, сенатор, шестидесятилетний, не смел садиться при брате своем Дмитрии, который был на девять лет старше. Никто не смел прервать старшего. Его усаживали на самое почетное место.

Петр любил прогуливаться пешком. Взяв с собой трость, шел в порт, заходил в трактиры, подсаживался к матросам, купцам, расспрашивал про их житье-бытье. Если на улице прохожий, кланяясь, останавливался перед государем, он подходил, взяв его за плечо, спрашивал:

– Ты чего?

– Я свое уважение, ваше величество, хочу выразить.

– Милый, у меня свои дела, у тебя свои, чего нам попусту стоять.

Зайдет во дворец к адмиралу Апраксину. Там в галерее с четырех часов накрыты столы: холодная закуска, фрукты, вина. Угощают всех проходящих.

Мог пожаловать на Фонтанку, во дворец Шереметева. У того всегда накрывали на 50 персон. Садились все званые и незваные, имущие и неимущие.

Благотворительность была развита как умение накормить, напоить, приветить гостя, когда бы он ни пришел. В гостеприимстве состояла репутация хозяина, да и удовольствие жизни. Петр ценил русское гостеприимство выше заграничного. Он любил заходить к ремесленникам, садился с ними обедать, не отказывался выпить. Лишние почести себе оказывать запрещал.

Будучи в Англии, посетил парламент. Удивлялся и радовался активному поведению оппозиции. С тех пор повторял: „Полезное я рад слушать от любого, хоть от последнего человека. Руки, ноги, язык не скованы, а доступ до меня свободен".

Поскольку он ездил по всей России, то был доступен, доступнее многих губернаторов. Крестил детей, бывал на свадьбах, похоронах.

Новшества он внедряет и силой, и со смехом. Адмирал Головин не хочет есть салат с уксусом, который был в новинку. Петр вливает ему силой стакан уксуса в рот. Боятся есть устриц, он принуждает есть и хохочет над страхами сотрапезников. Это у него не садизм, не самодурство, а его способ вводить, утверждать новое. По-скорому, не откладывая на будущее, согласно примеру Господа нашего, который мудро создавал мир изо дня в день, безотлагательно.

Его осуждали по-всякому из поколения в поколение. За то, что насильно сбривал бороды у бояр, приказывал носить иноземное платье. Заметим, что после его кончины никто не вернулся к прежнему, не стали отращивать бороды, не скинули немецкие одежды. Брились, щеголяли в европейском платье, в модных париках.

Многое шло у него от нетерпения. Времени перевоспитывать не было. Так поступает ребенок с куклами, с солдатиками.

В Преображенском Петр увидел дом, где шли когда-то переговоры о том, чтобы начать войну со шведами. Ныне, в1723 году,

война окончена, а что если здесь и обозначить конец? Сжечь дом, подвести огненную черту. И не просто сжечь, он велит обложить дом шутихами, римскими свечами и запалить. Дом вспыхнул. Во все стороны стреляют звезды, взметаются огненные столбы, зеленые, голубые. Языки пламени освещают его могучую фигуру в зеленом кафтане, треугольной шляпе, он притопывает стоптанными башмаками, бьет в бубен. Конец военной эпопее! Она отняла у него двадцать лет! Наступает новая эра победного мира!

Полководец, флотоводец, он ценил победу, военные удачи баловали его, и все же куда дороже была ему мирная жизнь, он мечтал пестовать свое детище – Академию наук, посылать экспедиции, собирать чудеса природы, заниматься просвещением, науками. Строить новую столицу. Туда тянулась его душа.

Огненные фонтаны взметались и расцветали букетами в густом вечернем небе. Что у него получалось, так это символика. Он мало что смыслил в живописи, в музыке. Искусство аллегории – в этом он разбирался. Ценил мистерии, фарсы, умел придумывать и ставить красочную шумовую феерию. В ней рассказывал о своих действиях, об успехах. Если угодно, то была пропаганда достижений его царствия. Других способов информации у него не было. Через эти представления он мог обращаться к народу.

Он любил пользоваться и притчами, и баснями, это хорошо сочеталось с его ребячьей фантазией. Вот и этот пожар в Преображенском он завершил пересказом одной из басен Эзопа – как Геракл шел по узкой дороге, увидел на земле что-то похожее на яблоко, попробовал разбить это. Но предмет сделался вдвое больше. Геракл еще сильнее стал бить его своей дубиной. Предмет раздулся так, что загородил всю дорогу. Геракл бросил дубину и остановился в изумлении. Тут ему явилась Афина и сказала: „Перестань, брат! Это распря, если ее не трогаешь, то она останется как была вначале, а при борьбе она так раздувается“.

В октябре 1721 года Петербург отмечал присвоение Петру титула Петра Великого, императора Всероссийского.

Вечером начались огненные потехи. Грянул залп со всех галер, с крепости, так что земля содрогнулась.

Представление происходило в небе на глазах тысячных толп жителей новой столицы.

Зажегся огромный шит, на нем появилась богиня Правды, в одной руке у нее были весы, в другой меч, ногами она попирала ненавистников России в виде фурии, надпись на щите гласила: „Всегда победит!". Рядом зажегся другой щит. На нем корабль входил в гавань с надписью „Конец делу венец". Загорелись пирамиды, завертелись огненные колеса, взметнулись огненные фонтаны. Два часа продолжалось представление, не просто потешные огни метались по небу, шло осмысленное действие, управлял им сам Петр, зрителям показывали значение побед, значение завоеванного мира.

В те времена, когда не было ни радио, ни газет, ни плакатов, огненные представления были единственным средством разъяснить, осмыслить происходящее. Так Петр преподносил свои успехи.

Было ли что-либо подобное в Европе, учитель не знал, иностранные дипломаты того времени, кто видел эти торжества в Петербурге и в Москве, были в восторге. Во всяком случае для России зрелище это было новое, производило оно сильнейшее впечатление, будоражило умы, запоминалось навсегда. Шутка ли, над низкими топкими берегами, где между недостроенными дворцами чернели хижины, дымили землянки, сияли в бриллиантах огней фантастические сцены. Словно небесные силы принимали участие в русской истории, судили, освещали и благословляли действия россиян.

Гений Петра сложный, тайники его души не исследованы, да они, как утверждал Молочков, и не поддаются анализу, из них вырываются решения неожиданные, порой фантастические. В Петре нет ничего от заурядного человека. Он велик во всем, и в благородстве, и в веселье, и в безобразиях, поступки его непредсказуемы. О нем рискованно судить по результатам. То и дело он опровергает свой характер. Детские выходки

можно отнести к непосредственности, к игре нерастраченных сил, все было бы ясно, если бы игра не переходила в задуманный спектакль, а спектакль в жестокость.

Петр совмещает в себе многих разных людей, каждый из них то появляется, то исчезает, и никак не выяснить, кто же главный.

Известен рассказ, как по московской улице Петр едет в своей одноколке, навстречу ему мчится огромная пышная карета, где восседает князь Ромодановский. Впереди скачет адъютант, разгоняя прохожих, орет: „Сторонись, прочь с дороги, князь-кесарь едет, шапки долой!" Многочисленная свита сопровождает экипаж. Они проносятся мимо Петра, и Ромодановский устремляет на царя гневный взгляд. Петр кланяется ему: „Здравствуй, мой милостивый государь-кесарь".

Спустя час к царю прибыл курьер от Ромодановского с требованием, чтобы Петр прибыл к ответу в Преображенский приказ. Петр явился. Князь, не вставая с кресла, сурово спрашивает: „Что за спесь, что за гордость у Петра Михайлова? Почему на дороге шляпу не снял?"

На это Петр неуклюже оправдывается: „Я не узнал Вашего Величества, вы были в татарском костюме".

Князь со своими усами, да еще надев бешмет, и впрямь походил на татарина. Выслушав Петра, князь неохотно поднялся, не стал говорить, что адъютант возвещал громогласно о князе-кесаре. Они прошли через покои, государь велел поднести князю ковш вина, себе анисовой водки и прилюдно попросил прощения у князя за свою неучтивость. Князь сказал с достоинством:

– Я тебя прощаю.

Сцена эта разыграна обоими безупречно, и все присутствующие, вся обслуга, чиновный штат Ромодановского воспринимает смирение истинного царя и суровость князя без удивления. Никто не выходит из своей роли, и никто не забывает истинного соотношения власти.

В другой раз князь-кесарь обиделся на то, что Петр не поздравил его со светлым праздником отдельно от остальных, и

учинил царю выговор. Петр послушно его принимает: „В последнем письме изволишь писать про вину мою, что я ваши государские лица вместе написал с иными, и в том прошу прощения, потому что корабельщики, наша братия в чине не искусны“.

Выбран князь-кесарем Ромодановский был не случайно. Представитель старинного рода, знатностью он не уступал Петру, по должности, между прочим наследственной, правителя Тайной канцелярии, он был одним из самых осведомленных людей в государстве. Через его тюрьмы, пыточные камеры проходили дознания, розыски, доносы. Человек он пьющий, непьющие в этой игре не участвуют, да и вообще вокруг Петра все должны пить. Князь-кесарь отличается от остальных прямотой и честностью. Бескорыстие позволяет ему держаться независимо, даже возражать царю, резко отвечая на упреки еще более меткими упреками.

Когда Петр из Голландии письмом бранил его за излишнюю жестокость в расправе над бунтовщиками, к тому же совершенной в пьяном виде, Ромодановский ответил: „Это относится к тем, у кого есть досуг и кто его употребляет для посещения Ивашки, мы же поступаем лучше, чем упиваться вином, мы ежедневно купаемся в крови“.

Ивашкой обозначали члены собора пьянку.

Двор этого дублера царя достаточно роскошен. На охоте его свита составляет полтысячи человек, перед ним заискивают, его боятся, и недаром – он не знает жалости. Свою мнимую должность кесаря он несет с достоинством, отвергая насмешки, похоже, он знает, в чем смысл игры, затеянной подлинным царем.

Несомненно, он искренне предан Петру, может быть даже любит его, чтит и разделяет его реформы. Петр знал, кому вручать звание кесаря.

Известна легенда, и Нартов и другие повторяют ее, о том, как князь Ромодановский выручил Петра в трудную минуту. После поражения под Нарвой Петр не знал, как продолжать войну – казна пуста, денег взять неоткуда. Петр закрылся от

всех. Проходят сутки, другие, тогда, нарушив запреты, к нему пробился князь, уговорил царя открыться – в чем его печаль. Узнав про крайнюю нужду в деньгах, повез его в Кремль, привел в приказ Тайных дел и там, за шкапом, где находились приказные книги, показал на железную дверь, снял с нее печать, отпер. В каменном тайнике находилась серебряная посуда, голландские монеты, меха, шубы, мантии, часть из них сгнила, зато другая позволила Петру заплатить войску, накупить продуктов, амуниции, пороху, снарядов.

Богатства эти покойный государь Алексей Михайлович, по словам князя, отдал ему на сохранение и завещал не отдавать никому, разве появится крайняя нужда.

Правда это или нет, но факт, что к Ромодановскому у Петра всегда сохранялось особое доверие.

Отмечали Полтавскую победу. По дороге в Кремль соорудили семь триумфальных ворот, через них торжественно входили победители. Вели колонны пленных шведов, везли трофеи – пушки, знамена, штандарты. Заключал шествие первый министр шведского короля толстяк граф Пипер. Восемь дней в Москве звонили в колокола, кормили, поили, угощали народ, угощали шведских пленников, без устали палили из пушек.

Наряду с этими официальными церемониями, на Царицыном лугу состоялся и комический апофеоз. Наспех построен был деревянный дворец, нечто вроде тронного зала. И началась церемония. На троне – князь-кесарь Ромодановский, ему по очереди докладывают: сперва фельдмаршал Шереметев о том, что он уничтожил шведскую армию, за ним Меншиков: „Милостию Божией и счастием Вашего Кесарского Величества я взял в плен генерала Левенгаунта со всем его войском".

Докладывает и Петр о том, что он храбро сражался в Полтаве со своим полком.

Все они с поклоном передают двойнику царя свои донесения. Он их важно благодарит, они уходят, перед князем-кесарем проводят пленных шведов, которые, естественно, ничего не понимают – кто перед ними, где настоящий царь?

Однако в сознании русских никакой путаницы не было. Двойничество воспринимается как представление, это оборотная сторона медали, как бы отстранение, нечто, необходимое для полного осмысления события.

Гераскин не допускал непонятного в истории, не может быть, чтобы мы, современные люди, не разобрались в предках, которые жили триста лет назад, когда не было ни электричества, ни бензина. Историки ищут мудрости, а рассуждать надо проще, по-человечески:

– Петр в отпуск в санатории не ездил, вкалывал как одержимый, ему разрядка нужна была. Выпить в компании, расслабиться – это ж нормально. Скидывал с себя корону, наденет ее на верного человека, а сам гуляет. Я так понимаю.

Молочков подтвердил, что некоторые историки тоже так считают, дело, однако, не сводилось к князю-кесарю. Началось это, когда совсем молодой Петр, было ему года 23, учредил Всешутейший или Всепьянейший собор. Из года в год он пополнял, укреплял эту организацию. Во главе ее поставил патриарха, или папу, Никиту Зотова, бывшего своего учителя. Сам Петр называл собор сумасбродным. Сочинил устав, постоянно его правил. В собор входили близкие Петру люди, готовые выпить, развлечься, отпраздновать именины, победу, спуск корабля. Справляли свадьбы шутов, масленицы, да так, чтобы именно сумасбродно, не по обычаю, а подурее, противу здравого смысла. Так продолжалось годы.

На пирах председательствовали и князь-кесарь, и всесвятейший или всешутейший Зотов. Князь-кесарь не воспринимался как карикатура, а вот князь-папа, князь-патриарх – сюда добавлялась насмешка, почти кощунство. Хотя, честно говоря, может, тут впутывается наше нынешнее восприятие.

Шествие князя-папы было явно шутовское. Он сидел верхом на винной бочке, телегу вез бык, за ней следовали повозки, запряженные козлами, свиньями, в повозках „кардиналы“, все это улюлюкало, свистело, приплясывало.

Высмеивал ли Петр духовенство? Католическое? Вряд ли.

В 1714 году Зотов надумал жениться и уговорил государя. Жениху было 80, невесте 60 лет. Сын Зотова, офицер, умолял царя не творить бесчестья над стариком. Но было поздно, Петр уже расписал весь церемониал, были заказаны костюмы, царь самолично провел смотр церемониала. И выстрел пушки с Петропавловской крепости возвестил начало свадьбы. Шествие от царского дворца направилось через Неву, по льду, в церковь. Народ толпился на берегах, смехом сопровождал этот пышный разряженный кортеж. Впереди на санях, запряженных четырьмя медведями, ехал князь-кесарь, в костюме царя Давида с лирой и медвежьей шкурой на плечах. Следом сани с новобрачными, запряженные оленем. Далее на санях следовали дипломаты, сенаторы, адмиралы, лютеранские пасторы.

Каждый красовался в костюме, предписанном царем. Екатерина была одета финкой, Голицын – японцем, кто-то монахом, тунгусом. Пестрая толпа пиликает на скрипках, играет на рожках, свистках, Петр в костюме матроса бьет в барабан. Зрители хохочут – „Патриарх женится!“. Звонят колокола.

Какофония на обратном пути во дворец нарастает.

Согласно сценарию Петра, громко представляли гостей четыре заики: „лучший из п-п-пустых хвас-т-т-тунов Белохвостов, который кроме души весь в з-з-заплатах“; „...над всеми б-б-бочками к-к-комендант, и пьяница, и едун“.

Скороходами нарядили четырех толстяков, которых самих надо было вести.

Заик подобрали что надо, трудились они натужно, отчаянно, выговаривая шутовские титулы, придуманные Петром, гости от души веселились, свадебное торжество переходило в пир, пир в оргию и далее в вакханалию.

Выдумки Петра следовали одна за другой. Члены Всешутейшего собора тоже изощрялись в шутках, разнузданные нравы смешивали остроумие с похабством. Патриарх со своего возвышения мочился на застолье, на головы вельмож, на их парики, что невероятно развлекало компанию.

Этот Никита Зотов был первым учителем маленького Петра. С тех пор он оставался при дворе. За какие качества Петр

сделал его князем-папой, фигурой пародийной, – неизвестно. Выпивоха с железным здоровьем, способный и в старости пить и гулять сутками, Зотов до конца дней своих нес службу князя-папы, главы Всешутейшего собора, учреждения постоянного, вроде как бы клуба пьяниц, сумасбродов и насмешников.

При нем государь состоял в чине дьякона. Со всем пылом отдается он этим потехам и в то же время умудряется в разгар гульбища отлучаться из зала с изображением Бахуса, Купидона и Венеры в кабинет на государственные переговоры, давать аудиенцию иностранным гостям. Решит дела, не снимая маскарадного костюма, и назад, к пирующим.

Один из членов „компании“ был думный дьяк Андрей Виниус. Сын известного голландского мастера, он заслужил доверие Петра. Отовсюду Петр шлет в числе прочих письма Виниусу. Кроме поручений пишет о своих впечатлениях, тон его писем шутлив, дружелюбен, но вот Петр обнаружил, что Виниус не поставляет в армию лекарств. А еще задержал поставку артиллерийских припасов. Тон писем сразу меняется, Петр обещает Виниуса самого лечить, жалуется князю-кесарю, что Виниус потчует царя „московским тотчасом“. Проведав об этом, Меншиков пользуется случаем окончательно лишить дьяка царского расположения. Придворное правило – падающего подтолкни. В итоге весельчак, шутник Виниус был исключен из „компании“. А вслед освободили ото всех должностей. Ни застолье, ни „компания“ не помогали, если обнаруживалось небрежение в делах. Это у Петра было поставлено строго.

Гераскин не поддавался.

– Наши мужики тоже дела решают в сауне. Нормально.

– Извините, это были не просто собутыльники. Собор имел устав, должности. За месяц до смерти Петра, обратите внимание, в январский мороз, Матвею Головину предписано было по сценарию, опять же царя, участвовать в шествии в костюме дьявола. Ему исполнилось 80 лет, представитель старинного боярского рода, человек глубоко религиозный, он отказался

от этой роли. Его раздели, напялили на голову колпак с рогами, посадили на лед посреди Невы. Старик простыл, умер.

Гульба соединялась с принудой, действовала смесь вольности и дисциплины. Странный орден деспотического разгула, он как бы обслуживал фантазии Петра, его воображение, соединял всю компанию забавными перевернутыми отношениями. „Ехала деревня мимо мужика, вдруг из-под собаки лают ворота". Это традиции скоморошества и, если угодно, способ освобождения от страхов.

– Видать, выдумщик он был занятный, – сказал Гераскин.

– Ныне начальники гуляют еще круче, – сказал Антон Осипович и сделал смешок. – Сплошная похабель.

– Это они могут, – подхватил Серега, – только без выдумки. Поставят девок раком и в задницу цветы засунут или морковку. А уж если обмажут сиськи черной икрой и чтоб слизывали, то это вершина творчества.

Про начальственные кутежи и у каждого были свои сведения. Особенно ярился Антон Осипович на бывших комсомольских вождей, какие они устраивали дикие пьянки и бордели. Никогда это не было развлечением ума. В петровском же соборе, как он понял, происходила не случайная подмена, каждому вельможе царь свою роль назначал – паяца, шута, титул как бы высмеивал себя, значит, с умом делалось.

Молочков слушал его с интересом. И все же он полагал, что до конца понять смысл того, что творил Петр и его приспешники, мы не можем. „Они знали то, чего мы не знаем", – повторял он. Самое трудное в исторической науке – понять человека другой эпохи.

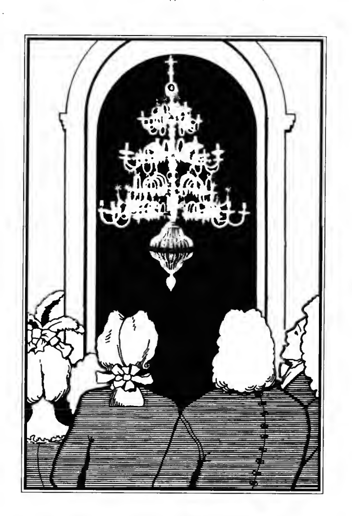
Нас, доказывал он, уже не понимают наши внуки. Как мы могли мириться с концлагерями, с репрессиями и славить при этом личность Сталина? Не понимают, и объяснить невозможно. Вот движется шествие ряженых. Пьяные крики, блевотина, папская митра с крестом, кардиналы... И тут же обнаженные вакханки. Нет ничего святого. А все они люди верующие, все ходят в церковь. Между ними царь, с сознанием абсолют-

ной власти над всеми этими людьми, над вещами, ему все можно, для него нет запретов, а он старается отделаться от этой власти... Как это соединить?

Конечно, историки предлагают нам мотивы тех или иных поступков – почему люди, короли, полководцы действовали так, а не иначе, что ими руководило. Чем уверенней историк объясняет, тем он считается более знающим. Редко кто из них добирается до противоречий, до того, чтобы недоумевать, попасть в тупик, в тот самый, в котором пребывали те люди. Решения их были интуитивны, подсознательны, им приписывают мотивы, о которых они и не думали. Учитель радовался, когда впадал в противоречие с материалом и уже не мог разгадать происходящее. „Человек – это тайна“, – говорил Достоевский. И в самом деле, стоило найти какое-то объяснение поведению Петра, как тот следующим поступком опровергал себя же.

История всегда версия, утешал он себя, всего лишь версия, – они соседствуют, сменяются, если бы история была прозрачна, историкам было бы слишком просто.

Глава девятая



ПАНИКАДИЛО

Неподалеку от Летнего дворца находилась царская токарня. Руководил ею Андрей Нартов. В самом дворце у Петра была токарная комната.

Андрей Нартов осваивал токарное искусство в Москве, позже Петр послал его совершенствоваться в Лондон, Париж. По тем временам он получил инженерное образование – изучил математику, астрономию, механику.

С тех пор как заработала царская токарня, Петр пристрастился к этому делу. За короткое время он обогнал учеников Нартова, достиг немалых успехов. Он уединялся с Нартовым в своей токарне, а еще чаще приходил в токарную мастерскую, где работало много машин, и, надев передник, становился к станку, не отличаясь от других токарей.

В те времена токарное занятие считалось модным при европейских дворах. К примеру, Карл XII в детстве учился вытачивать из кости безделушки, коробочки.

Со времен голландской верфи руки Петра скучали. За станком вместо топора он орудовал шпинделем, резцами; мелкие расчетливые движения требовали больше внимания, поглощали его целиком. Станки приводились в движение ножными педалями, работать надо было всем телом. Летела стружка, пело дерево, он отдыхал душой и головой. Были с ручным приводом, рукоять вертел солдат. Нартов приспособил и водяное колесо. Всего в токарне стояло 27 станков.

Петр точил подсвечники, солонки, песочницы, выточил целую люстру, канделябры. Выточить было полдела, хитрость была придумать, нарисовать, да так, чтобы ни на что не похоже.

Сладость работы нарушали чиновники со срочными бумагами. Просились сенаторы, посланники, курьеры, тут же,

у станка, при Нартове обсуждали неотложные дела. Нартову царь доверял, да тот и не докучал вопросами.

Однажды изготовление паникадила захватило Петра полностью. Задуманная фигура не получалась. Вместе с Нартовым они пробовали выточить ее из цельного куска слоновой кости – сломалось, перешли на дерево. Трое суток Петр не мог оторваться от работы, из токарной не выходил, велел никого не принимать. Отсылали назад прокурора, не допустили и саму государыню.

Приехал во дворец Меншиков, его остановили денщики, он их отстранил, не слушая, направился к дверям токарной комнаты. Когда ему и тут преградили дорогу, закричал, заругался. На шум вышел Нартов, сказал, что государь занят и не расположен к посетителям. Меншиков его оттолкнул, Нартов не убоялся, силой остановил светлейшего князя, ключом запер двери, встал перед ними. Стерпеть подобное оскорбление всесильный Меншиков не мог.

– Добро, Нартов, – сказал он, – попомни это.

Мстительный характер князя был известен, обид он не спускал. Если б Нартов дрогнул, оробел, Меншиков не постеснялся бы его избить, бивал он и не таких, на иностранных посланников руку поднимал, прусского посланника отдубасил при всех. Но Нартов стоял спокойно, с достоинством защитника царя. Светлейший князь удалился, повторив, что Нартов еще пожалеет об этом. Петру денщики доложили о визите Меншикова. Петр рассмеялся: „Где же скрываться от ищущих и толкующих". Потом обратился к Нартову: „Кто дерзнет против мастера моего? Посмотрю. Невежество не терпит художеств и наук. Но наглость я прекращу. Подай, Андрей, чернила и бумагу!"

И тут же, на станке, написал объявление, его тут же Нартов прибил к дверям: „Кому не приказано или кто не позван, да не входит сюда не токмо посторонний, но ниже́ служитель дома сего, дабы хотя сие место хозяин покойное имел". И расписался. Указ должен был быть обороной от всех и от угроз Меншикова.

Никто более не смел докучать им.

Меншиков возненавидел Нартова, после смерти государя царскому токарю пришлось бы плохо, но указ Петра и нагоняй, который получил князь, охраняли Нартова. Указ этот оставался при Нартове всю жизнь, как драгоценная реликвия.

Паникадило Петр передал Петропавловскому собору, в благодарность Господу Богу за облегчение, полученное от лечения на марциальных водах.

Фраза про невежество, которое не терпит художеств и наук, не случайна. Токарных занятий царя не понимали. Царской забавой все еще считалась охота. Петр охоты не любил. Балы, пьянки, ассамблеи глушили, отвлекали, но голову не освобождали. В токарной он отдыхал. Общество Нартова его вполне устраивало.

Никто не думал, что незаметный этот работяга, молчун, приметливо запоминает все происходящее вокруг царя. Словно бы зная, что спустя годы ему придется писать свои воспоминания-анекдоты.

„Ах, если б многие знали, что известно нам, дивились бы снисхождению его“, – пишет Нартов и, видимо, останавливает себя, не договаривает.

Более всего его возмущало мнение о безжалостности царя.

Когда начнут разбирать архивы, писал Нартов, то ужаснутся тому, что делалось против царя. Но те, кто находился при Петре, не могут понять и принять упреков в жестокосердии государя. Люди не ведают, что он сносил, какие терпел несправедливости, сколько прощал и слабостей, и преступлений.

Что именно, какие именно документы имел в виду Нартов, мы не всегда знаем.

Роптали и в семье, и в народе, и в Сенате. Ростовский архиерей призывал священников „опустить уши в народ“, прислушаться, как честят царя, называют подкидышем, говорят, что продался немцам.

Верность покойному государю не позволяла Нартову рассказывать то, что, казалось ему, не положено, то, чем Петр делился доверительно.

Но и то, что запомнил и записал Нартов, примечательно.

Прохаживаясь по Кунсткамере вместе с Нартовым, Петр сказал сопровождавшему их лейб-медику: „Я велел губернаторам собирать монстры и присылать к тебе. Прикажи заготовить шкафы“, – подумав, добавил: „Если бы я хотел присылать тебе монстры не по виду их телес, а по уродливым нравам, места бы у тебя не хватило. Пускай шатаются они во всенародной кунсткамере, между людьми они приметны“.

Запомнился Нартову и такой разговор государя в токарной, с Брюсом и Остерманом.

– Чужеземцы считают, что я повелеваю подданными как невольниками. Я повелеваю посредством указов. Указы содержат в себе добро, а не вред государству. Английская вольность у нас неуместна. Надлежит знать народ, как оным управлять. Кто видит вред, кто придумал добро, может обращаться ко мне без боязни. Свидетели тому – вы. Доступ до меня свободен, лишь бы не отягчали меня бездельством и не отнимали времени напрасно, которого всякий час мне дорог...

Это не было фразой, говорил он со своими ближайшими сотрудниками.

При Нартове приносили Петру его жалованье вице-адмирала. Царь получает деньги за работу, это удивляло Нартова. Петр пояснял: „Сии деньги – собственные мои. Я их заслужил и употреблять могу по произволу. Но с государственными доходами поступать надлежит осторожно: об них я должен дать отчет Богу“.

Как-то Петр показал Нартову чертеж нового укрепления Кронштадта, придуманного генерал-поручиком Минихом, предложения Миниха нравились Петру, который хорошо знал фортификацию:

„Спасибо Долгорукову, он доставил мне сего искусного инженера. Когда саксонцы и поляки не умели его на своей службе держать, так я покажу им, что умею достойных и знающих награждать“.

Он назначил Миниха директором строительства Ладожского канала, работы там сразу оживились, и через несколько лет канал был успешно достроен.

Нартов сумел выбрать из вороха воспоминаний существенное, факты, которые спустя столетия остаются интересными. Имя Нартова сохранилось не потому, что токарничал при царе, а потому что, токарничая с царем, он стал личностью.

Мощное поле Петра индуцировало в людях отклик. Общение с гением всегда возвышало от людей. Прачка, горничная у Шереметева, Екатерина расцвела подле Петра. В ней появились и остроумие, и решительность, и ловкость в управлении людьми, она могла подавать мужу неплохие советы. Казалось бы, никчемная заурядная маркитантка, поднятая Петром на вершину власти, повела себя с достоинством, а не стало Петра, и все прекрасные качества сошли на нет – не в силах справиться с рулем, она теряет самостоятельность, быстро возвращается к той самой горничной.

Гений – это откровение, но это еще – излучение. Оно возбуждает скрытые дарования окружающих.

Интересна другая судьба, другая личность, тоже возбужденная петровской энергией, его устремлениями.

Произошло это в Туле на оружейном заводе. Петр познакомился с мастером кузнечных дел Никитой Демидовым. Самолично изготовив семь ружей, Никита преподнес их царю. Ружья Петру понравились, он подарил мастеру сто рублей, мало того, поговорив с Демидовым, отвел ему под Тулой несколько десятин для расширения дела.

То есть за щедрый дар царь кузнеца отдарил еще щедрее.

Никита Демидов на дареной земле устроил железный завод и начал поставлять пушечному приказу снаряды. Брал за них вдвое дешевле, чем другие поставщики. Невыгодно, казалось бы, никак не вяжется с расчетливостью заводчика. Однако происходит следующее: Петр, узнав о таких поставках, в награду „за услуги по снабжению войска оружием“ отрезает стрелецкие земли в собственность Демидова. Кроме того, дает ему исключительное право рубить лес на уголь и топку печей. Дальше больше: Петр посоветовал Демидову использовать тобольскую руду. Откуда Петр знал ее качество, неизвестно, но

она оказалась прекрасной. Демидову уступают право на разработку этой руды. Он продолжает свою политику – поставляет во время шведской войны армии орудия опять за половинную цену. Так и шло его производство. Половинные цены дают ему новые преимущества и новые прибыли. Он должен был получать доходы меньше других заводчиков, а богател больше. Не гнался за барышом, и Петр умел это ценить. Трудно сказать, чей тут умысел торжествовал: то ли Петр поощрял Демидова льготами в пример другим, то ли Демидов ловко использовал эти стремления царя. Умная политика одного вызывала умные ответы другого.

Никто, кроме Нартова, не видел, какие огрехи имело паникадило. Все шумно расхваливали новое изделие царя. Превозносили мастерство, изумительную тонкость работы, вспоминали, как хороша была выточенная им люстра, а до нее – черного дерева шандал. На самом деле подставка у шандала была несоразмерно высока, серебряную оправу приделали плохо. Нартов помалкивал, слишком радовали государя эти восхваления, надо бы его заставить доделать, довести, из него мог бы получиться знатный токарь – глаз есть, и пропорцию понимает, жаль, что не дают ему отличиться. Увидели бы эти ласкатели медали, сделанные Нартовым во Франции, с выточенными портретами Людовиков, уразумели бы, каково настоящее художество. Государь втайне чувствует свое несовершенство. Посетив дом, пожалованный Нартову, он сказал: „Я должен у моего токарного мастера срок свой кончить".

Французы диву давались, наблюдая, как Нартов медальные изображения умудряется на станке готовить лучше, чем гравер своим ручным инструментом. У себя в отечестве Нартов никогда не слышал таких похвал, как за рубежом.

Мастерство соблазняло Петра. Так же, как в Амстердаме, у Левенгука, он понял, какой это сладостно-мучительный путь – наращивать мастерство, двадцать лет обтачивать и шлифовать оптическое стекло, делая линзы. Сотни линз, тысячи малень-

ких линз для микроскопов. Левенгук отдался целиком своим микроскопам, ему можно было позавидовать.

Другая жизнь неслышно следовала рядом. Приманивала его то одним, то другим ликом. У Петра не воспитана была привычка к систематическому мышлению, не хватало ему досуга, чтобы размышлять над научными предметами. Его интеллект проявлялся на ходу, когда он схватывал глазом принцип действия машины, когда сталкивался с новым явлением. Любознательность его деспотична. Запреты, опасность остановить его не могут. Люди для него те же деревянные заготовки – попробуем из них выточить нечто. Так он насильно выдирает больные зубы, не считаясь с желанием пациента. Его убеждает практика, он экспериментатор. Пациент – научный объект. Больных зубов он надергал несколько десятков, пока научился. Пробует на больном приемы лечения водянки. А зачем?.. В Голландии в анатомическом театре сам пробует резать труп. Заставляет своих приближенных. Он копается в кишках, щупает, где там селезенка, где печень.

Вопросы – зачем? для чего? – лишены смысла. Наука возникла из любопытства. Любопытство свойственно всему живому – зайцам и сорокам, лягушкам и тиграм. Повсюду расставлены загадки, природа поощряет любопытство.

Профессия ученых – любознательность. Настоящим ученым движет не слава и не забота о пользе человечества. Ему просто любопытно, как ЭТО устроено, и что ТАМ, и что ЕСЛИ...

На Петропавловском соборе устанавливают куранты, Петр лезет на верхотуру смотреть, как они там работают. Ему интересно, как ткут парусину для парусов, как варят смолу, как делают гравюры. Всюду он вмешивается, никому от него нет покоя. Он уверен, что только он, куда бы ни сунулся, сумеет поправить, улучшить, подсказать. Наставляет сенатора Мусина-Пушкина, как издать книжку сигналов для флота. Сделать ее маленькой, удобной, чтобы носить в кармане. Для верности прилагает чертеж, иначе напутают. Показывает, каким шрифтом печатать, заодно помогает разрабатывать новый ясный

типографский шрифт. Заодно учреждает первую газету „Ведомости", заодно уж улучшим и азбуку... Велит наладить изготовление синего голландского кафеля для печей. Не может удержаться, присматривает, указывает, чтобы сценки на кафеле были не из голландской, а из русской жизни. Собрал барабанщиков, показал им, как бить походную дробь...

У него было оправдание – без поджогу дрова не горят. Было и другое – страна нуждалась в мастерах своего дела, прежде всего в ремесленниках. Ремесло – кормилец, ремесло – вотчина, ремеслу – почет. По приезде в Киев он первым делом отправился на Подол к ремесленникам – там провел несколько дней, посещая кузнецов, часовщиков, механиков, сапожников, стекольщиков, бумажников...

Что, к примеру, означал новый шрифт? Серьезную реформу. Прежняя кириллица была неудобна, сложна, как готический шрифт в немецком языке. Петр убрал надстрочные знаки, выбрал гражданский шрифт простой, понятный. Какое-то особое чутье помогало ему находить решения. Сам правил образцы букв, получилось красиво и настолько удачно, что мы до сих пор пользуемся той основой.

Так каждый раз он сталкивал огромное заржавелое тело России с вековечной орбиты.

Помогало Петру наличие образованных русских людей, отстоялся уже заметный слой тех, кого не отпугивала, а притягивала западная культура. Многие знатные дворяне имели неплохие библиотеки. У Дмитрия Голицына книжное собрание насчитывало около 3000 томов. Известны библиотеки Я. Брюса, Б. Шереметева, А. Матвеева. Богатейшая по тем временам библиотека была у А. Меншикова. У самого Петра библиотека копилась со времен отца, он пополнял ее прежде всего книгами по морскому делу, кораблестроению.

Все ладилось в его руках, поощряло его уверенность. Поэтому он с такой самонадеянностью учит, какой ширины холсты ткать, как мельницы ставить, какие гвозди употреблять для сапог. Мелкая эта опека отнимает у него самого драгоценное время.

Меншиков определил по-своему: „Петр вдаваться во всякии горазд“. Многие осуждали – суетится не царскими делами. А ему иначе было нельзя, знал – одному ему и надо, чуть отпустишь, будут сидеть сиднем, начнут – не кончат, остановятся, напутают. Не стеснялся ни учиться, ни перенимать, а значит, признавать свою страну отсталой.

Глава десятая



РИЖСКИЙ ГАК

Первое же столкновение Петра с зарубежными порядками его озадачило. В Амстердаме на улице на него налетел мальчишка. Петр схватил его и как следует поддал. Мальчонка вырвался, отбежал и запустил в Петра огрызком недоеденного яблока. Царь остолбенел от подобной наглости, но интересно, что он сказал мальчику:

– Извини, я забыл, что я не в России.

В другой раз, в Риге, после того как она была завоевана, Петр наградил местными землями за успешные военные действия генерал-фельдмаршала Шереметева и князя Меншикова. Из дареной земли один гак принадлежал рижскому гражданину. Гак – такая мера земли была в балтийском крае, примерно равная одному гектару. Так что кусок существенный. Рижанин понятия не имел, в чем он провинился перед государем, и отправился в царскую канцелярию выяснять, за что у него отобрали землю. Поначалу его и слушать не хотели – есть решение его величества, какие могут быть разговоры. На рижанина слова эти не подействовали: гак его родовой, сотни лет семья владеет, никто не имеет права отнимать. Стали выяснять, оказывается, пожаловал землю Петр князю Меншикову, а с князем, как известно, тягаться никому неохота. Посоветовали гражданину отступиться, но он не согласился и стал хлопотать приема у царя. Каким-то образом добился. Представ перед своим новым царем, обратился к нему по-немецки. Держался свободно, на колени не опускался, к руке не припадал, держался с достоинством и даже обиженно. Ничем он, вроде, не прогневал государя, законов не нарушал – пусть ему объяснят, по каким законам его лишили земли и отдали князю Меншикову и почему,

по каким правилам, канцелярия жалобы на князя не принимает?

Петр с интересом спросил его, что же он хотел бы предпринять, уж не в суд ли подавать?

Рижанин несколько смутился, впрочем, на Меньшикова он готов бы подать в суд, пусть разберут, но сложность в том, что дело может выйти на самого государя. Разрешит ли государь, чтобы его действия разбирали в здешней ратуше?

На это Петр нисколько не рассердился – а что, пускай разбирают. На всякий случай удивленный рижанин спросил: согласен ли государь, чтобы ответствовать по здешним законам, и дозволяет принести в случае чего на него жалобу?

Разумеется, Петр мог бы приказать вернуть этот злосчастный гак рижанину, но ему любопытно было испытать и Меншикова, и местные порядки, по которым, выходит, можно осмелиться судиться с царем, к тому же победителем. Выдержат ли местные власти сию неслыханную процедуру?

В ратушу пошла челобитная от рижанина на князя Меншикова как насильно завладевшего наследственной землей. Судья, рассмотрев обстоятельства, дела не принял. Пояснил, что земля вместе с гаком рижанина была пожалована князю царем, следовательно, заявление относится к царю. Высочайшее же лицо суд судить не может.

Гражданин разъяснил, что челобитную он согласовал с царем и тот разрешил ее подать, невзирая на свое собственное участие в этом деле.

После долгих обсуждений с юристами суд установил, что, поскольку в царском указе не объявлено ни вины гражданина, ни имени его, челобитную следует принять.

Послали к Меншикову, предложив, согласно местным законам, явиться в ратушу. Меншиков ответил, что он знать ничего не знает, вся земля ему пожалована монархом, он, Меншиков, за монарха не отвечает, не ему обсуждать действия государя.

Отправился член совета ратуши к царю. Так, мол, и так, Меншиков ссылается на вас.

– Правильно ссылается, – говорит Петр.

– Тогда нужно будет Вашему Величеству самому пожаловать в ратушу, в присутственную палату на разбор дела.

Петр согласился. В назначенный день явился в ратушу. Там скопилось много народу, все любопытствовали, как царь поведет себя.

Прочли ему дело, спросили, все ли правильно, имеет ли он что добавить? Не имеет. Далее ему пояснили, что при разборе дела положено ему выйти в соседнее помещение. Государь вышел и ждал, пока советники закончат рассмотрение.

Затем его позвали в палату, ознакомили с решением, оно было в пользу просителя.

Когда Петр выслушал, то расчувствовался, поцеловал каждого советника в голову. Сказал, что повинуется закону, если государь повинуется, то не дерзнет никто противиться закону.

Благостная эта история, изрядно подслащенная летописцами, на самом деле протекала со слезами, бранью. Меншиков, матерясь, вытолкал рижанина взашей, да еще пригрозил ему палками, если посмеет сутяжничать. Расчет у Меншикова простой – государь давно затаил обиду на Ригу, с тех пор, как впервые приехал сюда с Великим посольством, а приняли его дурно. Запретили осмотреть местную крепость, предупредили, что стрелять будут. С Меншиковым тоже обошлись тогда бесчестно. Но ныне государь, узнав о выходке князя, повел себя неожиданно. Не впервые Меншиков попадал впросак, пытаясь угадать поведение Петра. Впрочем, Меншикова за драчливость он не попрекнул, даже посмеялся. В городе же о происшествии стало известно, законопослушность царя приводили в пример, сравнивали с грубостью Меншикова, более же всего со шведами, с Карлом XII, и не в пользу последнего. Гак был возвращен владельцу, бумаги незамедлительно оформили, Меншиков, пользуясь случаем, выпросил у государя целую мызу в возмещение потери.

Глава одиннадцатая



ДВА САМОДЕРЖЦА

Молочков устроил целое представление, рассказывая про Карла XII и Петра, изображая то одного, то другого. Оба высокие, красивые, сильные. Карл узколицый, волосы прямые, сплетенные сзади косичкой. Черты его малоподвижны, он молчалив, решителен, одет небрежно, можно сказать неряшливо, рубаха грязная, суконный мундир заношен, кожаные штаны потерты до белизны, шея завязана черным шелковым платком, он вполне сошел бы за современного хиппи, если б не шпага, она у него не просто болтается, она его принадлежность, такая же, как крест у священника. Это был облик полководца на войне. Он всегда пребывал на войне, был ли он во дворце, на дипломатических переговорах, все равно, это была всего лишь отлучка с фронта.

Петр был в сравнении с Карлом круглолиц, голенаст, веселее, общительней... Впрочем, у них было много общего – стремительность, выносливость, оба не обращали внимания на свои манеры, на одежду.

Можно было подумать, что Молочков знал обоих и оба ему нравились. Конечно, в Петра он был влюблен, но и Карл его привлекал, Карл был достойный противник, он многому научил Петра, хотя был моложе его на десять лет. Карл уже восемнадцатилетним юношей нанес поражение русской армии, разгромив Петра под Нарвой. С тех пор началось их единоборство, вплоть до Полтавского сражения, да и позже Карл XII пребывал главным противником Петра. Двадцать лет подряд Петру приходилось разгадывать замыслы шведского короля. За долгие годы они оба хорошо изучили характеры друг друга. И для Петра, и для Карла характерны были энергия, военная хитрость, нетерпение. Подобно Петру, мальчиком, будучи

принцем, Карл неустанно занят военными играми, парадами, маневрами. Образование, и неплохое, лишь убеждает его, что он – воин. Война его талант, его призвание, его способ править. Хорошо сказал о нем один француз: „Он вошел в полевой шатер, как монах в келью". Аскет войны, он как бы дал обет Марсу. Молодость с ее страстями, романами не может догнать этого кавалериста в ярко-синем мундире с золотыми пуговицами. Он не пьет ничего кроме ключевой воды, не меняет одежды. Зачастую седло служит ему подушкой. Если ему нужны деньги, то не для удовольствий – только платить солдатам, кормить их, обеспечить войну пушками и порохом. Не ищите в нем слабости, честолюбия. Плевать он хотел на лавровые венки, триумфальные арки, ордена. Ему надо воевать. „Аттила, заблудившийся в восемнадцатом веке", по выражению Сен-Винтера. Подобно предводителю гуннов Аттиле, Карл громит, захватывает города Европы, не имея планов завоевания. Он тут же раздает захваченные земли. Стрелять, убивать, сражаться – вот его цель. Игра в солдатики, только живые, чтобы пули свистели настоящие, чтобы самому быть в гуще сражения, вдыхать пороховой дым. Азарт войны заменял ему прочие радости. Он меняет мундир, штаны, лишь когда они износятся до дыр. Что-либо завоевать для своей страны – об этом он не помышляет.

Нарвская победа внушила Карлу высокомерное отношение к русской армии, к Петру, который вместе с Меншиковым покинули войска накануне сражения. Феерическая слава непобедимого полководца уже окружала образ юного шведского короля.

Для Петра поражение под Нарвой было хоть и чувствительно, но духом он не упал. А двор пришел в уныние. Семь тысяч солдат погибло, восемьдесят офицеров и генералов в плену. Понадобилась вся энергия царя, чтобы преодолеть страх приближенных перед шведским монархом и его сокрушительной армией. „Ошибка римлян была в том, – повторял Петр, – что непобежденных они считали непобедимыми".

Чтобы оценить его труд преодоления страха, Молочков напомнил нам обстановку перед нашей Великой Отечественной войной. Гитлер разгромил Францию, захватил Австрию, Че-

хословакию, Польшу. Страх обуял Сталина, только этим можно объяснить его малодушие, нерешительность, пугливость, с какой он отвергал все предупреждения.

Нарвская конфузия, наоборот, воодушевила Петра строить регулярную армию, флот. Вооруженные силы перешли на полное содержание государства. Появились дивизии, артиллерию сделали полевой, осадной, крепостной. Петр ввел гаубицы, мортиры, пушки:

... так тяжкий млат,
Дробя стекло, кует булат...

– Пусть шведы бьют русских, они выучат нас бить их, – повторял Петр.

От короля-отца Карлу досталась боевая армия, прошедшая сражения Тридцатилетней войны, войны в Прибалтике, профессиональный офицерский корпус. Свою кавалерию Карл XII сумел сделать грозной силой, она владела искусством маневра, его войска выигрывали стрельбой на дальние расстояния.

Шведская армия считалась, может, самой могущественной в Европе.

У Петра не было ни флота, ни сносного вооружения, были наемные генералы-иностранцы, устарелые пушки и, самое главное, – еще не было обстрелянной настоящей армии. Несмотря ни на что, он бросает вызов Карлу. Безрассудство, самонадеянность, неопытность... Все так, но идея вернуть России выход к морю овладела им и отбрасывала любые предостережения. Спустя столетия его решение привлекает мужеством. На самом деле это было больше, чем мужество. Необходимость Петербурга становилась для него все более непреложной по ходу двадцатилетней войны.

Позже Петр утверждал, что, если бы победили под Нарвой русские, будучи такими неопытными вояками, то это счастье могло бы привести к катастрофе, так что нарвскую конфузию он оценивал как милость Божию. Но это говорилось позже, по зрелом размышлении, а вот то, что тогда поражение не обескуражило его, стало решающим достоинством.

По-иному переживал свое поражение под Полтавой Карл, его расстроило то, что он потерял армию и надо прекратить войну. Петр ведет войну, чтобы выйти к морю. Война – инструмент, топор, окно прорублено, открылось море, и инструмент отброшен. Карл был кочевник, он кочевал от войны к войне, ловко ведя дипломатические маневры. Он и погиб как воин, от пули. Он истощил Швецию, однако солдаты любили своего отважного, хладнокровного короля, любила армия, да и Петр, как ни странно, любил своего врага.

Вообще отношение Петра к шведам необычно, оно заслуживает внимания.

Когда положение шведской армии на Украине стало тяжелым, Карл послал к Петру офицера с провожатым просить помочь лекарствами, которые кончились у шведов. Петр согласился, не раздумывая, велел отпустить лекарств больше, чем просили. Генералы отговаривали его – зачем усиливать противника?

– Я воюю с армией шведской, а не с больными людьми.

Карл просил о перемирии на зимнее время. В этом Петр решительно ему отказал.

На Пушкина, занятого историей Петра, произвел впечатление один поступок царя. Впоследствии он не раз вспоминал, приводил этот поступок в пример.

Окончилась Полтавская битва, шведы разгромлены, король бежал, тысячи трупов шведских и наших солдат вперемешку раскиданы на поле боя. Первым делом Петр посетил раненых, потом приказал построить войска, поставить перед полками походную церковь. В ней совершил молебен. Прогремели залпы ружей и пушек. Усталый государь объехал на коне полки, благодарил солдат, махал им своей простреленной шляпой, поздравлял с победой.

В царском шатре был накрыт обед, столы были и для солдат.

Петр сел, осмотрелся и вдруг сказал: привести и посадить среди своих генералов пленных шведских военачальников. Привели фельдмаршала Реншельда, принца Максимилиана

Эмануэля, генералов Шлипенбаха, Хамильтона, еще нескольких, позже доставили туда первого шведского министра графа Пипера и двух королевских секретарей. Появление шведов вызвало у русских замешательство. Петр, возбужденный, сияющий, тут же приказал вернуть фельдмаршалу шпагу, указал ему место недалеко от себя. Влажная от крови земля была застлана коврами. Государь сам разливал водку. Зазвучали тосты, за царя, за его семью.

– Вчера брат мой, король Карл, обещал вам обед в моем шатре, не так ли? – высоким голосом возгласил государь. – Хотя он не сдержал своего королевского слова, извините уж, мы помешали ему, зато мы выполним это за него: я приглашаю вас откушать со мною.

Русские генералы были еще возбуждены недавним боем. Сидеть со шведами за одним столом было странно.

Посреди пира Петр поднялся с кубком.

– Пью за здоровье учителей наших в ратном деле!

– Кто же эти учителя? – спросил пленный фельдмаршал Реншельд.

– Вы, господа, шведы, – твердо ответил Петр.

– Хорошо же ученики отблагодарили своих учителей, – со злостью промолвил фельдмаршал и выпил свой бокал под общий смех.

За столом Петр спросил фельдмаршала, почему генералы не отсоветовали Карлу вступать в битву, когда численное преимущество было у русских? Реншельд, который командовал шведами, ответил: „Мы привыкли слушать и исполнять повеления короля, а не советовать ему".

И это была правда. В сенате Карл все дела решал сам и не терпел возражений. Он верил в свою звезду, не думал о смерти, не страшился никакой опасности. Его идеалом был Александр Македонский, с той разницей, что Карл мечтал не завоевать мир, а прославиться на весь мир. История Карла XII, как заметил Вольтер, занимательна, в то время как история Петра поучительна. Вольтер написал книгу о Карле и книгу о Петре, обоих правителей он считал самыми примечательны-

ми в XVIII веке. Карл был великий воин, Петр же великий государь.

– Хочу заметить, что те войны шли без ненависти, – говорил Молочков. – В сравнении с нашими их вели по-джентльменски, между офицерами соблюдались правила. Словно бы шла дуэль. Петр называл Карла „брат мой“ с полным уважением.

Столь уважительное отношение к противнику стало возможно потому, что в течение всей войны, а длилась она двадцать с лишним лет, не разжигали ненависть к шведскому народу. Шведского солдата не изображали злодейской фигурой, врагом, которого надо уничтожить. Конечно, жестокости совершались и над пленными, добивали раненых, мародерничали, но была особенность – в обеих армиях служили наемные иностранные офицеры. Они часто знали друг друга, общались в перерывах между сражениями, это создавало как бы военную этику, правила войны.

Рыцарское поведение Петра не было вспышкой, минутным порывом.

Гангутскую победу, первую большую победу русского флота, своего детища, Петр праздновал пышно и красиво. В Неву вошли русские галеры, за ними шведские со спущенными флагами и затем галеры с контр-адмиралом.

Флотилия остановилась перед Сенатом, произвела салют из всех орудий. Из крепости и Адмиралтейства грянул ответный залп. Торжественным маршем победители прошли сквозь Триумфальные ворота. Везли трофейные пушки, вели двести пленных офицеров, вели матросов, несли десятки захваченных шведских флагов. Над воротами распростер крылья русский золотой орел, под ним синий слон – захваченный фрегат назывался „Элефант“, и надпись по-латыни гласила: „Орел мух не ловит“ – любимая пословица Петра.

Колонна последовала в крепость. Князь-кесарь Ромодановский принял от командиров реляцию и в награду за верную службу произвел контр-адмирала Петра в вице-адмиралы. Не канцелярское постановление Сената он получил, а ему пожаловали звание у всех на глазах, ясно, за что.

Убедительно, наглядно, беспристрастно.

Поднят был синий вице-адмиральский флаг.

Во дворце Меншикова состоялся прием. И опять Петр пригласил к своему столу шведов: контр-адмирала Эреншильда и несколько шведских офицеров. Повторилась сцена, памятная всем после Полтавы. Во время обеда он потчевал адмирала и с него начал свою речь.

– Господа, перед вами храбрый, преданный слуга своего государя, достойный его высочайших наград. Пока он со мной, всегда будет иметь мое расположение, хотя, увы, лишил меня многих моих храбрецов. Я прощаю вас, – обратился он к шведу, – вы всегда можете полагаться на мою добрую волю.

Эреншильд встал, поднял бокал:

– Как бы честно я ни воевал, я всегда лишь исполнял свой долг. Сегодня я искал смерти, но не нашел. В моем несчастье меня утешает лишь то, что я стал пленником Вашего Величества, что вы, великий морской командир, благосклонны ко мне и так меня отличаете. Я видел, что русские дрались доблестно, теперь я убедился, что это царь обучил их так хорошо. Войска, особенно пехота, сражались умело, думаю, что в мире нет армии, которая могла бы одолеть их!

Петр задал для русского общества тон милосердного отношения к побежденным. Пленные шведские офицеры, те, что находились в Петербурге, пользовались свободой, их приглашали на балы, они учили русских дам и кавалеров танцевать. Во время танцев хозяину полагалось подносить избранной им даме цветы, она становилась царицей бала, вручала букет другому кавалеру. Поклоны, реверансы придавали новый оттенок праздникам.

Императрица Анна Иоанновна последовала примеру Петра. В 1735 году Петербург праздновал взятие Данцига. Государыня принимала гостей в Летнем саду. Вечером перед началом бала к ней подвели двенадцать французских офицеров, взятых в плен под Данцигом. Государыня сказала их начальнику графу де ла Мотту, что она не случайно выбрала время для аудиенции. Когда недавно несколько русских моряков попали в

плен, обращались с ними дурно, но она мстить не собирается, достаточно, что они попали в плен, она надеется, что эту неприятность здешние дамы устранят. С этими словами двенадцать фрейлин вернули им шпаги и пригласили на танец.

В первые часы после Полтавской битвы Петру доложили, что в поле найдена разбитая королевская качалка. Известно было, что в ней носили раненого Карла во время сражения. Петр велел искать короля среди убитых. Он не скрывал своего сожаления о смерти шведского монарха. Позже, когда узнал, что Карл бежал, он отправил за ним погоню и строго письменно предупредил: ежели, Бог даст, пойман будет король шведский, с ним поступить учтиво и иметь его за честным арестом.

Получив в 1718 году известие о смерти короля Карла на фронте, Петр не удержался, отвернулся, стал вытирать слезы, промолвил: „Брат Карл, как мне тебя жаль!“ Петр, а за ним и придворные надели „черные платья“ в знак траура и послали соболезнование младшей сестре Карла.

Между тем, шел восемнадцатый год Северной войны, она измотала и шведов и русских. Обе стороны могли ожесточиться, могли воспылать взаимной ненавистью. Этого не происходило. Почему? Молочков понятия не имел. Он признался, что самое трудное для историка погрузиться в психологию той эпохи, понять мотивы поступков людей, допустим, петровского времени.

Пушкин в „Полтаве“ поминает короля Карла уважительно:

Три углубленные в земле
И мхом поросшие ступени
Гласят о шведском короле.
С них отражал герой безумный,
Один в толпе домашних слуг,
Турецкой рати приступ шумный...

Пример отношения Петра к побежденным шведам всегда волновал Пушкина. Он писал про Петра:

И прощенье торжествует
Как победу над врагом.

Для Пушкина мерой величия любого царя, императора, князя является милосердие, „милость к падшим". Он ведь Николая I без устали призывал простить декабристов и приводил в пример Петра.

Семейным сходством будь же горд,
Во всем будь пращуру подобен:
Как он, неутомим и тверд
И памятью, как он, незлобен.

Власть, если не согрета милосердием, если в ней нет сострадания, – несет зло. Это было твердое убеждение Пушкина.

– Ох ты господи! – вдруг закричал Антон Осипович. – А закон? Нет уж, извините, власть должна опираться на закон, только на закон. Чувства не играют роли. Закон надо исполнять!

– Милосердие выше закона! Позвольте вам сослаться опять же на Пушкина... – сказал Молочков.

– При чем Пушкин! Кто такой Пушкин? Власть не обязана читать Пушкина.

– Ну знаете...

– Не поэты должны править, а юристы. Наша беда, что вместо законов читают Пушкина. Чуть что – Пушкин, Достоевский. Придумали и с гордостью твердят: „Поэт в России больше, чем поэт". Так их перетак, от того-то в России постоянный бардак, каждый лезет в чужое дело вместо того, чтобы свое делать.

– Антон Осипович прав, – согласился Дремов. – Чисто русская привычка. Сталин учил академиков языкознанию, Хрущев – кукурузе. Петр вот учит – как стрелять, а поэт, не помню кто, считает, что его дело: „истину царям с улыбкой говорить". Так и живем: истина, милосердие, прощение, а компьютера своего не можем сколотить.

Через некоторое время, когда все поуспокоились, Молочков тихо, с некоторой укоризной, подступился к Антону Осипо-

вичу насчет его замечания о Петре, о законах. А если законов еще не было?

Чтобы понять, чего достиг Петр, надо знать, что было до него, например, какую армию он получил, чем была военная служба.

Артиллерия допетровская умела главным образом производить праздничные салюты.

Пехотинец имел плохие ружья, владеть ими не умел, оборонялся копьем или бердышем, да и то тупым.

В кавалерии были клячи, сабли плохие.

„Иной дворянин и зарядить пищаль не умеет", – писал Иван Посошков и живописал, как этот дворянин, воюя, думает не о том, как неприятеля поразить, а о том, как бы домой скорее вернуться. И еще о том, чтобы, если придется, – „рану нажить легкую, чтобы не гораздо от нее поболеть, а от государя пожаловану за нее быть, и на службе того и смотрит, чтоб где во время боя за кустом притулиться". Целыми ротами прятались в лесу. Он от многих дворян слыхал: „Дай Бог великому Государю служить и сабли из ножен не вынимать".

Предстояло превратить их в воинов. А как? Обратите внимание, какие Петр выбрал два способа. Первый – с малых лет обучать дворянина грамоте, цифири и геометрии. А затем отрок должен идти служить. Как заставить его учиться? Решил – без справки о выучке дворянину не разрешать жениться. Второй способ – при прохождении службы родовитость во внимание не принимать.

Оказалось, это не так просто.

Тогда Петр добавил возможность вступать в соревнование отрокам худородным.

Примечательно, что, когда Петр стал создавать культ Александра Невского, он велел изображать его как святого, однако воином, причем в рыцарских доспехах, которых русские не носили.

Петр первым понял значение Полтавской победы. Перед Европой явилась Россия державой, оснащенной и флотом, и армией, Россия – участница европейских дел, страна, с которой следует считаться.

Описывая победу под Полтавой, Молочков назвал ее как величайшую в истории если не человечества, то России наверняка.

– Позвольте, это куда ж вы Бородино, побоку? – осведомился профессор Елизар Дмитриевич.

– Сталинград, между прочим, тоже не хухры-мухры, – заявил Гераскин.

Молочков было смутился, но быстро вспомнил Вольтера, тот считал Полтавскую битву единственной в мировой истории, которая не разрушала, а созидала, приобщив к европейской жизни значительную часть земного шара.

С Вольтером тоже не согласились и дружно отстояли величие всех трех побед русского оружия – каждая остановила мировых захватчиков.

– Никто кроме России не сумел! – категорично объявил Антон Осипович.

Молочков поморщился, но тут же спохватился, сказал примиряюще, обращаясь к Антону Осиповичу:

– Есть одно отличие Полтавской победы. На празднике, что устроил Петр, символом стала оливковая ветвь. Герольды ехали по улицам с белыми знаменами, на них увитая зелеными лаврами оливковая ветвь. Вечером последовали, как всегда, огненное представление и фейерверк. Был изображен храм Януса, тот что в Риме на Форуме, считалось, что бог Янус решает вопросы войны и мира. Во время войны ворота, по древнеримскому обычаю, открывались, войска шли сквозь эти ворота в поход. Наступал мир – ворота закрывались. Два воина в петербургском небе закрыли ворота и подали друг другу руки. Не было воинского парада, торжествующего, с попиранием шведских знамен. Петр праздновал не столько Победу, сколько Мир.

Учитель вновь упрямо повторил слова Пушкина:

И прощенье торжествует
Как победу над врагом.

Проблема прощения давно интересовала всех. Говорили о том, как трудно прощать. Легче подать милостыню, накормить, приютить, это в России принято. Простить же того, кто искалечил, убил твоих товарищей? Простить его в своем сердце, и что взамен? Он же тебя благодарить не будет, он, может, и не нуждается в твоем прощении. Допустим, тебя обидели, унизили – почему ж за это прощать?

– Зато я освобождаюсь от ненависти, – сказал Дремов.

– Но ведь хочется дать сдачи, – сказал профессор. – Я лично не могу простить тем жуликам, что распродают наши леса. Не успокоюсь, пока их не призову к ответу.

– Погодите, а у Бога, – начал Молочков, – у Бога мы просим прощения?..

– Так то Бог, Его пути не наши пути, – прервал профессор. – И потом, никто Его не обижал.

– Петр прощал потому, что был победитель, – сказал Гераскин, – если бы Петру морду набили, он бы их изничтожил. Да так и было, простил, когда на лопатки шведов уложил.

– Это непросто, – сказал Молочков. – Мы вот немцам простить не можем.

– Точно, – сказал Гераскин. – Мой отец возмутился, когда немецкое кладбище военное захотели немцы восстановить. Не допущу, кричал, чтобы на нашей земле им почет отдавать. Буянил, а, между прочим, посылочки гуманитарной помощи из этой проклятой Германии получал. Я ему напомнил, он говорит: они посылают, чтобы избавиться от чувства вины, а я, говорит, инвалид войны...

– Значит, и афганцы нам прощать не должны, – сказал Дремов. – И чеченцы, и прибалты. Так и будем жить в ненависти. Прощать не значит забыть. У меня на сей счет правило, не мной придумано, зато я всегда ношу с собой: не делай другому то, чего себе не пожелаешь, хочешь, чтобы тебе прощали, прощай сам, хочешь, чтобы тебя любили, люби сам.

– Прощать придется больше снизу вверх, – задумчиво отозвался Антон Осипович. – Сверху больше обид идет.

Все почему-то посмотрели на профессора.

– Умом я понимаю, – сказал он. – И то, что уметь прощать, – закон нормального общества. Нас то и дело обижают, унижают. Подчас без умысла, без злобы. Знаю, что не надо отвечать тем же, терпимость – высшая форма прощения. Нет, не хватает доброты. Мстить хочу, сдачи давать! Хочу возмездия за все мерзости. За то, что мне причинили, за то, что с народом сделали. Для меня если нет возмездия – нет справедливости. Я читал Толстого о непротивлении злу насилием. Красиво, ничего не скажешь. Может, глубоко верующий способен это исполнить. Я не в силах. А кто в силах? Ни разу не встречал.

– А я встречал, – сказал Антон Осипович, – мне по службе приходилось. Был случай с президентом Академии Вавиловым, Сергеем Ивановичем. Я его не застал, но рассказывали мне. Не любил его один видный академик. И не скрывал этого, настолько не любил, что голосовал против его избрания в президенты. Тогда это сулило неприятности. Потом у академика произошло столкновение с Берией. Отстранили его от всех должностей, остался у него лишь оклад академика 500 рублей. Он устроил себе на даче, в сарае, лабораторию и там продолжал работы. По ходу опытов потребовалось оборудование. Узнал об этом Вавилов и распорядился снабжать академика как академические институты. Ему пробовали возражать – нельзя, мол, частное лицо... Вавилов рассердился, пригрозил, что тех, кто не выполнит, – выгонит с работы. Кому-то из друзей сказал: „Лучший способ отплатить противнику – сделать ему добро". – Антон Осипович помолчал, потом добавил: – Дело прошлое, можно не скрывать, тот академик был Капица.

– Это же замечательно! – воскликнул Дремов.

Его по-мальчишески круглое лицо загорелось румянцем. Длинные каштановые волосы он завязывал сзади косичкой, как неодобрительно сказал Антон Осипович: „Не хватает бантика".

Дремов был хорош, – если бы не мешки под глазами, его можно было считать красавцем. Приятно было видеть, как он загорался, становился в позу и глубоким сильным голосом начинал не говорить, а как бы вещать.

– Замечательно! Это формула! Она сходится с великой формулой Пушкина: „И прощенье торжествует как победу над врагом!“ Вот истинный гуманизм! Нет, вы только вдумайтесь в пушкинские слова, их надо повторять и повторять. Всем людям. А Толстой! У него Пьер Безухов спасает французского офицера от пули. В Москве, во время пожара.

– Что ж это за война такая, – сказал Гераскин.

– Потому что и на войне можно оставаться человеком. Победа – опасная штука, она может породить чувство превосходства...

– А с Карлом произошло следующее, – сказал Молочков. – Однажды докладывают ему о странном происшествии: один из русских пленных, человек преклонного возраста, заколол своего часового и сдался без сопротивления дежурному офицеру. Донесение королю приводило столь удивительную причину действий этого русского, что король велел доставить его к себе. Привели человека седого, но рослого, могучего сложения, закованного в цепи. Купчик по званию, он когда-то, до войны, бывал по торговым делам в Швеции и знал неплохо шведский. Король из первых уст услыхал, как все было. Караульные солдаты поносили русского царя всякими обидными словами. Пленник просил прекратить, они со смехом продолжали, еще пуще издеваясь над заключенным. Купец подзывает унтер-офицера, просит унять часовых и наказать их за оскорбление особы государя. Унтер-офицер смеется над такой жалобой. Тогда купец, вырвав ружье у часового, штыком заколол его и отдал себя в руки правосудия. На следствии он спокойно заявил, что как верноподданный вступился за честь своего государя и готов без страха принять смерть. Подобное происшествие показалось дознавателям достойным внимания короля. Выслушав рассказ купца, Карл сказал: „В столь грубом народе столь великий человек!“ Приказал отослать купца к Петру в Россию, поздравив царя с таким подданным. Правда, в то время уже шли тайные переговоры с Россией, так что использовать момент было выгодно, но для Карла рыцарские правила имели значение.

Когда Карла хотели выслать из Турции к нему на родину, он укрепил свой дом в Бендерах и стал держать оборону. Он застрелил арабских скакунов, подаренных ему султаном, велел отдать их мясо своему гарнизону. Триста шведов, все его войско, баррикадировали окна, построили укрепления. Карл осмотрел работу и уселся играть в шахматы. Ничто не могло его взволновать. Турки получили приказ султана перебить всех шведов. Капелланы на коленях умоляли Карла не сопротивляться, спасти остатки войска и его священную особу. Король рассердился – он взял их в поход, чтобы они молились, а не подавали советы.

Карл уверял всех, что триста человек под его командой выдержат приступ целой армии. Вскоре армия турок окружила шведов, солдаты сдались в плен. С королем остались несколько офицеров и сорок гвардейцев, начался штурм дома, стрельба. Карла, конечно, ранили, отстрелили ему нос. Шведы уже перебили двести турок, когда дом подожгли, Карл и его свита выскочили с пистолетами и шпагами, готовые биться до последнего, в это время Карл зацепился шпагой, упал, турки навалились на него, схватили за ноги, за руки и понесли к паше...

Рана за раной, бой за боем не могли остановить короля. Он продолжал воевать, теперь уже с пруссаками. Крепости, форты, острова, – и так месяц за месяцем, случай всякий раз спасал его в последнюю минуту. Рядом убивало адъютантов, генералов. Он был словно заговоренный. Погибших насчитывались уже десятки. Шведские дела его мало заботили. Королевство существовало, чтобы поставлять ему солдат и оружие. Он был свободнее Петра. Шведские поселки и хутора опустели. Всех молодых с пятнадцати лет угоняли в армию. Хозяйства были обобраны, конфисковано все железо. Он воевал с датчанами, англичанами, пруссаками, русскими. Постепенно все соединились против Швеции, на самом же деле против Карла. Сам же король вдруг отправился завоевывать Норвегию. Несмотря на сильные морозы, он спал на воздухе, прикрытый плащом, подавая пример солдатам.

Его убило наповал в траншее, в декабре 1718 года, и военный инженер, который был рядом с ним, сказал холодно: „Пьеса окончена, пошли ужинать“.

Карлу было 36 лет. Половину жизни он провел воюя, сам устраивал войны, если их не было. Более всего его занимала война с Россией. Даже не столько со страной, сколько с ее царем. Человек не рождается для войны, но Карл – одно из исключений; война была его культом. Он знал, что такое раны, он был весь в шрамах, но верил в свою неуязвимость. Он никогда не жил в роскоши, не носил пышных одежд, не интересовался искусствами. В сущности, это был необразованный солдафон. Его любили – за что? В нем была идея служения. Не народу, не стране – войне. В этом чудилась какая-то высокая цель, предназначение. Никогда, ни до ни после, шведская армия не внушала такого страха в Европе, как при Карле. Он изнурил свою страну, разорил ее, а ему поставили памятник в столице, в центре. Куда-то он скачет на зеленом от патины коне, простертая рука по-прежнему призывает солдат, хотя Швеция давно отказалась от воинских вожделений. Но, между прочим, он же довел Швецию до отвращения к войне. После него воинственность пошла на убыль.

И Карл и Петр, оба проявили непонятное упорство касательно Петербурга. И тот и другой ни за что не хотели отступить. Карл не хотел оставить Петербург в русских руках, за этот клочок земли ему предлагали любую денежную компенсацию, он не соглашался. Пока Петербург остается за Россией, на мирные переговоры он не шел.

А что тогда был Петербург – поселок на болоте, земляная крепость, малая верфь. И чего Петру было так держаться за устье Невы? Сподвижники не понимали непреклонности царя.

Если бы Петр стремился к завоеваниям, он многому бы мог поучиться у Карла. У Карла всегда оставалась в запасе новая война и личное мужество, чтобы ее начать. Он не обращал внимания ни на безденежье, ни на потери. Когда один из солдат сунул ему под нос заплесневелый кусок хлеба – вот чем нас кормят, Карл взял, съел, сказал: да, нехорош, но есть можно.

Карл любил опасность, Петр избегал ее. Но и Петр, и его генералы в Полтавском бою не считались с опасностью. Под Меншиковым убило трех лошадей. Петру прострелили шляпу. Молочков уверял нас, что Петра охраняли высшие силы. Петр был ниспослан России, чтобы вывести ее на мировой простор.

Молочкову нравилось сравнивать трех венценосцев – Петра, короля Августа Сильного и короля Карла. Все трое храбрецы, все претерпели немало злоключений. Корона то и дело сваливалась с головы Августа, он метался между Карлом и Петром, клялся в дружбе, изменял то одному, то другому, лобызался с тем, на чьей стороне была победа, признавался в любви тому, кто бы мог удержать ему корону. Всякий раз являлся с повинной к победителю. Смущался он недолго. Собственная честь его не обременяла, легко прощал себе зло, которое причинял, поэтому не считал себя злопамятным и того же требовал от других.

Рыцарство в Швеции имело вековые традиции. Но откуда вдруг у Петра столь рыцарское отношение к противнику?

Загадка! В России рыцарства не было. Не было ни этого ордена, ни его заповедей – мужество, честь, защита слабых...

Ввести указами такое невозможно. Петр пользовался страхами: тех, кто бежит с поля боя, обещал вешать. Тех, кто вернулся из заграничного учения и ничему не научился, – лупил палкой, лишал должности, посылал в матросы.

– Насилием ничего нельзя достигнуть, – убежденно сказал профессор. – Советский опыт еще раз это доказал.

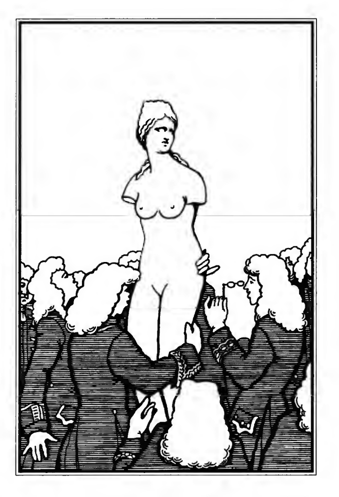
– Позвольте вам заметить, что европейский костюм ввели принудительно, под страхом наказания. На это всегда ссылаются, когда хотят укорить Петра. А что получилось? Перестали носить кафтаны, шубы, охабени.

Облачились в сюртуки французского покроя, появились парадные кафтаны, на ассамблеях блистали серебряным шитьем камзолы. На улицах поражали пунцовым, синим цветом плащи-епанчи английской, шведской моды. Возникло понятие

моды, модная одежда преобразила неотесанных дворян, купцов. Моде охотно следовали. Менялось поведение, вкусы, привычки молодежи, женщин, они радостно приобщались к светской жизни с ее балами, маскарадами, веселыми городскими празднествами.

– Зато нравы остались прежние, – не сдавался профессор.

Глава двенадцатая



АКАДЕМИЯ ЛЕТНЕГО САДА

10 Заказ № 164

В Голландии Петр впервые увидел сады с лимонными и апельсиновыми деревьями. Экзотические фрукты висели на ветвях – оранжевые, желтые, словно фонарики. Зрелище поразило его не меньше, чем соборы, витражи, каналы. Голландский климат похож на российский, следовательно, можно выращивать эти диковины и в России.

Идея подобного сада вызревала постепенно, когда надо, Петр умел быть терпеливым, из многих дворцовых садов и парков складывалось у него видение Летнего сада.

Петербург начался с Петропавловской крепости, с Троицкой церкви и, как считал учитель, – с Летнего сада.

Петр пригласил известных садовников и вместе с ними проектировал сад. Молочков видел чертеж Летнего сада, сделанный петровской рукой. Проект возник не на пустом месте. С детства Петр любил Кремлевские сады. Но Летний сад будет другим. Из Голландии Петр привез книги по садоустройству: как обрезать деревья, как формировать кроны.

Чертеж показывает пристрастие Петра к стилю голландского барокко: места уединения, островки, гроты, беседки. Прямые аллеи и вдруг лабиринты, лесочки, цветники.

Над Летним садом трудился приглашенный шведский садовник Шредер. Высокие шпалеры из лип, кленов, акаций он украсил скамейками для отдыхающих. Расставил их по аллеям. Государь часто приходил смотреть на его работу. Кряхтел, хмыкал, чего-то ему не хватало. Нет, работой Шредера он был доволен, украшения хороши, но... Достаточно ли этого посетителям? Что они еще могли бы получить? Швед не понял – удовольствие, что еще... А кроме удовольствия?.. Что царь имеет в виду?.. Ну, допустим, полезные сведения, – настаивал Петр.

Садовник недоумевал – какие сведения? Потом он вспомнил старинные традиции времен Ренессанса. Книги! Класть на скамейках книги нужного содержания, чтобы гуляющие могли их читать. А учитывая неверную погоду – прикрывать их кожей от дождя.

Петр рассмеялся. Столичная знать читать неохоча, да и непривычна, она идет в сад развлекаться, гулять. Нет, не лучше ли будет изобразить сценки из Эзоповых басен? Сцены в лицах! С текстами!

Были выкопаны бассейны, края обложены раковинами, в каждом бассейне фонтан и фигуры животных – свинцовые, позолоченные. Всего шестьдесят штук. Каждая группа соответствовала басне Эзопа. Примерно как на памятнике Крылова, открытом здесь спустя полтораста лет, как бы в память о петровской выдумке.

Басни Крылова знают с детства все русские школьники, с радостью отыскивают изображения на постаменте памятника. Басни Эзопа были при Петре в новинку. Не знали их содержания и еще менее разумели их значение. Поэтому Петр приказал у каждого бассейна поставить столб, на белой жести написать и басню, и ее толкование. Читайте, смотрите, понимайте!

Одной из первых переводных книг по указанию Петра были Эзоповы притчи. Книга вышла в 1700 году. Летний сад стал продолжением книги. Приходя в сад, Петр собирал гуляющих и объяснял смысл изображаемых басен.

Басни, считал он, наиболее впечатляющий, доходчивый элемент общего образования.

Среди торговых агентов, отправленных Петром в Италию приобретать картины, статуи, был Юрий Кологривов. В 1718 году ему посчастливилось перехватить подлинную античную находку археологов – мраморную статую Венеры. Венера отличалась от прочих статуй-новоделов, в ней трепетала жизнь, созданная две тысячи лет назад, когда еще не было ни России, ни

христианства, она показывала, каково было понимание красоты. Отбитые руки не умаляли совершенства этого творения. Когривов, отнюдь не специалист, можно сказать, влюбился в богиню. Но и римские власти тоже оценили Венеру, и распоряжением губернатора Фальконьери статую у Когривова конфисковали, продавца взяли под стражу. Когривов не отступился, поклялся во что бы то ни стало высвободить Венеру. Частные хлопоты его ни к чему не привели. Тогда Петр подключил к делу более пройдошистого агента – Рагузинского. Через своего приятеля кардинала тот обратился к самой высокой власти – Папе Римскому. В Ватикане было известно, что в России находятся мощи святой Бригитты, ирландской святой, высоко чтимой англичанами. Папа согласился совершить обмен мощей христианской святой на статую языческой богини. Когда сделка была совершена, Петр отправил Рагузинскому благодарность за „освобождение из-за ареста статуи Венус“ и просил передать благодарность кардиналам. Затем предупреждает – такую дивную вещь морем не посылать, рискованно, везти сушей в специальной коляске.

Путешествие Венеры через всю Европу – по заснеженным дорогам, сквозь границы, таможни, постоялые дворы, через ледяные реки, любопытство чиновников – было полно приключений и опасностей.

Спустя несколько месяцев промерзшая Венера предстала перед придирчивым взглядом царя. Он не был знатоком античного искусства, но в женских прелестях разбирался. Римлянка стоила потраченных денег и хлопот.

Петр распорядился установить ее не в павильоне, а в открытой галерее.

Беломраморная богиня, в чем мать родила, вызвала переполох в столичном обществе. Все спешили в сад увидеть сие бесстыдство. Зрелище женской наготы в публичном месте было невиданно для России, государь бросил старым порядкам еще один вызов.

У Венеры стояла неубывающая толпа. Греховность ее тела смущала, вызывала у одних похабные шуточки, у других возму-

щение. Особы женского пола ревниво искали изъянов. Изъянов не было, отчасти это угнетало, но в то же время доказывало, до чего хороша женщина как таковая. Мужчины сравнивали своих жен и любовниц с этим вечным образцом. Норовили потрогать, а то и гладили ее прелести.

Богиня сносила приставания холодно. По словам Антиоха Кантемира, она бы надавала пощечин, будь у нее руки. За нее вступился государь – поставил часового с ружьем.

Государь вставал рано, в пять утра. Однажды поутру, выйдя в Летний сад, он застал в галерее перед Венерой Антиоха Кантемира. Низкое рассветное солнце сделало мрамор чуть прозрачным, наполнило его розовым светом, скульптура ожила. Капли росы блестели на ее плечах. Юноша сказал, что он тщетно пытался представить себе ее с руками, могли ли они что-либо добавить ее образу? Он полагал, что ничего, лишенная рук, она обрела тайну, может, рук и не было, ваятель закончил на этом свою работу, боясь испортить ее.

Государь согласно кивал, радуясь тому, что другой такой „дивности нет на свете“, вглядывался, вздыхал с печалью, ибо нет ничего прекрасней женского тела.

– Учтите, что обыватели до того времени не знали ни живописи, ни ваяния, и вдруг галерея великого искусства распахнулась перед ними! Древние боги выглядывали из зеленой листвы. Мифологические образы входили в мир русского горожанина.

Живописные картины, закупленные по указаниям Петра, чаще всего представляли морские пейзажи и жанровые сцены. Среди них были полотна старых мастеров. Была картина Рембрандта „Прощание Давида“. Предпочтение государь оказывал картинам с кораблями, так, чтобы была видна оснастка, устраивал по ним экзамены молодым морякам.

Летний сад был начинен новшествами. Сад был огромен, по нему бродили цапли. Цвели фруктовые деревья. Диковиной были кусты роз, привезенных Петром. В больших клетках пели, щебетали редкостные птицы. В гротах гуляющих под-

стерегали пугала, в аллеях – водные ловушки, в рощицах лежали искусно сделанные полураздетые пасту́шки.

На пруду был островок с закрытой беседкой. Попасть туда можно было на лодке. Царь любил там уединяться. Этому островку предстояло еще сыграть роковую роль в жизни Петра.

Статуи устанавливали не у стен, не в нишах, как было принято, а так, чтобы обозреть их можно было кругом.

Нарушать традиции для Петра было естественно, он ощущал себя во всем первым, он был как Бог, творящий мир. С него начинаются музеи, флот, черепица... Однажды он отпечатал свою руку в глине, кажется, это было в Липецке, бронзовый слепок можно увидеть в музеях. Длань созидателя, держателя скипетра, рука, что подписывала указы, приговоры, рука бомбардира, плотника, архитектора, десница дающая и награждающая.

Эта могучая лапища чертит план Монплезира, колотит дубиной, точит паникадило.

Версаль Петру, да и всем его спутникам, показался чудом. Такого размаха фантазии он нигде не видел. Причем роскошь, любезная его сердцу, – роскошь фонтанов, зелени, парковых выдумок. Он долго любуется великолепным сочетанием террас, дворца, лужаек и играющей воды.

Подобное произведение достойно украсить его новую столицу. Замысел Петергофа формируется быстро и появляется вовсе не вариантом Версаля, это скорее петровское произведение. В Петергофе сказывается барокко потому, что в натуре Петра наличествует барокко.

Версаль прославляет короля Людовика. Петергоф прославляет выход России на морской простор. Изобретательность Петра неистощима. План Петергофа Петр набрасывает сам, делает эскизы дворца, нижнего парка с морским каналом, Верхнего сада. Тщательней всего занимается Монплезиром.

Надо было решить инженерную проблему – как обеспечить напор воды для фонтанов. В Версале это делали насосы. Ненадежно. Петр обследовал местность вокруг Петергофа, нашел ключи на Ропшинских высотах, предложил проложить самотечный канал до Петергофа.

В сущности, гидротехники исполнили его проект. До сих пор фонтаны работают по петровской схеме водоснабжения.

В тот день 1714 года, когда пустили воду, Петр на коне, волнуясь, сопровождал ее журчащий первоток, ехал вдоль лотков и труб от Ропшинских высот до самых фонтанов. И вот они взметнулись вверх – счастливая минута!

Чего он только ни напридумывал: в его любимом Монплезире провел по трубам воду в нужник. Возможно, то был первый в Европе проточный туалет современного типа. Кстати говоря, серьезная проблема того времени. Воняли все дворцы, вплоть до Версальских, что особенно поразило Петра в Париже.

В гротах можно было включить водяной занавес, преграждая струями выход. Вместе с Петром архитекторы соревновались в потешных изобретениях. Там же, в гроте, поставили мраморный стол с яствами. Гости подходили, протягивали руки, и тут по окружности стола поднималась из невидимых отверстий водяная ограда. Петр хохотал, это он подал слуге условный знак – открыть кран.

Иногда это кажется немного провинциальным, наивным – юное российское общество еще не заботилось о своей репутации.

С Петергофом и Стрельной связано много легенд.

Как-то в тридцатые годы Сталин посетил Петергоф. В Монплезире задержался надолго, смотрел на море, осмотрел фламандское убранство этого маленького дворца, потом стоял молча, разглядывая маску Петра, и вдруг произнес:

– Не дорубил Петруха.

Что сие означало – спросить директор музея не осмелился. Трактовал по Пушкину – не дорубил, мол, окно в Европу. Много позже, когда вернулся из лагерей, полагал, что в словах вождя был иной смысл – палаческое неодобрение.

К Монплезиру Петр имел пристрастие. Выйдя на террасу, он мог видеть и Кронштадт, и Петербург. Засыпая – он любил ночевать в Монплезире, – слышал плеск волны, прямо с кровати открывался вид на море – любое: с луною и без луны,

с льдинами, летнее море, с рыбачьими шлюпками, пустое, солнечно-ликующее.

Сюда любила приходить Екатерина Великая, любил и Николай Первый – подолгу сидел в кабинете Петра, думал.

И Петергоф, и Стрельна – места, любимые Петром, – обладают какой-то мистикой. В церкви у своего путевого дворца Петр устроил тайное бракосочетание с Екатериной. Было это в 1707 году. Здесь же, в Стрельне, в той же церкви поженились Наталия Николаевна и Ланской. К тому времени маленькая деревянная церковь уже обветшала, но сохранились дворец и два фонтана, первые в России, поддерживались еще огороды, где Петр посадил первую в России картошку, смороду, стояли колоды – ульи с пчелами, был садок с рыбами – все петровское.

Сдержанная северная природа здесь позволяла себе веселиться, выращивать заморские овощи, фрукты.

Здесь все было впервые. Петр впервые украсил жилище картинами, устроил комнату для игр – „фортунный покой" – там играли в карты, в шахматы, шашки, все было чинно, как в голландских особняках, если не взрывалось попойкой.

Канал, от залива прямо к дворцу, по замыслу Петра, стал парадным въездом. Склон террасы оборудован каскадами. Получилась наглядная связь дворца с морем.

В фонтанах аллегорически развивается тема Северной войны. Уже после Петра был установлен Самсон, побеждающий льва (того самого, что изображен на шведском гербе), – главный водомет Большого каскада, главный символ Победы.

Различные эффекты водных струй Петр проверял, делая с фонтанными мастерами модели.

На открытии Петергофа царь, выйдя на балкон Верхних палат, сказал французскому послу:

– В Версале нет такого вида, как здесь, где с одной стороны открывается море с Кронштадтом, с другой виден Петербург.

Вода – любимая стихия Петра, ей он устроил здесь пиршество. Двадцать лет понадобилось ему, чтобы заполучить Бал-

тику. Петергоф – это его ликование, он наслаждается изобилием воды, играет с нею, показывает чудеса водоводства, угощает всех ее превращениями. Изгибает нежными округлостями, вздымает под небеса, рассыпает мельчайшими струйками, заплетает косы... Он изобретателен как влюбленный. Петергоф – его признание в любви. И вода рек и ручьев благодарно резвится, почуяв волю, ее долгий трудный путь к морю завершается. Вместо триумфальных арок, монументов полководцам Петр сооружает Праздник выхода к мировым просторам, на свободу общения, освобождение от замурованного существования.

Глава тринадцатая



ЕГО ЯЗЫК

На этот раз Молочков пришел с тетрадкой. Он хотел нам рассказать про язык Петра. Перебирал листки, густо исписанные чернилами.

Даже в казенных бумагах, в воинских приказах Петр нарушил все принятые каноны.

Из большого, еще не полностью опубликованного, архива Петра у Молочкова набрался целый сборник примечательных выражений из писем, анекдотов, воспоминаний, иногда они звучали как подслушанное.

„Забывать службу ради женщины непростительно. Быть пленником любовницы хуже нежели быть пленником на войне; у неприятеля скорее может быть свобода, а у женщины оковы долговременны".

В письме Екатерине в 1712 году Петр жалуется на трудность совмещать руководство войной и гражданским делом:

„Мы, слава Богу, здоровы, только зело тяжело жить, ибо я левшою не умею владеть, а в одной руке принужден держать шпагу и перо, а помочников сколько, сама знаешь".

Осмотрев купленные в Англии Н. Синявиным три корабля, Петр нашел много дефектов и, сравнивая их с русскими, сказал со вздохом:

– Как приемыши против родных детей.

Он пишет по поводу Польши, где умы кипели в постоянном брожении: „Дела идут там, как молодая брага".

В бумаге о создании должности генерал-прокурора в Сенате: „Хочет воспрепятствовать, чтобы законами играли как картами, подбирая их по мастям“.

С Азовского похода он пишет о турках в частном письме: „Подошли мы к гнезду близко и шершеню раздразнили, которые за досаду свою крепко кусаются“.

Сестра Наталия убеждала его быть осторожнее. Петр отвечал: „По письму твоему я к ядрам и пулькам близко не хожу, а они ко мне ходят, прикажи им, чтоб не ходили“.

„О Петре ведайте, что ему жизнь недаром, только бы жила Россия в блаженстве и славе для благосостояния нашего“.

„Надо больше своим умом жить, не все же, подобно молодой птице, в рот смотреть“.

По поводу первой победы над шведами под Лесной Петр сказал: „Младенец счастия родился“.

„Будет ли Россия Азией или Европой, она все-таки будет Россией“.

При въезде в Дербент в 1723 году он сказал:

– Александр этот город основал, Петр его взял.

Он велел повторить эту мысль надписью на триумфальной арке: Struxert fortis, sed fortior hans cepit urbem (Храбрый построил, храбрейший взял этот город).

„Не добро есть брать серебро, а дела делать свинцовые“.

„Ведь наши старики по невежеству думают, что без бороды не войдут в царство небесное, хотя у Бога оно отверзно для всех честных людей“.

„Фортуна сквозь нас бежит... блажен, кто имеет за власы ее".

Будучи больным, Петр отправился на строительство Ладожского канала. От этой поездки болезнь усилилась. Доктор упрекал его. На это Петр сказал:

„Болезнь, конечно, упряма, природа знает свое дело, но и нам надлежит пекчись о пользе государства, пока силы есть".

Известны его слова незадолго до смерти, когда он мучился от нестерпимых болей: „Из меня познайте, какое бедное животное есть человек".

„Мы ничего собственного не имеем кроме чести. Отступить от нее – перестать быть царем".

„Солдат есть имя общее, знаменитое: солдатом называется первейший генерал и последний рядовой".

В Версале, глядя на бюст Ришелье, Петр сказал: „Если бы кардинал Ришелье был жив, я бы отдал ему полцарства за то, чтобы он научил меня управлять другою".

Петр не упускал случая произнести выигрышную фразу. Однако здесь он натолкнулся на французское остроумие, которое немедленно продолжило петровское изречение: „... с тем, чтобы выучившись, отнять у него другую половину".

В Англии король, зная любовь Петра к морскому делу, устроил в честь русского царя примерное морское сражение. Стройность, согласованность, быстрота маневров английских кораблей так восхитила Петра, что он воскликнул:

– „Если б я не был русским царем, то желал бы быть английским адмиралом".

Детское счастливое умение удивляться, восхищаться чудесами и людскими талантами долго сохранялось в его взрослости.

В 1715 году при спуске корабля „Илья Пророк“ Петр произнес речь о России. Приведу всего лишь отрывок из нее:

„...кому из нас хотя бы во сне лет тридцать назад снилось, что мы с вами здесь, у Балтийского моря, будем плотничать в этом крае, завоеванном нашими трудами и мужеством. Воздвигнем город, в котором вы живете. Доживем до того, что увидим таких храбрых и победоносных солдат и матросов русской крови. Сынов, побывавших в чужих краях и возвратившихся смышлеными. Увидим у нас множество иноземных художников и ремесленников. Доживем до того, что меня и вас станут так уважать чужестранные государства!“

Видя, как со всех сторон его сотрудники воруют, он восклицает: „Подкапываются под фортеции правды“.

В 1716 году, узнав, что Август не согласен на русские претензии насчет Данцига, Петр пишет Шереметеву не отступаться никак от требований. В случае несогласия Петр обещал вылечить город через пургацию, для чего уже и привезены пилюли.

„Ложно беснующимся – выгонять беса кнутом. Хвост кнута длиннее хвоста чертовского“.

„Иную свинью приходится рылом в корыто тыкать, бо не понимает своего интересу“.

По поводу взятия Нотебурга он пишет: „Правда, хотя и зело жесток сей орех был, однако, слава богу, разгрызли, но не без тягости, ибо многие наши медные зубы оттого испортились“.

По поводу соглашения с Данией:

„Наш союз походит на пару жеребцов, запряженных в повозку“.

Одному бахвальщику он заметил:
„Медведь тоже похвалялся, что перегонит кобылу".

„Несчастия бояться – счастья не видать".

Пишет одному из бояр о постройке галер:
„А мы, по приказу Божию и прадеда нашего Адама, в поте лица едим хлеб свой".

Глава четырнадцатая



ЛИВОНКА

Быть женой гения, к тому же царя с характером, не терпящим инакомыслия, трудно. Екатерина сумела. Она приспособилась не как послушная рабыня, а как влюбленная женщина. Она не прощала мужу его необузданный нрав, дикие поступки, цинизм. Прощение полагает чувство превосходства над прощаемым. Превосходства не было, она – сирота, не имевшая ни воспитания, ни знатного происхождения, никаких талантов, Марта Скавронская, ливонка, невесть откуда взявшаяся, – пришлась по душе Петру тем женским чудом, какое властные натуры, подобные Петру, ищут в женщине. Она признавала превосходство Петра во всем, его мужество, прозорливость, его ум, его красоту, мужские достоинства, – все, что он делал, вызывало у нее понимание, если же не понимала, то считала это своим недостатком. Советы, указания Петра она выполняла с радостью, будь то устройство петергофских фонтанов или воспитание детей. Ее поклонение Петру не было притворством, Петра вряд ли можно было так долго водить за нос. Он был достоин любви, и она действительно влюбилась, письма ее дышат нежностью, ее чувства без ревности, без подозрительности, без тяжелой, душной требовательности. Это веселая, играющая радостью, благодарная любовь. И происходит чудо. Железная натура Петра смягчается. Казалось бы, защищенный со всех сторон панцирем государственного своего долга, травмированный сердечной неудачей, он тем не менее привязывается к Екатерине, испытывает ответную нежность. После Анны Монс его вторично посещает любовь. Он обретает семью, свою личную домашнюю жизнь. Приспело время быть мужем. Он может заботиться не только о флоте, о Сенате, но и о жене, о дочерях. Он пишет Екатерине,

чтобы она ехала из Новгорода не той дорогой, что ездил он, на ней лед худой, а старой, и наказывает о том коменданту. В другой раз просит ее в Петербурге некоторые мосты непрочные переходить пешком. Он шлет ей подарки. Супружество явилось поздно. Когда они сочетались браком, Петру было сорок лет, Екатерине двадцать восемь. В письмах к ней Петр называет себя стариком, подшучивает над собой, порой с грустью. Год от году привязанность Петра к жене крепнет. Супружество их было не похоже на семейные отношения монархов той эпохи. Нечто подобное было во втором браке его отца, Алексея Михайловича, с Наталией Нарышкиной, счастливом и коротком. Чем-то характер Екатерины был схож с характером матери, Наталии Кирилловны, которую Петр горячо любил до самой ее кончины. В том отцовском браке Петр был желанным ребенком, а желанные дети, зачатые любовью, получаются самыми лучшими.

Екатерина обладала особым даром успокаивать Петра при его припадках. Все свидетельствуют о ее как бы гипнотических способностях. Звук ее голоса уже успокаивал Петра, в такие минуты никто не осмеливался приблизиться к царю, она одна бесстрашно подступала, брала за голову, гладила, почесывала, и он засыпал на ее груди. Через два-три часа он просыпался – освеженный, умиротворенный.

Существует красивая легенда о том, как Екатерина спасла Петру жизнь. Случилось это во времена Прутского похода в 1711 году, когда русское войско попало в окружение турок. Тридцать восемь тысяч русских были отрезаны огромной 140-тысячной вражеской армией от тылов, от продовольствия. Солдаты болели, голодали, не было воды, начались эпидемии. Положение складывалось критическое. Было решено, если турки откажутся от мирных предложений, пробиваться с боем. Надежд на успех прорыва было немного.

В этом неудачном походе с ним была Екатерина. Они недавно сочетались церковным браком, и Екатерина отказалась остаться в Польше, последовала за Петром в поход. В тот тяжкий вечер, может самый мучительный для Петра, она не стала

его утешать и, разумеется, не упрекала в легкомыслии, с каким он доверился румынскому князю – изменнику, который перешел на сторону турок, отдал им продовольствие, приготовленное для русских солдат.

Недаром мрачные предчувствия мучили Петра перед походом. Он писал в письмах: „Пускаюсь в безвестный путь“.

Направили парламентера с письмом от фельдмаршала Шереметева. Ответа нет. Посылают снова. Турки не отвечают. Остается сжечь обоз и готовиться к наступлению, хотя надежд прорваться немного.

Отдав последние распоряжения, Петр удалился отдохнуть в свой шатер, приказав никого к себе не пускать. Как он мог согласиться на столь плохо подготовленный поход, не обеспечив войска продовольствием, легкомысленно надеясь на помощь молдаван и валахов. Так блистательно разгромить под Полтавой лучшего полководца Европы Карла XII и так глупо оконфузиться с неумелыми турецкими ополченцами, которых и войском нельзя назвать, просто несметные толпы. Отчаяние душило его. Лучше других понимал он, в какую ловушку завел своих солдат. Почему не послушался голоса, что останавливал его?..

Он составляет документ, который историки назвали завещанием. Так мол и так, господа сенаторы, вследствие ложной информации я окружен турецкою силою, в семь раз превосходящей нас, ждать нечего, кроме поражения. Возможно, что он, государь, попадет в турецкий плен. Если это случится, то Сенат не должен его считать царем и государем и ничего не исполнять, что бы ни исходило от его имени. Если же он погибнет, то им следует выбрать между собой достойного в наследники.

Пока Петр пребывал в одиночестве, Екатерина держала совет с генералами во главе с Шереметевым. Они трезво оценивали, сколь мала надежда вырваться из окружения. В бою мог погибнуть и сам царь. Надо всячески искать пути договориться с турками, попытаться вновь и вновь обращаться к ним.

Обсудив все это, Екатерина, несмотря на запрет, вошла в палатку мужа, пала к его ногам, стала умолять послать к тур-

кам не письменное предложение, а достаточно полномочного человека. Пойти на все, принять любые условия, не губить людей и себя. Лучше уступить земли и крепости, чем принять плен, потерять с такими трудами обученную армию.

Словами, слезами ли – она заставила Петра отложить свое решение. Это редко кому удавалось, но Петр умел не только слушать, но и слышать.

Обдумав, он велел вице-канцлеру Шафирову отправиться к турецкому визирю. Предложить мир, соглашаясь, в сущности, на любые условия. Уступать и уступать. Если турки потребуют завоеванные земли на Дону – отдать, земли по Днепру – отдать. Даже драгоценный сердцу Петра, основанный им Таганрог – тоже можно отдать. Турки вместе со своими союзниками шведами, Карл-то находился в Бендерах, могли настаивать на северных провинциях, что ж, придется и тут пожертвовать, не уступать только Петербург, любимое детище Петра, попытаться спасти его. Шафирову предстояла тяжелая миссия.

Легенда далее гласит, что Екатерина собрала все свои драгоценности, чтобы преподнести их визирю, и отправилась вместе с Шафировым.

Искусство Шафирова и, возможно, личное участие Екатерины привели переговоры к неожиданному успеху. Турки потребовали вернуть всего лишь Азов, остальные городки, построенные по берегам Азовского моря, срыть. Если бы турки знали тяжелейшее положение русской армии, условия были бы иные.

Что происходило у великого визиря, как шли переговоры, почему он согласился выпустить из ловушки русских во главе с царем – неизвестно.

Два дня томительно ждали результата мирных переговоров. Смерть или рабство, так оценивал положение русских французский полковник, служивший у Петра в том несчастном турецком походе. Пушкин перевел с французского его рассказ „Записки бригадира Моро де Бразе“ как важный документ о Петре.

Моро писал, что если бы великий визирь служил бы с усердием, то ему следовало только соблюдать осторожность, укреп-

ляться в окопе и ждать. Русские не имели провианта. Пять дней они уже сидели без хлеба, лошади голодали. Если бы в эти дни кто-то сказал, что мир будет заключен, да еще на таких условиях, его сочли бы сумасшедшим. Еще когда трубач впервые отправился к туркам с письмом фельдмаршала, где просил перемирия, один из офицеров сказал, что безумец тот, кто завел Петра в этот поход, но, если визирь примет предложение о перемирии, он будет еще больший безумец. И далее Моро писал, что, видно, Богу было угодно, чтобы визирь был ослеплен блеском золота, чтобы спасти многих честных людей.

Легенда кое-что сместила, поскольку легенда всегда требует простоты и стройности. Была ли царица у визиря, в точности не доказано, однако известно, что Петр говорил о важных услугах Отечеству, оказанных Екатериной во время Прутского дела, и отметил это позже в указе о коронации супруги.

Уступчивость турецкого визиря впоследствии толковали по-разному. Шведскому королю его представители дали знать о переговорах с Шафировым, Карл вскочил на коня и 17 часов, не слезая с седла, скакал во весь опор из Бендер в турецкий лагерь, но опоздал, трактат уже был подписан. Счастливый случай овладеть врагом ускользнул от него в последнюю минуту. В ярости Карл обрушился на визиря, кричал, ругался – как мог визирь вступить в переговоры, не сообщив о том ему, королю, ради которого султан войну эту начал. Визирь ответил, что война шла во имя турецких интересов, а не шведских.

Российская армия уже приближалась с барабанным боем к Днестру, вились распущенные знамена, конница ступала, сверкая обнаженными палашами, играли флейтисты, в карете ехали царица с Петром, счастливые замирением. Худой мир, но мир без позора. Петр твердил: „Мое счастие в том, что я должен был получить сто ударов палкой, а получил пятьдесят".

С этого времени Екатерина все чаще сопровождала Петра в путешествиях и походах. Вела она себя тактично, сдержанно, вполне достойно супруги русского императора. Откуда взялось у этой бывшей служанки столько психологической тон-

кости, если угодно – практичного ума. Стоит почитать ее письма Петру.

Как повторял учитель – соседство с гением возвышает близких к нему, особенно женщин, пробуждает в них скрытые способности.

Петр всегда хотел любить. Найдет достойного человека и привязывается, приближает к себе. Такую любовь заслужил Меншиков, и Петр готов был прощать любимцу и казнокрадство и самоуправство. Дружба, верность, привязанность – все у него было, не хватало чувства интимного, сердечного, той заботы о женском существе, которое нужно мужчине. Екатерина зажгла в нем впервые огонь мужней любви. Чувство это росло, крепло и доставляло все больше радости.

У этой же безродной, озорной ливонки на первом месте была любовь; перейдя к Петру сперва наложницей, она сама увлеклась им, обвила его, по выражению ее биографа, „словно кореньем".

Она приворожила его нехитрым, но редким качеством – сочувствием ко всем его делам и заботам. Сочувствие было необходимо Петру. Их отношения пересыпаны шутками, игривостью.

„Вчерашнего дня была я в Петергофе, где обедали со мной четыре кавалера, которым 290 лет".

Петр в ответных письмах подтрунивает над своей немощной старостью и над ветреностью „евиных дочек". По письмам видно, как они оба шутят, посмеиваются друг над другом, а встречаясь, уж веселились и забавлялись вовсю.

Она привлекала не красотой, скорее откровенной чувственностью. Горячий взгляд, пышная грудь, черные волосы... Она не походила на своих землячек, медлительных, светловолосых. Темперамента у ней хватало и на балы, на танцы, на пирушки. Она разделяла с Петром походную жизнь, солдатскую пищу.

Одевалась она безвкусно, навешивала на себя жемчуга, ордена, браслеты, амулеты – облик служанки был неизгладим. И ухаживала она за Петром как маркитантка. Постоянно весела, здорова, внимательна к его бытовым привычкам. Време-

нами Петра устраивало ее вмешательство, можно было что-то исправить, ссылаясь на нее. Но с некоторых пор ее участливость стали по-умному использовать, через фрейлин, правителей ее двора.

Она удачно олицетворяла семейный очаг, куда Петра с годами все больше тянуло. Все было бы хорошо, если бы она родила наследника. После первых двух дочерей она родила еще одиннадцать детей, и все они умирали один за другим в малом возрасте. Терпение Петра истощилось, видно было, что он отчаялся получить сына и невольно винил жену.

Несмотря на церковный брак с Екатериной, заключенный в 1711 году, Петр по-прежнему не отказывал себе в любовных утехах. Связи его всегда так же случайны. Гостиничные служанки, поварихи, крестьянки, дочери вельмож. Среди них пятнадцатилетняя Евдокия Ржевская, Мария Румянцева... Вероятные потомки Петра, вырастая, расцветут и в следующую эпоху станут полководцами, героями, министрами, можно подумать, что он оплодотворил царствование Екатерины Второй.

Среди его женщин выделяются две аристократки. Одна княгиня Любомирская. Не считаясь со своим супругом, она охотно проводила время с Петром, наслаждаясь его умом. Его, похоже, привлекают ее музыкальность, культура, тонкий вкус. Он часами беседует с ней, делится своими соображениями насчет Польши, иностранных наемников. Она дает ему то, чего так не хватает в отношениях с Екатериной. Еще сильнее привлекает его молоденькая дочь его советника, молдавского господаря Кантемира. Петр берет ее шестнадцатилетней девушкой. Семья Кантемиров выделялась культурой и среди петровского окружения. Д. Кантемир – дипломат, писатель-энциклопедист, европеец – дал блестящее образование детям. Один из братьев, Антиох, входил в „ученую дружину“ Петра, прославился как поэт-сатирик...

По лестнице любви поднялась Екатерина к российскому престолу. Ее биография – это перечень тех, кому она принадлежала. Сама незаконная дочь, она семнадцати лет начала свою

женскую историю одним из учеников рижского пастора, у которого была служанкой, ее выдали замуж за шведского драбанта. Он быстро исчез, и она пошла по рукам. Начав с мелкого офицера, она переходит к высоким начальникам. Всякий раз происходит одно и то же – примечают ее красивую полную фигуру, живость, аккуратность и приказывают перевести к себе – прачкой, служанкой, горничной. От нее исходит чувственность, это действует на всех. Екатерина доходит до фельдмаршала Шереметева, у него ее забирает Меншиков, и, наконец, – Петр.

Облик трактирной служанки оставался. Она идеально приспособлена к походной военной жизни. Не боится стрельбы, пьет водку с солдатами, может спать на земле, может и не спать, трястись часами в повозке.

Она нисколько не стеснялась своего прошлого, уверенная, что избавилась от него. На самом деле оно цепко держит ее. Однажды Петр обнаружил, что под вымышленным именем Екатерина поместила капиталы – один счет открыт в банке Амстердама, другой в Гамбурге. Капиталы огромные. Откуда? Она без стеснения берет со всех, кто припадает к ее ногам или рукам с просьбами. Добраться до государыни непросто. Ее фрейлины получают за то, что допускают к ней. Происхождение сказывается в том, что она не могла до конца уверовать в свою венценосность. Все могло кончиться в любую минуту. Такова же была психология Меншикова. Он тоже открыл счета в немецких и голландских банках и посоветовал это сделать Екатерине.

Надо отдать должное супруге Петра – она умела поддерживать огонь любви. Влюбленность Петра в Екатерину в чем-то повторяла его чувство к Анне Монс. В Екатерине было то же иноземное начало, чужой говор, чужие привычки. Преимущество ее над первой любовью Петра состояло в том, что Екатерина стала нужной. Сперва ей нужен был Петр, это было для него внове – без него она одна в чужой стране, ни родных, ни состояния, ничего, – бездомная дворняжка. Затем уже и ему нужна она: его поверенная, его приют, его дом.

Ни у кого из самых ловких придворных, из лучших европейских дипломатов не получалось управлять им, играть на

его слабостях или страстях. Екатерина преуспела в этом больше других, но и ее власть имела пределы.

В Берлине в 1718 году он специально посещает кабинет медалей и античных статуй. И то и другое живо интересует его, античными статуями он украшает свой Летний сад. Сопровождаемый многочисленной свитой, он обходит экспонаты, останавливается перед древнеримским божеством, одним из тех, что ставили над брачным ложем. Мрамор изображает возбужденное состояние. Петр хохочет над откровенностью и заставляет Екатерину поцеловать фаллос этого божества. Царица смущена, противится, тогда он свирепеет и принуждает ее взять в рот мраморный член. Все это он сопровождает комментариями на смеси немецкого и голландского языков. Придворные рады скандалу. Тут же, не обращая внимания на смешки, на слезы Екатерины, просит у короля продать ему эту скульптуру.

Время от времени он ставит Екатерину на место – награждает ее пощечинами, а то и потчует кулаком. В его чувстве нет уважения, он любит ее, как любят свою лошадь или собаку: можно приласкать, а можно и отстегать. Он собственник, в той или иной мере это относится ко всем его подданным, и прежде всего к придворным.

После смерти их „шишечки", маленького Петра Петровича, Екатерина почувствовала опасность. Вопрос о наследнике все сильнее мучил государя. Желание иметь сына звучало все чаще, упрямо, как предостережение. Пока был жив Петенька, любовные увлечения Петра не беспокоили Екатерину. Теперь же любая интрижка могла привести к катастрофе. Перед Екатериной маячил призрак царицы Евдокии, запросто упрятанной в монастырь. Ей надо было упрочить свое положение. И она добилась своего.

В 1723 году Петр оповестил Россию, что хочет увенчать супругу императорской короной. Он подтвердил, что она спасла империю, его самого, который чуть не стал добычей турок на берегах Прута, и вполне достойна быть императрицей.

Неслыханный финал! Простая служанка исключительно по дороге любви достигает титула императрицы. Такого в России не было ни до ни после Екатерины.

– Вот это карьера, – сказал Антон Осипович.

– Карьера любви, – сказал Гераскин. – Черт возьми, эта девка ведь могла остаться солдатской прачкой, подстилкой, и такой поворот. Везуха!

– Сам человек добывает себе счастливый случай, – сказал профессор. – Случай надо использовать. Эта женщина сумела.

Молочков покачал головой.

– Использовать – сюда не подходит, она же полюбила. А то, что так обернулось, это уже дело удачи. Чувство у нее было искренним, иначе Петр не откликнулся бы. Сколько баб у него было! И знатных, и простых, заграничных и русских, всех бросал без сожаления. А эту простушку не бросил, вот как прикипел к ней.

Петру дружно позавидовали.

– Повезло мужику, – говорил Гераскин, – подвалило счастье. Такая баба, веселая, неунывайка, терпела его загибоны, драгоценности не выпрашивала. И темперамент, видать, был горячий, как, Виталий Викентьевич?

– Вероятно.

– Главное – не воспитывала.

– Двадцать лет сносить этот дикий нрав – тут нужна настоящая привязанность, – сказал Дремов.

Оказалось, каждый мечтал о такой женщине.

Слушая нас, учитель то расцветал, то вздыхал опечаленно.

Антон Осипович высказал мысль, что, когда Петр убедился в преданности Екатерины, появился расчет – пора жениться, негоже царю под старость холостяком оставаться. Следует о потомстве позаботиться, о наследниках. Тут же Антон Осипович высказал свои взгляды на брак и семью, которую нет смысла разрушать, все равно попадешь в новую кабалу, лучше завести любовницу, которая может возместить недостатки законной жены.

Гераскин поддержал его:

– Брак не настолько серьезная штука, чтобы из-за него следовало разводиться.

– А если жена изменяет? – неожиданно спросил профессор.

Мы призадумались.

– Неприятные вы задаете вопросы, Елизар Дмитриевич, – сказал Серега. – Мы тут третью неделю безвыходно живем, к чему такие вопросы?

– Женщина так же готова отовариться, как и мужик.

– Есть разница. Она должна хранить семью.

– Женщина не просто изменяет, у нее еще чувства меняются. Мужик, он что, отряхнулся и забыл.

Бурное обсуждение проблемы прав женщины на измену выдвинуло лозунг: „Ревновать – неотъемлемое право на частную собственность!“ Кто-то спросил Молочкова, был ли Петр ревнив? Он как-то неопределенно пожал плечами. Зачем ему ревновать, ему не изменяли, пояснил Гераскин. От добра добра не ищут. Антон Осипович считал, что этот вопрос для императора не стоял, в условиях царского двора был наверняка строгий присмотр.

– Что-то не так? – вдруг спросил он Молочкова.

– Нет, нет, не обращайте внимания.

Молочков обеими руками крепко потер лицо, возвращаясь к нам.

Глава пятнадцатая



КЛЯТВА

Из всех историков Петра самым симпатичным учителю был Иван Голиков, про него он рассказывал с удовольствием и удивлением.

Происходил Голиков из купцов, грамоте его обучил приходский дьячок, далее сам помаленьку пристрастился к чтению и более всего к книгам по русской истории. Попалась ему в 1755 году как-то рукопись бывшего полкового священника, служившего при Петре. Личность царя заинтересовала подростка, с тех пор он стал искать книги про Петра и записывать слышанные рассказы. Обратите внимание – опять же бессознательно записывал. В Оренбурге познакомился он с Неплюевым, одним из выучеников Петра. Иван Иванович Неплюев, сенатор, бывший резидент в Стамбуле, был в молодости послан Петром учиться морскому делу в Англию, Неплюев познакомил его с Рычковым – ученый человек петровской закваски – географ, экономист, а в Петербурге свел с Крекшиным – историком, влюбленным в Петра, затем с Талызиным, Нагаевым, Сериковым – все люди, связанные с Петром. Выспрашивал Голиков не только анекдоты, но и обо всем, что касалось деяний Петра. Любую записочку, письмо, пометку Петровской эпохи собирал впрок, ведать не ведая о крутом повороте своей судьбы. Пока что это служило лишь отрадой среди суеты торговых дел. Сейчас, зная его судьбу, можно подумать, что фортуна специально готовила его к предстоящей работе. Но долго еще будущее не подавало никакого знака. Годы уходили, заполненные торговыми хлопотами. Ему уже стукнуло сорок четыре года, почтенный возраст, жизнь вошла в колею, по которой и должна была катиться до конца. Вдруг в 1779 году Голикова привлекают к суду. За жульничество по военному откупу. Следст-

вие установило – брал взятки, вино разбавлял и так далее. Приговорили к шести годам. Легко воровать, да тяжело отвечать. Два с половиною года проводит он в остроге, и вдруг амнистия. Было это в 1782 году. По случаю юбилея рождения Петра.

Прямо из тюрьмы, как был, в тюремной рубахе, накинув драный армяк, отправился Голиков в церковь, поблагодарил Господа, оттуда прямиком на Петровскую площадь, на торжество открытия памятника. Никогда никаких памятников он не видел. Тут же пред ним появился дважды Великий – Великий памятник Великому императору. Он встал на колени перед Медным всадником, люди столпились вокруг, и он поклялся отблагодарить Великого Петра, посвятить остаток жизни сбору материалов о нем.

Стоит упомянуть рассуждение учителя, что, если преступника судить, и, не объявив приговора, отпустить его, обязательно подействует. Должно подействовать, это он на своих учениках проверял неоднократно. Поймаешь на чем-то, они ждут наказания, хотя бы выговора, хотя бы нотации, чтобы почувствовать себя в расчете. Наказание это квит, обе стороны расквитались. Когда же квита нет, у виноватого нет облегчения, приходится самому себя наказывать. Так происходит с человеком совестливым. Иван Голиков считал, что его спас император Петр, благодаря ему получил помилование и отныне свой грех должен искупить служением. Материалы собирать показалось ему мало, решил он, пользуясь ими, писать историю государя, год за годом, чуть ли не день за днем.

Учтите – кем он был? Простой купец, имущество описано по суду, исторического образования нет, вообще никакого образования, никогда ничего не писал. Согласитесь, взяться за такое дело в сорокасемилетнем возрасте – намерение отважное, почти безумное. Но, когда у человека появляется устремленность к одной-единственной цели, он может творить чудеса.

Голиков оставляет торговую деятельность, собирает пожертвования, не стыдится выпрашивать, уговаривать состоятельных знакомых, да и незнакомых вельмож, – ему надо при-

обретать рукописи, документы, письма Петра. Как бывает с людьми, охваченными одной благородной идеей, – обстоятельства идут ему навстречу. Знаменитый заводчик Демидов сочувствует его замыслу, помогает деньгами. Удается собрать, скупить рассеянные по частным рукам документы Петра. Бесценные бумаги, так быстро исчезающие среди смертей, переездов, разорений. Значение этих старых документов в те времена еще плохо сознавали. По документам он пишет подробнейшую историю царствования Петра, день за днем, год за годом, и все время оговаривается – он, де, человек не ученый, никакой не историк, в языке не искусен, он всего лишь собиратель. Собрал он и спас великое множество драгоценных документов. Однако труд его не сборник, не монтаж, это история. Оказывается, он хорошо знал античность, библейские тексты, да и европейскую историю. Когда, как он успел изучить все это – Молочков понятия не имел. История, написанная Голиковым, как он сам предупреждает, – панегирическая. Он воздает хвалу так же, как это делал Ломоносов. С той разницей, что Голиков воздает за конкретные поступки, он прослеживает путь Петра шаг за шагом, стараясь понять его действия и решения. Понять – для него значит оправдать. На суде истории он один из самых умелых и пылких адвокатов Петра. Он трудился день и ночь неотступно, не щадя себя, все девятнадцать лет, которые оставила ему судьба. Фундаментальный его труд со всеми приложениями насчитывает тридцать солидных томов. Голиковской работой пользуются историки вплоть до наших дней. Да, он необъективен, но его пристрастность помогла ему совершить этот подвиг, иначе не назовешь то, что удалось сделать бывшему купцу и преступнику. Подобно Штелину, он записывает все, что слышит, выспрашивает, покупает каждую бумажку, связанную с Петром.

– Одержимых людей я побаиваюсь, – признался Молочков. – Но должен признаться, наука, прогресс во многом обязаны именно таким подвижникам. Никто, в сущности, не знает, на что способен человек, охваченный идеей.

Гераскина почему-то возбудила история с клятвой. Что значит клятва, допытывался он у самого себя. Клятва – кому? Не дружкам, не бабе. Голиков давал клятву потому, что покаялся. А покаялся, потому что знак увидел. Верующий человек иначе видит. У них зрение другое. Нам знаки тоже даются, только мы их не видим. Совесть не отзывается, заземлена наверное.

– По-моему, совесть – это тайный суд, который устраивают над собой, – сказал Елизар Дмитриевич. – Но судишь в соответствии с тем судом, каким судят тебя окружающие. А если кругом никто тебя не осуждает? У меня студент был. Он унес из кабинета коллекцию жуков. Продал. Я его спрашиваю – как же вы решились на такое, что вас заставило? Он, знаете, что ответил? – Хорошую цену за них давали. Вот и вся его причина. Я говорю ему, как же вы своей репутацией не дорожите? Он смеется, говорит, что ему завидуют. А если, спрашиваю, вас под суд? Он спокойно отвечает: во-первых, это надо будет доказать, во-вторых, разве вас, профессор, не будет мучить совесть, что вы испортили мне жизнь?

– А у нас мастер пришел в дирекцию, – сказал Гераскин, – заявил, что таскает детали, загоняет на рынке. Стали выяснять, с чего это он объявился. Оказывается, ребята разыграли его, пуганули, что в проходной его просвечивали и зафиксировали на пленке. Если, мол, явится с повинной, то ничего ему не будет. Посмеялись, так он заявление подал, чтобы наказать ребят.

На это Сергей Дремов, наш книгочей и философ, сказал:

– Я так понимаю этого Ивана Голикова: он покаялся и поклялся как бы отмолить грех. Скажите, а у нас почему никто на колени не пал перед людьми, не поклялся отмолить свои грехи? Сколько следователей творили беззаконие, судьи, доносчики, их же сотни тысяч, что-то не слыхать, чтобы кто-то стал искупать вину. Как, Антон Осипович?

– На личности переходите? А мы вместе с вами голосовали. И бурно аплодировали. Для аплодисментов обе руки нужны. Работать некогда. Так вот и захлопали совесть.

Дремов набычился, пригнул свою лобастую круглую голову, в спор, однако, не кинулся:

– Несчастное ваше поколение, – сменил голос Сергей. – Ничего у вас не осталось, ни одного вождя, никого из тех, кому поклонялись. Я бы старался очистить душу.

– Голиков закон нарушил, – сказал Антон Осипович, – за это и раскаивался.

– Я вас понимаю, – сказал учитель. – Раскаяние дело непростое. Нужно исповедоваться, чтобы оценить свои грехи. Самому трудно. Священник помогает. В исповеди участвуют трое: тот, кто рассказывает, кому рассказывает и третий – Христос. В одиночку не одолеть. Я вам расскажу историю, которая произвела на Голикова сильное впечатление. Один чиновник в петровские времена присвоил себе казенные деньги, несколько тысяч рублей из кабацких сборов. Совесть не давала ему покоя, и, будучи на исповеди, он открылся во всем священнику. Может, надеялся на прощение или что священник посоветует деньги пожертвовать на бедных. Но священник сказал, что такой грех прощения не имеет и надо вернуть деньги казне. Чиновник согласился, сказал, что готов бы, если бы не гнев царский, – боится, что пострадает не только он, но и жена и дети. Священник возразил, что нельзя загладить грех, боясь наказания. Надо наказание принять. В евангельской притче отец принял раскаяние заблудшего сына, и государь Петр должен принять раскаяние чиновника,. Чиновник решился, положил деньги на блюдо, пришел к Петру, положил перед ним блюдо и в ноги бухнулся. Признался в хищении. Петр поднял его, сказал как принято: „Бог простит!" и велел рассказать, почему чиновник признался. Тот все рассказал. Петр чиновника поблагодарил, призвал священника, тоже поблагодарил.

– В этой назидательной истории мне что интересно, – сказал учитель, – то, что Петр понимал, как трудно самому человеку, в одиночку, дойти до раскаяния. Видимо, и Петру такое было редкостью.

12 Заказ № 164

Глава шестнадцатая



ЦАРСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

Дремов читал „Три мушкетера“. В который раз, и не мог оторваться. Профессор подсмеивался над ним – ребячество. Дремов не спорил. Когда кончил, сказал:

– Великая книга! Полтора века не стареет.

– Она для детей, – заметил профессор.

– Она для всех. Люблю этих парней. А как интересно! Не знаю, как там насчет точности, но король, королева, кардинал, герцоги – все личности исторические.

– Дюма говорил, что история всего лишь гвоздик для его картины.

– Таких гвоздиков и из нашей истории не мешало бы наготовить. Чтобы весело, с приключениями, погоней, чтобы была королева, то есть царица, и первые министры, и любовь. А то у нас всюду серьезность звериная, проблемы решаем.

Вечером заговорили об этом с учителем. Он отмалчивался, занятый своими мыслями, но явился Гераскин с „малышом“, то есть с четвертинкой. Если пить умеючи, то с малыша четверо мужиков могут повеселеть. Уменье приходит, когда водки мало, когда ее совсем мало, когда ее надо не глотать, а впитывать.

Позже появился Антон Осипович, принюхался, укоризненно покачал головой.

– ...Вот только насчет любви тут будет недостача, – начал учитель, как всегда опустив вводные фразы. – Хотя кой-какие подозрения на любовь у меня имеются.

Итак, стали поступать царю Петру сигналы о самоуправстве, а главное о казнокрадстве сибирского губернатора, князя Матвея Гагарина. Давно уже шли доносы, но пресекались. Как ни станут проверять – все в порядке. На все бумаги имеются,

да и не просто подступаться: один из видных людей, славен родом старейшим, идущим от владимирских князей, – Петра и без того упрекали, что родовитых бояр притесняет. Кроме того, князь был известен заслугами еще в бытность комендантом Москвы. В Сибири тоже многое ему за десять лет губернаторства ставилось в зачет. Развитие золотодобычи, например.

Петр стал доверять ему, когда тот показал свою честность и неподкупность, работая судьей в Сибирском приказе. Государь поставил его в 1711 году губернатором Сибири. И суд оставил ему. Суди праведно! С того времени Гагарин чувствует себя полноправным хозяином. Жаловаться на него некому. К тому же у него родство с канцлером Головкиным, дружба с всесильным Меншиковым. До столицы доходят слухи про какие-то махинации Гагарина. Ушей много, да, похоже, в них дырок нет. А слухи, как жучки-точильщики, – честный еще недавно служака свернул, мол, на разживу. Богатство идет ему в руки со всей необъятной Сибири. Вскоре уже кушанья подают на серебряных блюдах. Серебром окованы колеса его кареты. Придумал подковы лошадям делать серебряные, как в сказке. В Москве дворец отстроил – потолок в зале стеклянный, над головой рыбы плавают – аквариум. Сын путешествует по заграницам, сорит деньгами.

С одной стороны идут к Петру рапорта от Гагарина самохвальные, с другой доносы не прекращаются. Обер-фискал Нестеров вник в дело и сообщил, что губернатор берет с купцов, за подарки позволяет незаконный торг, присваивает вещи, купленные казной. Роскошествует все наглее. Иконы у него бриллиантами осыпанные во всех углах. А с поличным поймать никак не выходит, документы в полном порядке.

Что делает Петр? Вызывает Гагарина в Петербург для участия в суде над царевичем Алексеем. Сам же пригласил к себе одного из верных своих полковников, приказал ему ехать в Сибирь для проверки губернатора.

К тому времени Петр понял, что взятки в России не одолеть, но казнокрадство – другое дело, прямо-таки на глазах растаскивают государство.

Лично проинструктировал полковника. Знал, с кем тому придется иметь дело. Выехать приказал тайно, по дороге соблюдать инкогнито, осторожно расспрашивать жителей о сибирском губернаторе и собирать жалобы. Приехав в Тобольск, не торопиться к местному начальству. А если заподозрят? У Петра была заготовлена наиболее правдоподобная легенда – полковник едет на китайскую границу. Здесь же он остановился для снаряжения. Тем временем исподволь вести расследование, и если улики будут налицо – вот тогда объявиться. На этот случай Петр вручил указ. По нему полковник имел право опечатать канцелярию губернатора, изъять все нужные бумаги и в запечатанном виде доставить в Петербург. Петр наставлял полковника как можно подробнее, понимая, что Гагарин ни перед чем не остановится.

Однако даже Петр не догадывался, с какой стороны ухо торчит. Несмотря на принятые меры, государыня узнала о секретной миссии полковника. Конечно, от нее специально не хоронились. Возможно, Меншиков проведал через кого-то и попросил государыню вмешаться. Меншиков к тому времени был связан с Гагариным какими-то делишками по золоту. Екатерина успела перехватить полковника перед отъездом и стала просить, чтобы тот скрыл от государя, если что вызнает. Тут, возможно, был и ее собственный интерес – не первый год Гагарин слал драгоценности государыне. Это потом выяснилось, что щедрые свои подарки он оформлял за счет казны, так что ему они ничего не стоили. Упрашивала она полковника настоятельно, чего сулила, неизвестно, но он уступил, дал ей обещание.

Некоторые историки считают, что она имела от Гагарина огромную сумму, часть ее употребила на подкуп полковника. Перед такими деньгами полковник не устоял, хотя и был старый боевой солдат.

Итак, князь в Петербурге был предупрежден, его нарочный помчался в Тобольск, обгоняя царского посланника. Полковника „вели“ – на пути подсылали ему специальных людей, они рассказывали что нужно, разыгрывали свои роли, спектакль

разворачивался, главное же действие произошло в самом Тобольске. Представлены были свидетели против всех обвинений князя, у свидетелей имелись документы...

Полковника можно было обмишулить, но Петра провести было нелегко. Мало кто мог похвастаться этим. Про Екатерину он ничего не знал, жена Цезаря оставалась вне подозрений, должна была быть, но что-то он учуял. А может, хотел подстраховаться. Знаю лишь, что спустя несколько дней посылает он в Сибирь одного из своих денщиков. Денщики были наиболее верные Петру люди. Несколько молодых офицеров, которые день и ночь несли службу, каждого он изучил досконально. Приказал этому денщику ехать в Тобольск, конечно, избегая, прежде всего, встречи с полковником, так, чтобы тот ничего не почувствовал, ни о чем не догадался. По приезде в Тобольск посмотреть, если бумаги губернатора не опечатаны – опечатать, привезти их с собою независимо ни от чего. Об указанных преступлениях – разведать, опросить, приехав обратно, доложить лично государю. Ехать всю дорогу тайно, чтобы ни одна душа не догадалась, кто и зачем следует в Сибирь. Денщик выполнил все в точности. Прикидывался выпивохой, гулял, то ли с горя, то ли наследство прокучивал, не поймешь. С полковником разминулся, ловко обманув ямщиков и караульных. Полковник спешил в Петербург с докладом. Петр принял его как ни в чем не бывало. Слушал внимательно. Про то, что доносы на губернатора не подтвердились, никаких серьезных нарушений закона и преступлений не обнаружено, в Сибири поведением его довольны. Петр кивал благодушно, вроде бы довольный.

В Тобольске же появление нового царского уполномоченного застало всех врасплох. Там считали, что всякая опасность миновала. Посланник опечатал канцелярию, изъял все бумаги и стал опрашивать чиновников, служилых, купцов. Преступления губернатора быстро подтвердились. Все как-то вдруг поняли, что раз бумаги опечатаны, губернатор не вывернется, да и по настойчивости молодого офицера ясно стало: ничего он не боится и на уступки не пойдет.

Прибыв в столицу, денщик выложил перед царем все добытые сведения. При нем Петр вызвал полковника и заставил выслушать доклад.

Полковник упал на колени. Не мог он, не осмелился отказать в просьбе ее величества государыни.

То, что это исходило от Екатерины, глубоко уязвило Петра, от кого угодно он мог ожидать, но от своей жены...

– Ты кому присягал в верности! – кричал он в ярости. – Мне или моей жене?

Полковник рванул на себе мундир, обнажил исполосанную шрамами грудь, плечо, прорубленное под Полтавой, тело солдата, искалеченного войной.

– Вот вам моя верность, вот моя присяга!

Раны, полученные под Полтавой, всегда вызывали у Петра умиление, и тут он в какой-то момент смягчился.

– Я готов поцеловать твои раны, – сказал он, – но они ничего не меняют, ты остаешься укрывателем злодейства. Ты изменил своей присяге, а я присягал карать всех нарушителей закона, невзирая на чины и заслуги. И своей присяге я не изменю.

Тогда полковник привел последний свой довод – он боялся поссорить царя с супругой. На это Петр лишь усмехнулся:

– Ты не мог нас поссорить. Я дам моей жене взбучку, вот и все. Но ты будешь повешен.

Так оно и было.

Состоялся суд над князем Матвеем Гагариным, сибирским губернатором. Приговорили его к смертной казни. Петр со своим двором наблюдал из окон Юстиц-коллегии, как вешали князя. И Екатерину заставил смотреть. За Гагариным был казнен и полковник. Ему была оказана милость – за его боевые заслуги был он не повешен, а расстрелян.

– Да... вот это... аксессуары... – произнес Гераскин с восхищением.

Помолчали.

Дремова в этой истории более всего занимала Екатерина.

Как она пошла на такое? С чего? Неужто она, царица, имела с этого Гагарина интерес?

– Брала, – подтвердил учитель. – То есть следственных материалов на нее, кажется, нет, судя, однако, по косвенным показаниям, принимала подарки и золотом и деньгами. Вначале вступалась за людей по доброте. Спасала от ссылки. А то и от плахи. Все кругом за меньшее брали. И она стала брать. Вернее, принимать стала дары. И от Гагарина.

Все-таки никто не понимал, в голове не укладывалось – царица, и берет взятки. Глупо.

– Почему же глупо? Мало ли как повернется судьба. Как посмотрят потом на литовскую крестьянку, случайно подобранную Петром по совету Меншикова? Есть предположение, что она переправляла свои капиталы в гамбургский банк, открыла там счет на чужое имя.

– Смотри, когда началось, – сказал Антон Осипович.

– Ну бестия, – сказал Гераскин. – Впередсмотрящая. Ее бы кнутом.

– Не мог. Петр любил ее. Перед Екатериной был слаб. Чувство его, может, дало трещину, но Екатерина всячески старалась заживить рану. Она это умела. Как писали современники, она словно плющом обвила Петра.

– Ну как, годится? – спросил у Дремова профессор. – Не хуже Дюма.

– Чего ж тут веселого? Грязь и подлость.

– Не говорите, в руках умелого беллетриста эта история заиграет как природный алмаз, ее надо мастерски огранить, снабдить хорошей оправой из дворцовых интриг, измен, погони...

– Для вас история – это сюжеты, – неодобрительно сказал Антон Осипович. – Я так считаю, что она уроком должна служить. Это пример, как надо наводить порядок. Только строгостью у нас можно. Кнутом да виселицей. Ведь не посчитался, что князь, к тому же губернатор. Эх, сейчас бы публичные казни устроить! Страх нужен. Без страху власть не может быть прочной.

– Нет, Антон Осипович, – сказал учитель. – Если бы можно строгостью, Петр нагнал бы страху на сто лет вперед. В том-то и фокус, что никакие наказания наших мздолюбцев не останавливали. От этой напасти лекарства никто не нашел. Под конец царствия Петра словно бы эпидемия разразилась. А ведь он, как никто, постиг природу взяток. В одном из указов он писал, что если начальник станет „лакомства ради грешить“, то из страха, чтобы подчиненные не выдали, он и их привлечет к мздоимству, и окажется от них в зависимости, „отчего государству не только бедство, но и конечное падение“.

Один историк подсчитал, что из ста рублей, собранных с обывательских дворов, в те годы тридцать шли в казну, остальное чиновники разбирали. Петр изнемог в борьбе со взятками и казнокрадством. Но он продолжал, не сдавался. Его обвиняют, что он доносительство поощрял, так он за фискальство схватился как за последнее средство. Тогда же, когда Гагариным занимались, виновными в махинациях с казенными подрядами были найдены еще губернаторы смоленский, казанский, вице-губернаторы Ершов и Корсаков. Из вельмож такие, как Апраксин, Головкин. Еще бывший кравчий Салтыков, обер-секретарь Неелов. Чиновников же, подьячих – превеликое множество. Граф Яков Брюс, начальник артиллерии, ученый, кстати говоря культурнейший человек той эпохи, замешан оказался в подрядах по артиллерии. Хапанул. Петр ничего не мог понять. Ну Меншиков, отпетый жулик и ворюга, – кричал он Брюсу, – ему лишь бы копить, у него нет ничего за душой, дорвался до власти и гребет, а ты-то что, ты ж ученый человек, календари составляешь, тебе зачем красть?

Шло дело о взятии Яковом Долгоруковым прибыльных денег, шло дело Курбатова. Обер-фискал Нестеров – уж этот-то искоренит казнокрадство, для того и пришлось утвердить фискалов, Нестеров, который так яро взялся за эту грязную работу, себя не щадил, терпел и презрение, и ругань, и ненависть, – тоже не выдержал, поддался, стал брать. Довел себя до плахи. И его казнили, главного фискала России. Так что и это учреждение не оправдало надежд петровских... Но Петр вновь и

вновь кидался в бой, рубил эту гидру со всей своей богатырской силой. Рубил почти буквально, то есть головы летели безостановочно. Наказывал без различия званий и должностей, именитых всего строже. После казни царевича Алексея он уже никого не жалел, разве что Меншикова, своего любимца выгораживал, но дошло под конец до того, что и его отдал под следствие. Все это слишком печально... лучше послушайте нечто комичное.

Жил-был обер-секретарь Сената. Работник хороший, знающий. Некоторое время трудился исправно, неподкупно. Потом, как выражались в ту пору, прельщен был. Стал брать – по принципу „чем я хуже". Вскоре, как водится, построил большой дом, обставился, накупил ковров, посуды.

Однажды завели об этом разговор между собою петровские денщики. Стоя на запятках царских санок, они громко обсуждали новые приобретения обер-секретаря, удивлялись, откуда такие средства у простого чиновника, живущего на жалованье, дворянского звания не имеющего, наследства также...

Петр слушал, не вмешивался. Когда проезжали мимо дома обер-секретаря, Петр зябко передернулся, предложил заехать погреться. Хозяин находился в Сенате, хозяйку Петр успокоил – ничего особенного, завернул по пути, перевести дух от мороза. Нахваливал дом, убранство, попросил показать покои, спальню. Поблагодарил за приют, приехав в Сенат, сказал обер-секретарю, что побывал в его доме, хорош дом, дворянин, имеющий тысячу душ, не смог бы лучше обставить.

По своей привычке Петр ничего не откладывал, и награждать, и наказывать, и проверять любил тотчас. Позвал обер-секретаря после заседания Сената в отдельный кабинет, спросил, на какие такие деньги сооружен дом.

Стал секретарь крутиться, мол, экономия, копил копейку за копейкой, в долги влез, друзья помогли. Слушал-слушал Петр его увертки и приказал следовать за собою в крепость. До крепости добрались молча, через одни ворота, другие, часовые открывали двери, пока, наконец, очутились они в пы-

точных камерах Канцелярии Тайных розыскных дел. Офицеры, вытянулись, ожидая приказаний. Обер-секретарь впервые увидел дыбу и прочие инструменты. Петр подождал, затем спросил, не хочет ли он признаться во всем. В гневе Петр был грозен до ужаса, но и в суровости внушал страх – глаза его округлялись, лицо начинало подергиваться. Было известно, что в такие минуты спастись можно было только чистосердечным признанием. Когда Петру каялись, ничего не утаивая, он успокаивался и уменьшал наказание. А то и вовсе прощал. За признание – прощение, – повторял он, – за утайку нет помилования. Лучше грех явный, нежели тайный.

Обер-секретарь пал на колени, признался, что дом построен на взятки, и утварь вся, и рухлядь, все от поборов, рассказал с кого, за какие дела, сколько брал.

Ничего не скрыл. Петр не смягчился, глядел хмуро.

– Поздно, братец. Тебе б все это в Сенате следовало сообщить. А ты себя допустил до этого места. Здесь ты кнута испугался. Без него, видимо, не сознался бы.

И тут же приказал дать ему без свидетелей несколько ударов кнутом. Милостивых, конечно, потому что настоящие удары вещь страшная, с третьего кровь, с десятого ребра показывались.

На том обер-секретарь был отпущен.

Дня через три, будучи в Сенате, Петру понадобился обер-секретарь для справки. Доложили, что нет его, болен. Зная причину его болезни, Петр призвал его к вечеру во дворец. Обер-секретарь явился. Будто ничего и не было. Петр изложил дело, которое надлежало срочно исполнить. Обер-секретарь пал на колени и стал уверять, что не в состоянии нести свои обязанности и звание, поскольку обесчещен, на людях не может более показываться, следует восстановить его честь. Для этого очистить его, прикрыв знаменем. Существовал такой обычай для офицеров. Реабилитация. Когда выяснялось, что зря наказали человека, его перед строем прикрывали знаменем, и он возвращался избавленный от всех обвинений. Если, конечно, не был полностью искалечен пытками.

На слова обер-секретаря Петр только головой покачал.

– Ну и дурак же ты... Теперь никто понятия не имеет, что ты наказан, а тогда всякий узнает, что ты бит был, да при этом кнутом.

И предупредил, что на сей раз прощает его исключительно по надобности в делах, повторится подобное – будет высечен публично, а то и казнен без всякой пощады.

– Все цари боролись со взятками. Даже временщик Бирон боролся, – сказал профессор. – Интересно было бы знать, какие результаты давали все строгости... Шереметев – зачем ему?

– Брали не обязательно деньгами. Иногда подношения навязывали. Трудно уклониться. Дарили лошадей, меха, сбрую, палатки походные, быков дарили, табакерки, да мало ли как исхитрялись. А Шереметева Петр душевно как бы отлучил от себя – нетерпим был к нечистым на руку.

– А насчет фискалов? Почему слово это бранным стало? – спросил Гераскин.

– Думаю, что фискалы злоупотребляли доносами. Петр ухватился за это, как за последнюю возможность контроля. Доносчиков соблазняли всякими наградами. И сам Петр неприятную манеру взял – будучи впервые в гостях, присматривался к дому, к достатку хозяина. Причем виду не подавал, компании не портил, был снисходителен.

– Небось, в каждом чиновном доме жили не по средствам, – сказал профессор.

– Пожалуй что так.

– Простой у него способ, – сказал Гераскин. – Посидел в гостях, выпил, закусил, и пожалуйте к прокурору. Я тоже иногда в гостях думаю – откуда у хозяев это все?

Однажды в отчаянии Петр приказал Ягужинскому подготовить указ: „Всякий вор, который украдет настолько, что веревка стоит, без замедления должен быть повешен“.

Ягужинский отказался. „Государь, – сказал он, – разве ты хочешь остаться без подданных? Все мы воруем, все, только одни больше и приметнее других".

Но Петр не отступался, он впервые объявил виновными дающих взятку, назвал их лиходателями, приказал карать наравне с лихоимцами. Выбирали бурмистров, и, если кто подкупал выборщиков и кто брал деньги, одинаково приговаривались к битию кнутом и ссылке на вечное житье в Азов.

Боролась со взятками и Екатерина Вторая, и Павел, все цари боролись. Безуспешно.

Петр же оборонялся до последнего, именно оборонялся, видя, как со всех сторон и дальние, и ближние, самые верные его единомышленники „подкапываются под фортеции правды".

После виселицы, на которой закачался Гагарин, пытают и публично секут петербургского вице-губернатора. Следователь по делам о казнокрадстве, тот, кто борется со взятками, уличен в оных и расстрелян. На кого ни обращается взгляд Петра, все замешаны, замараны. Он убеждается, что „всяк человек есть ложь". Надо еще жестче, еще страшнее, ему остается только „жесточь".

Однажды при пожаре Петр увидел, как солдат взял кусок оплавленной меди. Петр так вспылил, что ударом своей дубинки уложил солдата на месте, насмерть.

– Так нельзя, – сказал профессор. – Этому оправдания нет.

Молочков зажмурился, тоскливо замотал головой.

– ...Ох знаю, знаю. Но не могу судить его. Вы поднимитесь туда, к престолу, оттуда посмотрите, что творится. Нам думается, что снизу виднее. Нет, дорогие мои, сверху как на Россию посмотришь, на ее губернаторов, на местных грабителей, сердце трещит от ярости.

В своей борьбе с мздоимцами Петр чего только не перепробовал, ставил опыт за опытом. Был такой характерный случай. По Москве давно ходил слух об одном умелом стряпчем. Стряпчий этот знал и новые и древние законы. На судах он часто судей поправлял, не мог удержаться, хотя это вредило

его делам. Закон был для него превыше Творца, со всей твердостью он защищал подзащитных, только требовал от них полной откровенности. Узнав про такого рыцаря законности, Петр захотел с ним познакомиться. Уж больно необычно было подобное поведение среди стряпчих. Стряпчий все рассказал. Петр выслушал, не поверил. Послал соглядатаев. Те подтвердили его честность. Второй раз призвал, расспрашивал про тяжбы, про дела, которые стряпчий вел. Понравился он Петру. Настолько, что решил назначить его новгородским губернатором. Сразу на такую высокую должность! На общее удивление, Петр отвечал: во-первых, этот человек превосходно знает законы, во-вторых правдолюбив, в-третьих, ни подарки, ни угрозы не повлияют на его правосудие.

Стряпчий заверил Петра, что свято будет исполнять свою должность во славу государя. И честно держал свое слово. Год прошел, другой, Петр его в пример ставил, хвалился своим выбором. Еще прошел год, и стали проникать к царю нехорошие слухи о новгородском губернаторе. Продает должности, берет за подряды. Петр не поверил – „Я лучше вас знаю этого человека, – говорил он, – губернатор безупречен".

Выяснилось, что губернатор берет – и подарками, и деньгами.

Государь вызвал его, привел факты уличающие, постыдные. Губернатор не стал запираться. Признал, что брал от жуликов, выносил решения в их пользу. Что продавал должности, звания.

Петр схватился за голову.

Не в наказании было дело, Петру причину хотелось выяснить, до сути докопаться. Как же так, будучи простым стряпчим, человек соблюдал себя, а стоило его за честность поднять, стал творить те же беззакония, что и прочие. В чем тут секрет, откуда взялась эта скверна?

Губернатор сорвал с себя пышный парик, был весь в поту, пот мешался со слезами. Нет, не сразу он исплошал, держался как мог, старался жить честно, не получалось. Жалованья хватало только на скудное пропитание, о том, чтобы скопить что-

то для детей своих, и думать не приходилось. Брал в долг, чтобы вывернуться; отдавать сроки подступали, а нечем. Нечисть чует, суют со всех сторон, уговаривают, ну и не выдержал, соблазнился. Раз, другой сошло – и поехало как по маслу.

И так он искренне поведал о своем искушении, что Петр задумался. Причина, как ни смотри, мала, чтобы честь переступить.

– Честь добра, – соглашался губернатор, – да съесть нельзя.

– А что ж ты раньше соблюдал себя, внизу не соблазнялся, куда меньше имел.

Все правильно, подтверждал губернатор, бумаги составлял в трактирах, по судам бегал за грошовую мзду и не переступал, соблюдал себя. В губернаторском же доме со слугами да с гостями по-другому жить приходится. Свободы такой нет, чтобы в холщовой рубахе ходить.

– А много ль тебе надо, чтобы ты не стал брать ни взяток, ни подарков, справлял бы свои дела неподкупно? – поинтересовался Петр.

– По крайней мере, еще столько, сколько я получаю жалованья, – отвечал губернатор.

– И будет тебе достаточно? – допытывался Петр. – Не будешь льстится ни на какие посулы и прибыли?

– Не буду, не буду, – заверял губернатор. – Если нарушу, накажи меня самым страшным образом.

Поразмыслив, Петр, в нарушение всех правил, простил губернатора и распорядился увеличить его жалованье не вдвое, а в два с половиною раза.

– Если же нарушишь, ослепишься золотом, будешь повешен. Пощады тогда не будет, не надейся! Обещаю государевым словом.

Губернатор пал на колени, благодарил, лил слезы, клялся всеми святыми строго хранить себя, ни на что не поддаваться.

Несколько лет все шло как нельзя лучше. Жалоб не поступало, губернатор держал слово. Но вот постепенно, потихоньку принялся он за прежнее. Как он потом пояснял, думал, что

государь позабыл о прошлой истории. Петр, однако, не мог забыть, потому что ему надо было понять, можно ли прекратить злоупотребления, если платить больше, можно ли страхом удержать лихоимца. Сведения о новых злоупотреблениях губернатора подтвердились. Было от чего прийти в отчаяние. Что ж это за страсть такая неудержимая? Большими деньгами не остановить, страх смерти и тот бессилен. Хоть голова с плеч, все равно возьму, рука тянется, берет, и никакие клятвы на нее не действуют.

Петр приказал судить губернатора. Осужденному на казнь передали слова царя: если он, губернатор, в своем слове не устоял, то царь в своем устоит.

Новгородский губернатор и не просил помилования, похоже, он сам изумлялся бессилию своему перед нечистой силой.

Так, повторяя „нечистый попутал", взошел на виселицу.

И был повешен. Опыт не удался. Казнь была поражением Петра. Отступить он не мог, бороться обязан был, да только как? Чем, кроме казней? Безнадежность озлобляла Петра, он должен был уничтожать эту пакость, не может того быть, чтобы не отыскать честного человека. Вешал, на кол сажал, видел, что проку нет, порок был то ли в механизме государственном, то ли в устройстве русской жизни, найти не мог. Все мог, а тут не получалось.

– По-вашему, это был сознательный эксперимент? – усомнился профессор.

– Уверен, – сказал учитель. – Петр пытался осуществить рациональный подход к человеку. Удовлетворим его потребности, и он перестанет воровать. Зачем воровать? Человек ворует, если ему не хватает. Согласно тогдашнему учению немецкого юриста Пуфендорфа. Логически разумно. Петр следовал этому учению, а не получалось.

– А что если нечисть эта в нашем характере коренится? Нигде так не воруют, как в России.

– Позвольте вам возразить, профессор, – сказал Дремов. – Во-первых, статистики нет. Сколько, допустим, крадут на душу

населения. Сколько у нас воров приходится на тысячу граждан, как мы выглядим по сравнению с передовыми странами мира.

– В России, как воровали при Петре, как брали, так и берут. Может, больше. Много больше, – подтвердил Антон Осипович.

Уж он-то знал , он эту чиновную братию хорошо изучил.

– Сколько ни бился Петр, не мог решить эту задачу. Оставил ее нам. Страха Петр умел нагонять, боялись его до ужаса, и все же одного страха недостаточно.

Антон Осипович уверял, что сталинский страх больше действовал, при Сталине так открыто, нагло брать не смели. Видимо, в том страхе что-то еще было.

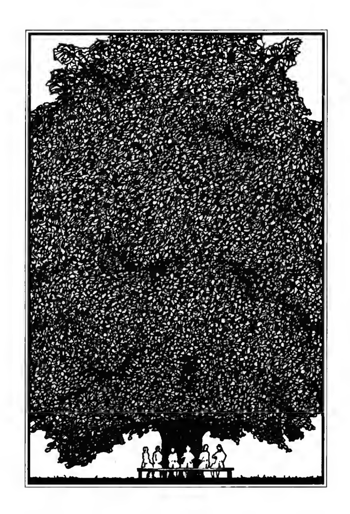
Профессор головой замотал.

– Пусть лучше берут, а того страху не надо.

Однако Гераскин не мог примириться с тем, что Петр не сумел вывести эту заразу в России, все мог, а тут не сдюжил. Как же так? – с укором обращался он к Молочкову, – какое наследство нам оставил, мучаемся, и неизвестно, сколько еще...

13 Заказ № 164

Глава семнадцатая



ДУБ УЕДИНЕННЫЙ

Однажды весной, проезжая по Васильевскому острову, Петр увидел в саду, за оградой, несколько цветущих молодых дубков. Остановился полюбоваться, постучал в дом, позвал хозяина. Вышел мужик, мастер канатной фабрики Адмиралтейства. Петр спросил про дубки – откуда выросли такие? Мастер испуганно объяснил, что, зная про заботу государя о бережении старого дуба в Кронштадте, задумал посадить дубки на смену. Выслушав, Петр растрогался, поцеловал мастера в лоб за старание. Назавтра по дороге на Петергоф он выбрал участок земли, шагами отмерил его, велел засадить дубками, обнести оградой, повесить строгое предупреждение – не обрывать, не портить молодые посадки.

Приехав в Кронштадт, вокруг старого дуба заказал сделать стол, лавки. Ему нравилось там сиживать с моряками. Нравилась раскидистость дуба, он любовался коричневыми, литыми, как пули, желудями, как плотно сидели они в шершавых чашечках. Найти бы в окрестностях столько дубов, сколько здесь желудей, вслух мечтал он, показывая красоту и совершенство желудя. Эти создания природы казались ему чудом.

Он не был сентиментален, дубы нужны были корабелам. Дубы и сосны. На один корабль шло три тысячи отборных деревьев. Двадцать пять верфей ежедневно требовали качественного леса. Надо было подвозить и подвозить бревна. Значит, вырубать леса, рощи, дубравы. Военные нужды не желали ни с чем считаться. Все для армии, все для флота! Рубить и возить, сотни возов, тысячи...

Кораблестроители считали, что Петр на все готов ради флота. На самом деле массовые порубки его тревожили все больше. Не в пример своим генералам и адмиралам, он держал себя в

ответе за всю страну с ее богатствами. Первым делом он остановил вырубки лесов вдоль рек, понимая, что леса защищают реки, торопыгам заготовителям легче рубить прибрежные леса, тут же спуская их на сплав.

Второе – запретил сводить на местные нужды качественные породы – дуб, клен, вяз, лиственницу, большие сосны. Запретил рубить на дрова строевой лес, годный под корабельное дело.

Такой запрет был непривычен. Подумаешь, дерево. Лес по дереву не плачет. Лесов в России хватало, не то что теперь; бережливость Петра всех удивляла. То ли он увидел, как на голландских и английских верфях каждое бревнышко считают, то ли это была хозяйская забота, потому как леса были казенные, значит, его собственные, а свое беречь надо.

– Почему у нас такого сознания нет? – спрашивал Антон Осипович. – Цари, выходит, были сознательней нас с вами.

– Монархия была самым лучшим строем для нашего леса, – заявил профессор. – Я из-за этого стал ее сторонником! Монарх заботится, чтобы леса сохранить своим детям в полном порядке. Монархическое сознание – историческое, царь все время имеет в виду, каким он останется в памяти народа, он постоянно оглядывается на отца, на деда, хочет быть не хуже, перещеголять их, для наследника старается, чтобы он не отрекался от деяний отца. Он знает, что все, что он делает, говорит, все войдет в историю. У него совсем другое чувство ответственности, чем, допустим, у какого-нибудь министра лесного хозяйства. Министр смотрит на нас, ученых, как на врагов, мешающих лесозаготовкам; царь, он бы нас привечал, потому что мы о его сокровище заботимся. Просвещенный монарх – самый полезный для русских лесов! При Петре к лесу и уважение, и страх появились. Он наказывать не стеснялся.

Петра как ученого профессор не воспринимал. Но Петра как истинного лесовода он признавал. Про лес Петр понимал то, что специалисты до сих пор не понимают. Профессор не упускал случая пройтись в адрес министра, академиков, лесозаготовителей. В свое время это доставило ему немало непри-

ятностей. За острый язык его перевели в Карелию. Там он столкнулся с тем, как лютуют леспромхозы, сплошь истребляют леса, продают, жгут. Пытался остановить их, пока ему ночью не намяли бока. Поехал в Москву, в министерство, добился приема, ему предъявили заключение экспертов – они по-новому определили запасы леса и снизили возраст порубки, так что не придерешься. Первой стояла подпись его шефа. В Питере он спросил шефа – как вы могли такое подписать? Шеф, не стесняясь, объяснил – написал то, что просили, за это получил институт и тут же предложил ему, профессору Челюкину, лабораторию, которую тот много лет добивался, хороший оклад. Пришлось заткнуться, жить-то надо. И жить, и продвигаться. Не он, так другой бы нашелся. Все очень просто. Шеф считал свою сделку оправданной. Правда, сам он еще получил лауреата. С тех пор профессор утихомирился, усвоил, что стучать кулаком не может, не академик, время от времени надо гнуться, поддакивать, иначе дела не сделать. А лес по-прежнему рубят как хотят.

– Поймите, лес – это не деревья, не толпа, это живое существо, – говорил профессор совершенно серьезно. – Теперь, когда я бываю в лесу, я чувствую, что он перестал мне доверять. То, что растения чувствуют человека, факт давно известный. Они, может, знают про нас то, что мы не знаем. Все живое тайна. Некоторые ученые уверены, что они столько надээнкакали, что могут учить Господа Бога. Не надейтесь!

Он воодушевился, выпятил нижнюю челюсть, призывно простер руку.

– Саженый лес! Это же казарма! – он оглядел нас с отвращением. – Выставки бессилия! Чему учат детей: лес – арена жестокой борьбы за существование. Бедный Дарвин! Знаете, какое самое прекрасное из доступных нам чувств? Какое? – настаивал он.

– Любовь, – определил Серега.

– Нет и нет! Самое прекрасное – это ощущение тайны. Что такое любовь? Она жива тайной. Она и рождается тайной. А источник науки? Говорят – любопытство. Но откуда берется

любопытство? Потому что сталкиваешься с неизвестным. Появляется неясный, туманный лик тайны, черты ее скрыты, она молчит, но дыхание ее слышно. Прикосновение к ней – счастье. Я помню, как волновало меня поведение раненого дерева, почему оно сильнее цветет, почему на раненом дубе в пять раз больше желудей?..

Лесные истории хлестали из него сплошным потоком, он не обращал внимания, что его перестали слушать.

Нам было интересно про самого Петра, а не то, что домик его на Петербургской стороне Меншиков хотел ставить из дубового бруса, а Петр не разрешил. Трогательно, но, как сказал Серега Дремов, – мелковато.

Про лесные реформы Петра профессор знал досконально. Больше, чем Молочков, который слушал как завороженный, о разведении дубов под Таганрогом, Воронежем.

Они бы вдвоем остались – Молочков с профессором, как вдруг Серега Дремов ополчился на лесные страдания профессора, на всю его древесную идеологию, идиллию деревянной Руси.

Мысль у Сереги Дремова работала стихийно, никогда нельзя было предвидеть, куда она завернет. Ему не истина была нужна, ему сомнения интересны были. Он двинул их, как бульдозер, на профессорские леса, доказывая, что лесные угодья России не богатство ее, а несчастье, из-за них она застряла в своем развитии, превратилась в иждивенку, приживалку при лесах. Никакого почтения к русскому деревянному зодчеству он не испытывал, деревянные деревни, дощатые тротуары, рубленые церкви – все это не от ума, а оттого, что лес под рукой был, дешевка.

Пожар за пожаром уничтожали города, поселки. Да еще войны. Из века в век огонь пожирал нажитое, и опять ставили те же срубы, ладили те же деревянные мосты, склады, колодцы, скотные дворы, гумна. Леса-то немеренные. В тех же Швеции, Финляндии все строили из камня. Вся Европа камнем обустраивалась. А у нас не сгорит, так сгниет. Нашли чем хвалиться – топором! И мы могли бы чудеса показать. Возьмите церк-

ви новгородские, хоть XII века, хоть XV. Умели же делать красоту неписаную. Каменную, между прочим. Озеро, холм травяной, и вдруг посреди наших избушек почернелых бриллиант граненый сверкает. Храм, и такие пропорции, такая стройность, каменные чудеса. На Западе каменные симфонии, а у нас ноктюрны, еще слаще. А если бы дома каменные строили, Россия дошла бы к нам из тех веков в самом волшебном виде, мы и вообразить не в силах красоту наших уездных городков.

– Все дерево ваше виновато, из-за него обленились, чего стараться-корячиться, бери – не хочу... Не везет России, лесов видимо-невидимо, земли девать некуда, всего невпроворот, от богатства обленились, а тут еще победы военные. От побед и чванство, и пьянство, и отрезветь неохота. Несчастная страна, – рассуждал Дремов. – Интересно, Россия при Петре чувствовала себя несчастной?

– Нет, не замечал, – улыбаясь, сказал Молочков. – Страна уже давно томилась своею отсталостью от европейских народов. Петр не насильничал, Россия сама хотела стать другой. Что мешало после смерти государя вернуться к прежним порядкам, влезть в старые одежды? Нет, не захотели.

Не похоже, чтобы профессор соглашался, он нежно гладил свою бородку и незаметно передвинулся на более выгодные позиции, откуда можно было доказывать ненаучность истории, ибо у нее нет законов, на нее нельзя опереться, она в этом смысле бесполезна.

– Вашему брату историку, – сочувственно приговаривал он, – хочешь не хочешь...

– Я не историк, – немедленно поправлял Молочков.

– Пусть вашему двоюродному брату, – соглашался профессор, – ему всегда известно, что случится дальше. Вы не можете избавиться от этого знания, и это накладывает свой отпечаток на ваши суждения. Вы невольно видите, правильно или неправильно поступает человек, а ведь люди того времени понятия не имели о результатах своих действий. В наших есте-

ственных науках мы разве знаем, что нам откроется? Наш поиск может завести в тупик, теория может оказаться ошибочной, истина прячется от нас.

Поиски ее были у Челюкина исполнены романтики и трагических заблуждений.

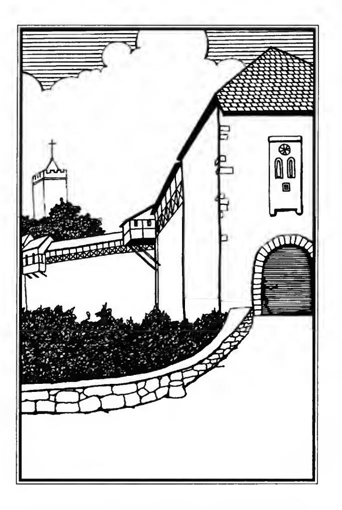
Молочков кивал, поддакивал, можно было подумать, что он отступал, затем, признавая все преимущества биологии, он начинал с того, как история обрастает мифами, иногда, если удается их снять, открывается совершенно непредвиденное. Привел несколько забавных примеров. На нас произвел впечатление, наверное, не самый значительный – про дубинку Петра, знаменитой, известной всем, которой он часто лупцевал нерадивых. Петровская дубинка стала чуть ли не символической для Петра. Но вот однажды морские историки показали Молочкову нечто иное – петровскую трость. Легкая, из пальмового дерева, Петр ходил с ней чаще, чем с дубинкой. На гранях трости сохранились надписи и блестели медные шляпки гвоздей, расположенные в каком-то сложном порядке. Оказывается, они отмечали разные меры, надписи поясняли: аршин русский, английский, страсбургский, датский, шведский, римский...

Она служила Петру для замеров на верфях и на стройках. Вот ее назначение. Попутно он, конечно, мог лупануть ею какого-нибудь растяпу, причинив прежде всего унижение.

А считалось – дубинка!

И следом Молочков рассказал про то, как Петр расправился с одним мифом.

Глава восемнадцатая



ЧЕРНИЛЬНОЕ ПЯТНО

Будучи проездом в саксонском городе Виттенберге, Петр спросил хозяина гостиницы, что примечательного для иностранца есть у них в городе? Такой вопрос он задавал повсюду, где бы ни останавливался. Хозяин показал на собор напротив гостиницы: здесь гробница Мартина Лютера, на воротах этого собора пастор когда-то прибил свои знаменитые тезисы. Петр вышел из гостиницы, пересек улицу, осмотрел низенькие деревянные ворота собора, прошел внутрь к гробнице и долго разглядывал изображение Лютера из меди.

– Я видел этот барельеф в Виттенберге в конце войны, – сказал Молочков, – и понимал, как нравился Петру этот грубоблицый, широкоплечий мужик, который поднял мятеж против Папы. Петру должна была быть близка борьба Лютера за реформу церкви. Ему нравились простые, ясные положения Лютера о том, что каждый христианин сам себе священник, что духовные лица подчиняются общине, что церковные наказания, равно как и праздники, – не нужны, что Папа Римский не может быть наместником Бога на земле.

Узнав, что сохранился дом Мартина Лютера, Петр решил посетить его и тут же отправился на другой конец города.

– Я тоже проделал этот путь, – смущенно признался учитель. – По главной улице маленького этого городка.

К моменту посещения Петром Виттенберга прошло двести лет с тех пор, как тут жил Лютер, дом его был превращен в музей. Петру показали двор монастыря, место, где Лютер публично сжег папскую буллу, затем провели в кабинет его. Как достопримечательность монах показал высокому гостю знаменитое чернильное пятно на стене. Легенда гласила, что, когда Лютер сидел за столом, работая над своими сочинениями,

явился к нему дьявол и разными уговорами стал сбивать с толку. Чего он там наговаривал, чем отвлекал, неизвестно, – то ли защищал Папу Римского, то ли был против реформы церкви, может, ему не по душе был перевод Библии, которым занимался Лютер. Словом, всячески мешал человеку работать. Недолго думая, Лютер схватил чернильницу и запустил ею в дьявола. С тех пор пятно никак не отмывается.

Великое множество посетителей выслушивало эту легенду с почтением, даже с некоторым восторгом.

В сущности именно это пятно приманивало сюда многих посетителей. Редко кому повезет увидеть дьявола, а тут хотя бы остались следы его пребывания.

Русский высокий гость, однако, вместо того чтобы ахать и удивляться, послюнил палец и стал тереть чернильное пятно. Фыркнул и, взяв мел, написал на стене: „чернила новые, и совершенно сие неправда“. Свите своей пояснил, что чернила мажутся, легко сходят, да и не могло быть, чтобы такой мудрый муж, как Лютер, мнил дьявола видимым. Чувствуете, как вопрос повернул: дьявол – воплощение зла, с этим он согласен, но, чтобы дьявол явился в телесном обличье, чтобы кидаться в него приходилось тяжелыми предметами, извините, это несерьезно, так с дьяволом не борются. Можно подумать, что Лютер был темный, суеверный.

Петр так не считал. Проявлять высокомерие к предкам, наделять их предрассудками – недостойно, это признак ума поверхностного. Петр, именно почитая Лютера, усомнился в легенде и, кажется, был единственным, кто в то время громогласно защитил Лютера от глупости. „В этом весь Петр, настоящий ученый, а вы, Елизар Дмитриевич, сомневаетесь!“

– Откуда же пятно взялось? – спросил Гераскин.

– Попы нарисовали, – немедленно пояснил Антон Осипович. – Чернила-то свежие, царь уличил.

– Да я не про то. В принципе откуда взялось, – настаивал Гераскин. – С чего это они нарисовали?

– Я тоже интересовался, – сказал учитель. – Очевидно, так истолковали слова Лютера. Когда он переводил Библию, он

выразился в том роде, что дьявол мешал ему, сидел у него в чернильнице. То есть всякие посторонние мысли лезли. Образное это выражение изобразили буквально. Появилось пятно, наглядный, так сказать, след дьявола. Серьезные теологи требовали пятно удалить. Пятно замазывали, однако первым делом посетители спрашивали про пятно, просили показать, где оно, огорчались, узнав, что его нет. Приходилось восстанавливать по требованию масс. Нынче пятно это осталось только в Вартбурге, где Лютер переводил Библию. А вот в Виттенберге, когда я смотрел, там пятна уже не было, только подпись Петра на стене сохранилась, но думаю, что там тоже пятно восстановят, очень оно нравится публике.

– Извините, вас, что же, ради пятна в командировку туда посылали? – ехидно поинтересовался Антон Осипович.

– Нет, я там службу проходил, – пояснил учитель. – И такое, представьте, совпадение, что комдива нашего звали Петр Алексеевич и к тому же он жил как раз в той гостинице, где останавливался Петр. Мало того, он говорил, что в той же комнате за несколько лет до приезда Петра Первого останавливался его главный противник Карл Двенадцатый. Каковы совпадения! Вся история человечества полна совпадений самых странных.

– Значит, я так понимаю, Петр был неверующим, – сказал Гераскин, который всегда жаждал выводов.

– Конечно, – сказал Антон Осипович. – Умный человек, гений, как он мог в Бога верить!

Профессор фыркнул.

– По-вашему, одни дураки верят? Известно немало умнейших и ученнейших людей, которые верили и верят. Так же, как немало дураков среди атеистов.

Молочков отмалчивался, пока его не попросили высказаться. Совместить рационализм Петра с православием было непросто. Веру у Петра он не считал наивной, английский епископ, часто беседуя с царем в Англии, отмечал у него глубокие знания Священного Писания. Английские богословы вели теологические разговоры с русским царем, никто не заметил в нем

безверия. Человек того времени не мог представить себе мир без Бога. Религия защищала, человек чувствовал себя бессильным, он уповал лишь на милость Господа. Вряд ли в России тогда вообще можно было найти атеиста.

Смерть маленького Петра Петровича должна была привести государя к мысли о Божием наказании, рухнули все надежды, он был глубоко потрясен, преодолеть отчаяние могла только его сила воли, поддаться отчаянию значило открыть дорогу новым бедствиям.

„Неужто так свершаются великие дела, – спрашивал себя Молочков, – бесчувствием к собственному сердцу, ценой невыплаканных слез?"

Петр считал себя всего лишь инструментом в руках Господа, он служил идее самодержавия, и, когда он становился то шкипером, то бомбардиром, для него это было как для плотника сменить стамеску на рубанок; отделяя себя от персоны царя, он продолжал служить царю, помазаннику Божиему.

Вера и суеверие у него как у религиозного человека не совмещались. Дьявол, если существует, то как искушение, соблазн, как слабость человеческая, но уж, конечно, не с хвостом, рогами, не в виде змия. Суеверия возмущали Петра. Всякие чудеса, пророчества, заклинания, кликушество он воспринимал как вызов разуму, как атаку на просвещение, следовательно, выпад лично против него, Петра и, между прочим, как выпад против истинной веры. Откуда у него была такая нетерпимость к суевериям? Никто этого в нем не воспитывал.

В 1720 году горожане Петербурга были взволнованы чудом – в церкви на Петроградской стороне образ Божией Матери проливал слезы. Народ валом повалил туда. Толпились на площади перед церковью, толковали, почему да отчего плачет Богоматерь? Не иначе как оплакивает новый город. Ясное дело – этот болотный, дикий край... Заплакала же нынче не случайно – возвещает скорую беду всему государству, всему народу. Слухи ширились, возбуждали горожан.

Граф Головкин, государственный канцлер, явившийся на место происшествия, не мог разогнать людей, еле выбрался из ропщущей толпы. Немедленно послал гонца Петру, который находился в это время на строительстве Ладожского канала. Весть обеспокоила Петра, он слишком любил Петербург, свое детище, знал, сколько кругом недовольных, и понимал, как непрочна еще жизнь молодого города. Бросив все дела, вскочил в двуколку, гнал всю ночь, утром был в городе и сразу же направился в церковь. Священники повели его к плачущему образу Девы Марии. Икона как икона, никаких слез Петр не обнаружил, но все кругом твердили, что уже несколько раз из глаз Богоматери появлялись и текли слезы. Петр молча долго осматривал святую икону, затем, никак не выразив своего мнения, попросил священников снять икону и вместе с ней отправиться во дворец.

Приехав во дворец, в присутствии придворных и духовенства Петр тщательно исследовал икону, покрытую красками и лаком. Наконец, он высмотрел в углах глаз Божией Матери крохотные отверстия. Они были искусно затемнены, так что не сразу их можно было заметить. Показав их священникам, Петр повернул икону, уверенно оторвал оклад, снял заднюю накладку. Изнутри, возле глаз, открылись вырезанные углубления, где еще оставалось немного масла, оно удерживалось этой накладкой...

– Вот в чем секрет! – торжествующе воскликнул Петр. – Вот почему она льет слезы!

Он заставил всех присутствующих осмотреть найденное устройство и объяснил, что происходит: масло, залитое в выемки, пока прохладно, остается густым, нагреваясь, оно растекается. Во время службы пламя свечей разогревает лик, масло разжижается и сочится из отверстий.

Растолковав это, Петр попросил каждого пойти и огласить, что́ они обнаружили, чтобы рассеять всякие опасные толкования вымышленного чуда.

– Сей же сделанный, хитро сделанный, никакой не чудотворный образ оставляю я для Кунсткамеры, – заключил он.

Внешне Петр оставался довольным, не допытывался, кто мог пуститься на такое мошенничество, но втайне организовал следствие и не успокоился, пока не сыскал виновников.

– Настоящий атеист! – воскликнул Антон Осипович.

– Ну при чем же тут атеизм, дорогуша? – сказал профессор. – Он же не религию разоблачил, а мошенников. Религия от этого ущерба не потерпела.

– Не побоялся икону расковырять! – сказал Гераскин. – Надо же... А если бы не обнаружил ничего? Льются слезы, и все. Чудеса-то для верующего человека вещь обязательная. Христос чудеса творил, так ведь?

– Чудо – это нарушение законов физики, – сказал профессор. – Вера в Бога одно, а в чудеса другое. Поверить в то, что могут быть нарушены законы природы, может только невежественный человек.

– Ой не скажите, профессор, – сказал Дремов, – а если чудо не разрушает законы? Вот, например, поднялся человек в воздух. Или пошел по морю. Это единичный случай, закон тяготения на все остальное продолжает действовать.

– Все равно немыслимо такое нарушение.

– Э-ээ нет, я думаю, что не нарушение тут, а преодоление. Такие, допустим, силы в человеке появляются, что он преодолевает тяготение.

– Фу, Сергей, вы же образованный человек... Я вообще не понимаю, каково назначение чуда. Чтобы поверили? Выходит, Господь Бог нарушает логику законов природы, только чтобы заявить о своем присутствии? Мелковато.

Дремов вздохнул.

– ...А я признаюсь, братцы, завидую тем, кто верит. У меня бабка была, как она смерть легко встретила. За три дня объявила точно, когда помрет, приготовилась, белье чистое надела, светилась вся, благостная, торжественная, как будто куда-то переезжала, в хоромы. – Он вдруг тоненько, дробно засмеялся, лицо его дрогнуло.

– Бойся не бойся, а такая жизнь дерьмовая пошла, что и смерти не стоит, – упрямо сказал Гераскин. – Пить нельзя,

любить нельзя, поорать и то не рекомендуется. И шут с ним. Когда ни помирать, все равно день терять, – и запел:

Я здесь в больнице помираю,
И труп мой фельдшер уж купил,
Тебе червонец посылаю,
Что он за труп мне заплатил.

Учитель беззвучно засмеялся. От неслышного его смеха стало спокойнее, и разговоры о смерти показались не такими страшными. Никакая философия, никакая воля не устоят перед страхом в тот момент, когда это случается. Прошло у кого месяц, у кого больше, а пережитое в тот смертный инфарктный час, весь тот липкий ужас – как? уже? неужели уже? – не уходил. Он остается в сердце, которое слышало, как трещат и рвутся его мышцы. Оно вопит, истошный гибельный вой сердца взывает к нам, а мы ничем не можем помочь ему. Каждый из нас отныне знал, как это произойдет. На полуоборванной веревке, над пропастью покачивались, старались не шевелиться, прислушивались, как трутся, трещат волокна. Сверху нас осторожно, медленно подтягивали. Успеют ли?

Здоровье вернулось, и мы чувствовали его как никогда раньше.

Спустя некоторое время учитель рассказал еще одну историю...

– ... У церкви на Петроградской росла высокая старая ольха. Однажды разнесся слух, что в сентябре месяце произойдет такое большое наводнение, что вода скроет эту ольху. Пророчествовал какой-то мужик, истово, клятвенно заверял в гибельности водошествия. Ему поверили, потому что новый город страдал от наводнений. Народ ходил, смотрел ольху, ахал; примеривались, получалось, что если верх ольхи вода скроет, то весь город затопит до крыши. Беспокойство разрасталось и дошло до того, что стали семьями покидать дома, собирали пожитки, уезжали в окрестности, куда повыше, на Дудергофские горы, в Красное село. Народ-то был весь пришлый, не здешний,

на слухи и страхи падкий. Вскоре Петру донесли про суматоху в городе. Новая столица имела множество недругов, они пользовались любым поводом ославить выбранное Петром место. Паника в городе ширилась, надо было как-то успокоить горожан. Но как именно? Поучительно проследить, как действовал Петр. Первое, с чего начал он: приказал срубить ольху. Для чего? Полагаю, чтобы убрать наглядность, то, что служило как бы документом и меркой. Далее учинил розыск. Опрашивали одного за другим – кто от кого слышал. По цепочкам добрались до первоисточника. Мужик оказался переселенцем с южных краев. Недовольный болотной сыростью, холодиной здешних гиблых мест, он затеял это пророчество. Итак, виновник разыскан. Казалось бы, наказать примерно, и делу конец. Однако, обычно скорый на расправу, Петр, тут не спешит. Заключает мужика под стражу до назначенного срока наводнения. Горожанам это известно, все ждут. Но уже по-другому, как зрители. Сентябрь кончился, наводнения нет, еще неделя проходит – нет. Тогда оглашают приказ – чтобы от каждого дома явились в такой-то день и час к тому месту, где недавно стояла ольха. Там соорудили помост. Возвели на него лжепророка, прочли увещевание и дали ему пятьдесят ударов кнутом. Наказание вызвало всеобщее одобрение, такова уж человеческая природа – все рады были свалить на него вину за свои страхи и легковерие.

Антон Осипович оглядел всех с видом победителя.

– Государственный ум! Верно? Пустяк, но и в пустяке видно.

– Мм-да, рисковый парень, – сказал Гераскин, – наводнение-то могло ведь случиться.

– Конечно, могло. Но мужик предсказывал не от знаний, – сказал профессор, – он использовал российскую склонность ко всякого рода суевериям. Приметы, ворожба, гадания, знамения. Сколько у нас такой языческой древности сохраняется!

– Петра попрекают, – продолжал учитель. – Лефорту, мол, он приказал обрезать рукава и полы зипунов у стрельцов. Петр сам ответил тогдашним своим хулителям и будущим: мол,

14 Заказ № 164

старики по невежеству думают, что без бороды не войдут в царство небесное, хотя оно открыто для всех хороших людей: и с бородами, и без бород, с париками или плешивым.

Страх лишиться бороды ведь тоже из категории суеверия, вовсе не на обычаи старины Петр ополчался, длинные бороды не были связаны с религиозными представлениями. Причем тут предпочтение западному облику – азиаты, татары, случается, тоже без бород ходят.

У Петра, по-моему, было предубеждение ко всякого рода пророчествам. Другое дело – научные предсказания. К ним Петр относился серьезно. В 1705 году астрономы сообщили ему, что ожидается на территории Средней России солнечное затмение. Петр обеспокоился. Год был тяжелый. Война со шведами шла неровно. Фельдмаршал Шереметев потерпел конфузию при Мур-Мызе. В Астрахани восстали стрельцы и солдаты. А тут еще солнце погаснет. Ясное дело, воспримут как плохую примету, сразу найдутся толкователи, хорошего не предскажут, набрешут всяких бед: поражение от шведов, мор, глад. Знамение не срубишь как ольху. Надо по-другому задачу решать. По словам Молочкова, задавал он эту задачу своим ученикам: как бы они поступили на месте его? Он сделал паузу, как бы приглашая и нас подумать, но не стал дожидаться.

– Петр рассылает начальникам-губернаторам, архиереям собственноручные письма, предупреждая о затмении. Чтобы разъяснили народу. Предстоит, мол, такое явление. Это обычное, регулярное действие природы, ничего чрезвычайного или сверхъестественного. Да и какая может быть чрезвычайность, если заранее предупреждают. Разослал также Нарышкину, Головину, прочим руководителям:

„Господин адмирал! Будущего месяца, в первый день будет великое солнечное затмение; того ради изволь же поразгласить в наших людях, что оное будет, дабы в чудо не поставили. Понеже люди про то ведают прежде, то не есть уже чудо“. Обратите внимание на последнюю фразу. То есть чудо – это неведение.

Как ни странно, все, кроме разве профессора, тем не менее считали, что чудеса случаются и происходят до сих пор. Если поискать как следует в собственной жизни, обязательно найдутся происшествия странные, вещи необъяснимые, совпадения, лишенные всякой вероятности, то есть чудеса, абсолютно достоверные чудеса. Даже Антон Осипович верил и в телепатию, в летающие тарелки, снежного человека и гадания цыганок.

Гераскин, например, вспомнил, как однажды справляли у него дома день рождения, молодые были, надрались до бесчувствия. Взялся Гераскин под утро развозить всех по домам. Спустились вниз, сели в „москвич", набилось невесть сколько народу. Сам Гераскин за руль, завел машину, включил скорость, хотел было тронуться, сцепление выжать не может, что-то мешает. Как сковало его. Что – понять нельзя, нога не поднимается к педали. Заглушил мотор, вышел из машины, глядь, под колесами лежит тесть и спит, похрапывает, уютно так устроился. Весь хмель у Гераскина вылетел, пóтом прошибло. Спрашивается – что это такое было?

– Вот вы мне объясните, Елизар Дмитриевич, – победно устремился он на профессора. – Я ведь шофер-профессионал, у меня все движения должны быть машинальные. А тут застопорило! Я лично верю в чудеса.

– Теперь, во времена науки, можно в чудеса верить, а вы поверьте в науку во времена суеверий.

Один за другим тут посыпались рассказы про чудеса, про знахарей, чудесные излечения, находки, даже удивительно было, сколько имеется у каждого подобных свидетельств и происшествий и как они бережно хранятся.

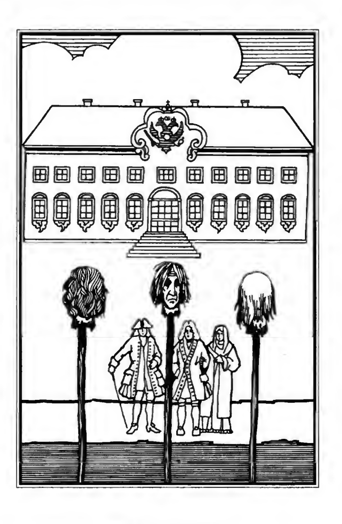
Итог подвел Гераскин. У его дружка случился инфаркт. Прибыла бригада „скорой помощи". Сняли кардиограмму. Все, как полагается при инфаркте средней тяжести. В это время является соседка. Она считалась чокнутой. Услыхала про несчастье и предлагает свою помощь, даже просит. Врачи не разрешают, больной заявляет, что он верит ей. Она тут же начинает накладывать руки. Врачи ждут. Соседка подвигала,

подвигала руками, говорит – готово, снова снимают кардиограмму, никаких следов инфаркта! После этого Гераскин приглашает ее к знакомому физику, у него сынишка болен воспалением легких. Подержала она руки над спиной мальчика. Ожог. Воспаление легких прошло. Физик, это папаша, начинает доказывать ей, что таких полей или лучей у нее быть не может. Согласно простейшим расчетам. Очень убедительно доказал, так, что она поверила. И потеряла свою силу.

Гераскин недоуменно заключил:

– Разоблачил. Спрашивается – зачем? Не терпим мы чудес, вот они и кончились.

Глава девятнадцатая



ЖЕСТОЧЬ

...Да, был жесток, отрицать незачем. Не только из-за страшных воспоминаний детства. Жестокость была в духе того времени. Колесовали и секли головы во всех странах. В одних по судебным приговорам, в других венценосцы сами наказывали. Карл XII, король, казалось бы, просвещенной Швеции, мог расправиться самым жесточайшим образом. Так произошло, например, с беднягой Паткулем.

Петр не стеснялся лично и пытать и избивать. А так как был вспыльчив, то не успевал толком разобраться, как трость уже гуляла по спине часто невинного. Хотя бы случай с Леблоном, знаменитым французским садовником.

В Париже рекомендовали Петру для садового устройства архитектора Леблона, уже известного своими парковыми работами. Петр уговорил его пойти к нему на службу. Он рассчитывал поручить Леблону вести работы по Петергофу. Талант Леблона и мог бы развернуться в России во всю свою мощь, не случись одной типично петровской истории.

По замыслу Петра, улицы (линии) Васильевского острова должны были посередине быть прокопаны каналами. Ширины Петр не задал. По смыслу же ширина должна позволить двум баркам свободно разойтись. Казалось, любому ясно. Осенью 1717 года он вернулся из заграничного путешествия. Первым делом отправился на свой любимый Васильевский остров посмотреть, что сделано в его отсутствие. Сделано было порядком. Меншиков, который вел эти работы, ждал похвал. Их не было. Петр мрачнел, отмалчивался. Несколько раз в течение недели он вновь приезжал на Васильевский остров, вновь обходил его, на вопросы Меншикова не отвечал.

Как только прибыл Леблон, царь повез его на остров, показал план, водил по улицам. Каналы были выкопаны слишком узко, Леблон сразу определил ошибку: встречным баркам не разъехаться, движение по таким каналам невозможно. Все это Петр и сам понимал, он дожидался Леблона, надеясь с его помощью найти какой-то выход. Можно ли как-то исправить?

Леблон пожал плечами. Сделанное непоправимо. Все срыть, сломать, строить вновь и вырыть другие каналы.

Государь долго тяжело молчал.

– И я так думаю, – хмуро сказал он.

Это была катастрофа. Два года работы пошли насмарку. Ломать, засыпать, строить заново – требовало новых чудовищных затрат. Единственное, что оставалось, – просто засыпать все выкопанное, то есть отказаться от заветного проекта. Он не раз повторял: „Если Бог продлит жизнь и здравие, Петербург будет другой Амстердам". Незабываемо врезалось то впечатление, когда он впервые попал в голландскую столицу, город, пронизанный сетью улиц-каналов, где любезная ему водная стихия вошла в город, стала его улицами, по каналам происходило городское движение. Каналы с набережными, так что улицы Васильевского острова будут шире, чем амстердамские, и вся планировка, расчерченная на линии и проспекты, будет простая, ясная всем геометрия, удобная для судоходства и людей. Васильевский остров – центр Петербурга. За время разлуки он обжил свою мечту. Она рухнула. Безвозвратно. Новая столица, еще не встав на ноги, потерпела страшный урон. Никто, кроме него, не видел величины потери. Город лишился, может быть, лучшего своего украшения, своей славы, задуманного дива.

Он тыкал Меншикова носом в план, схватил его за шиворот и, как наблудившего щенка, тряс, возил мордой по бумаге: „Дурень безграмотный, неуч, ни счета, ни меры не знаешь, загубил, загубил, от твоей глупости только убыток невозвратный", – тряс нещадно. Попрекнул бомбардирским офицером Василием Корчминым, который, умело расположив батареи на острове, обстреливал шведские военные корабли. Он-то

сумел пушки толком расположить, а вот Меншиков бестолочью своей в мирное время все напортил. Вытолкнул светлейшего князя вон.

Меншиков не мог простить Леблону своего унижения. Случай отомстить выдался скоро.

На Петергофе, после неудачи с Васильевским островом, сосредоточил Петр свои заботы и свои надежды. Меншиков обязан был доставить Леблону все, что тот потребует, без замедления и во всем помогать. При создании Петергофа государь вникал во все детали устройства садов, выписывал деревья – липы, каштаны из Голландии, кедры из Сибири. В письме к Куракину он предписывает, как вывозить деревья из Голландии – какой вышины, какой толщины брать липы, „сажать на корабле корнем в песок, который для балласту кладется“.

В Петергофе сам высаживал доставленные деревья и строго-настрого приказал их не трогать.

Леблон получил звание генерал-архитектора, без его подписи нельзя было исполнить ни одного проекта. Он строил Большой дворец, делал планировку Петербурга, зачастую он командовал Меншиковым.

Планируя Петергофский парк, Леблон задумал открыть вид на зверинец, для чего обстричь дикие раскидистые кроны. Сообщил об этом Меншикову и попросил рабочих. Меншиков согласился. Работа закипела. Ни о чем не сказав Леблону, Меншиков шлет гонца к Петру в Шлиссельбург с донесением, что Леблон подрубает деревья, посаженные Петром. Весть эта привела Петра в такой гнев, что наутро, бросив все дела, он скачет в Петергоф.

Приставив высокие лестницы, рабочие рубили ветки, визжали пилы, Петр закричал, приказывая прекратить работы, помчался искать виновника.

Увидев царя, Леблон обрадовался, улыбаясь, пошел навстречу, церемонно расшаркиваясь, поклонился. И получил удар дубинкой. Французского архитектора никогда не били. В этом состоял его главный недостаток в сравнении со светлейшим князем Меншиковым. Вдобавок последовало еще

длинное ругательство, не требующее перевода, колени у француза подогнулись, он схватился за сердце и тихо сполз на пол. С сердечным приступом его отнесли домой. Пролежал он несколько недель.

Утолив свой гнев, Петр осмотрел работы и убедился, что деревья от стрижки лишь выиграли. Послал извинения Леблону. Это не помогло. Шибко впечатлительный, француз так и не оправился. В следующем году он скончался от сердечной болезни.

Поскольку коварство Меншикова раскрылось, государь в очередной раз прибил его.

Вспыльчивость, привычка чуть что хвататься за дубинку приводила не раз к трагическим последствиям. Никто не смел остановить царя. Наверное, то была не жестокость, Петр не получал наслаждения от своих расправ, но удержаться не мог, над ним ничего не было – ни закона, ни обычаев, ни уважения к человеку. Рабы. Все кругом рабским духом пропитаны. Способствовало и чувство личного превосходства, превосходства гения, знающего себе цену.

Жестокость вполне соответствовала порядкам во многих странах, от Швеции до Турции.

История с Паткулем тому пример.

Тайный советник Иоганн Паткуль состоял на шведской военной службе и, не поладив с отцом Карла XII, бежал из Швеции и впоследствии перешел на службу к Петру. И был назначен генерал-комиссаром русской армии. Переход военных специалистов из одной армии в другую был делом обычным. Король же жестоко обиделся и счел Паткуля изменником.

Петр назначил Паткуля послом к королю Августу. Когда Август заключил тайное соглашение с Карлом, отрекся от союза с Петром, Карл потребовал у Августа выдать ему Паткуля. Требование нарушало принятые правила. Ясно, что выдача обрекала Паткуля на верную смерть. Август понимал, что, уступив Карлу, навлечет на себя гнев Петра, в глазах Европы он тоже опозорится. Отказать Карлу он боялся, военное положение Августа не позволяло перечить всесильному тогда шведскому королю. Все страны остерегались его.

Подумав, он решил прибегнуть к хитрости. Паткуль на время переговоров с Карлом был заключен в замок. Август пошлет группу офицеров взять арестованного Паткуля и препроводить его к шведам. Однако накануне он отправит верного человека с тайным указанием коменданту замка дать возможность Паткулю бежать. План должен был сработать безотказно, если б, увы, не вмешались человеческие страсти. Предусмотреть их нельзя, они путают любые расчеты, лишают историю порядка и логики.

Комендант, выполняя приказ, предложил Паткулю бежать с условием, что тот за это заплатит – было бы глупо не нажиться. Паткуль знал предписание Августа и потребовал освобождения бесплатного. Комендант не соглашался. Началась ожесточенная торговля. Паткуль никак не хотел уступать наглым незаконным требованиям коменданта, как будто само бегство было законным.

Жадничали, никак не могли договориться, спор затянулся, и тут нагрянули посланные офицеры, схватили Паткуля и отвели его в шведский лагерь. Бедный Паткуль. Глупый Паткуль. А его считали умником.

Карл приказал судить изменника самым строгим образом. Этим он предрешил казнь. Суд приговорил колесовать Паткуля и затем четвертовать.

По международным законам подобный акт над царским посланником был недопустим. Европа единодушно осуждала произвол шведского короля, Карлу было наплевать.

Как положено, при колесовании Паткуля растянули на колесе, раздробили ему ноги, затем руки и оставили умирать. Три дня он криком кричал, потом затих.

Шведский офицер, который производил экзекуцию, приказал палачу отсечь страдальцу голову. За это Карл его лишил чина, ибо „король не приказывал ему скоро голову отсечь, пока не замучается до смерти“. По указанию Карла труп оставили гнить на столбах.

Спустя шесть лет Август, вернув себе корону, велел собрать останки преданного им Паткуля и похоронил их.

Швеция считалась культурной страной. Карла XII историки не называли жестоким варваром. Кстати, колесование пришло в Россию и в Швецию из Франции.

Международное мнение никогда не останавливало Карла, равно как и мнение его приближенных. Даже соображения выгоды, пользы дела не могли смягчить его жестокосердия.

Один саксонский офицер был взят в плен, Карл приказал его казнить отсечением головы. Это легче, чем колесование, но также не устраивало офицера. Он вообще предпочитал жить и заявил, что готов передать королю в обмен на помилование секрет приготовления золота. Карл велел произвести в тюрьме опыты. И чтобы на глазах членов городского магистрата. Как ни странно, после разных химических процедур на глазах у всех в тигле заблестело расплавленное золото. Проверка подтвердила, что металл есть золото высшей пробы. Приговор остановили, сообщили королю, который, как обычно, где-то сражался. Король подумал и сказал, что не хочет отказаться от казни, ради золота не станет поступаться принципами. Офицера казнили, вместе с ним, к прискорбию всех, ушел столь важный секрет.

Новую столицу России строили беспощадно. Согнали тысячи мужиков с ближних губерний, жили они в землянках, кругом болота, гнус, зимой мерзли, обмораживались. Не сохранилось никаких историй о милосердии к строителям. Они для Петра были рабочей силой, и только. Строился ли Петербург на костях – расхожее это выражение, однако не подкреплено фактами. Сколько погибло за годы строительства – нет данных. Учета не велось. Некоторые историки полагают, что боярская оппозиция умышленно делала из новой столицы дракона, пожирающего людей, а из царя – Антихриста. Каких-либо сведениях о бунтах, недовольствах нет. Не было и массового бегства строителей. Царь строго спрашивал за эпидемии, за смертность. Сделали для работников госпитали, приюты увечным. На особо тяжелые работы сгоняли каторжников, использовали пленных шведов.

Строительство Питера если чем и отличалось, то увлеченностью. Город рос не по дням, а по часам, каменный, невиданный город. На отвоеванной земле, на морском берегу, город-порт, город-крепость. Будущая красота его уже проступала. Увлеченность Главного Строителя передавалась архитекторам, инженерам, подрядчикам, всей петровской команде.

В книгах о Сальвадоре Дали я прочел, что его мечта, так и не сбывшаяся, – побывать в Ленинграде. Помню такие его слова. „По-моему, самым великим художником России, в широком смысле этого слова, был Петр Первый, который нарисовал в своем воображении замечательный город и создал его на огромном холсте природы. Я представляю себе Ленинград строгим, как черно-белая графика..."

Энтузиазм держался недолго. Огромная стройка требовала поставок, поставки соблазняли на казнокрадство. Ловкачи быстро набирали огромные состояния. Борьба ожесточала Петра. Дубинка работала все энергичней. Не помогало. Азарт стяжательства был сильнее того, что мог придумать царь. Както, вытачивая из кости человеческую фигуру, Петр сказал Нартову: „Кости точу я долотом изрядно, а не могу дубиною обточить упрямцев".

Как он выразился однажды, ЖЕСТОЧЬ – его словечко – накапливалась в нем, порой доводила его до бешенства.

– Да он убийца, Глебова убил, за что? – говорил Молочков. – Подумаешь, любовник бывший жены, царицы Евдокии. Разве за это убивают? Марию Гамильтон, свою любовницу, – казнил. За что? Умертвила своего новорожденного, незаконного. Подозревал, что это его сын, бистрюк. Но позвольте: разве за это убивают? Солдата безымянного заколотил дубинкой насмерть. Ежели привлечь его за превышение власти, то можно судить как отъявленного преступника. Но разве он преступник? В нем и злодейства нет. Из всех его преступлений злодейство не складывается. Петру идея Отчизны опутала серд-

це. Как вывести итог – не знаю. Люблю его и стыжусь своей любви. Убийца – а люблю и преклоняюсь. Оправдать хочу – и не имею права. Судить должен – и не могу. Как быть с теми, кто любил его, преклонялся перед ним? Нартов – не дворянин, не вельможа, всего лишь мастеровой, но близкое общение с Петром наполнило его сердце горячей любовью, и этот токарь жалеет царя, защищает как может от упреков в жестокости. Как быть с Феофаном Прокоповичем, членом Святейшего синода, который настаивал на том, что Петра боялись не за гнев, а за совесть?

Профессор сказал:

–А как насчет вашего любимого Пушкина – гений и злодейство несовместны? Убийца – и не злодей, что же тогда злодейство? Нет уж, договаривайте.

Сережа Дремов сказал:

– Пушкин художника имел в виду. К государственным деятелям это не относится. Они все злодейничали. Но среди них ведь были гении. Александр Македонский, Наполеон...

Антон Осипович:

– Ленина добавь, не стесняйся.

Молочков сказал:

– Злодея, мне думается, нельзя усовестить. А Петра можно было. Безобразный в гневе, необузданный, он в глубине души сохранял разум, человечность. Заклятым врагом Петра была царевна Софья. Все об этом знали. Разоблачив очередной заговор, Петр приехал в монастырь, где была заточена царевна, чтобы допросить и уличить ее.

Софья даже в заключении не могла умерить строптивого своего характера, она ничего не признавала, защищалась, не выбирая выражений, нападая и обвиняя самого Петра с едкостями и колкостями, которые распалили Петра до того, что он закричал, что убьет ее, или он или она! С этими словами он выхватил шпагу. Бывшая при царевне служанка, двенадцатилетняя девочка, бросилась между ними, схватилась за ноги Петра с криком: „Что ты делаешь, государь? Она же родная тебе сестра!“

Петр замер и, помолчав минуту, простил свою мятежную, непокорную сестру, а девочку поцеловал в голову... „Спасибо, девочка, я тебя не забуду“.

Успокоясь, он вышел, покинул монастырь.

Недаром римляне говорили, что из всех победителей наиболее славен тот, кто умел побеждать страсть свою, а тем более гнев.

Профессор сказал:

– Гнев – это миг безумия.

Глава двадцатая



СТРАДАНИЕ ЗЕРНА

Молочков никогда не упрекал тех, кто не понимал Петра. Его удивляло и даже восхищало, когда Петра постигали во всей его противоречивости, как это сумел Пушкин, лучший, по его мнению, петровский историк. Формулы Пушкина достойны изучения:

То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник.

На первом у него неслучайно академик. Четыре решающих качества отобрал Пушкин.

Великим сходиться трудно – нужно либо понимание, либо отрицание. Пушкин понимал Петра как никто другой.

Трудность состоит в том, как у Петра сочетается несочетаемое. Стеснительность и распущенность, грубость и деликатность, простодушие и хитрость...

Молочков рассказывал, как Петр восхищался европейской культурой и как варварски обращался с ней.

Впервые попав в Европу в составе Великого посольства, Петр стеснялся, избегал большого общества. Он чувствовал несоответствие своих манер. Принцесса София-Шарлотта писала, как он рыгал за столом, не знал, для чего салфетка. Неприятная история произошла в Англии. Петр желал жить поближе к корабельным верфям. Правительство сняло ему дом в Дептфорде. Отлично меблированный, вместительный дом, несколько спален, большой сад. Два с половиною месяца он провел там. После его отъезда хозяева пришли в ужас. Все было разрушено. И как! Эксперты составили описание для королев-

ского казначейства. Спальни, обитые шелком, измараны, ободраны. Палисандровая кровать изломана на куски. Одеяла прожжены. Полотнища дамаских обоев сорваны. Каминные щипцы изогнуты, перекручены – на них молодцы показывали свою силу. Прекрасные картины перепачканы, рамы разбиты. Газон в саду взрыт. Ковры, перины изрезаны. Кресла, стулья сломаны. Садовник его величества с удивлением обнаружил, что лужайки оставлены без ухода, живые изгороди не подрезали, цветы вырваны.

Дом сторожа вообще полностью разрушен.

Похожее петровская ватага творила и в других местах. Куролесили ни с чем не считаясь. Знай наших! Пей да посуду бей, чтоб знали, чей ты сын!

Безобразничал и увлеченно работал на верфях, наблюдал за отливкой пушек, ходил в море.

При этом, как никто, чутко, быстро воспринимал европейскую культуру поведения. Испанский епископ сообщает в письмах, что русский царь обладает деликатностью и светскими манерами, хотя не рад большому обществу.

Еще недавно, танцуя с немками, удивлялся, какие у них жесткие кости, он принимал за них корсеты, сделанные из китового уса. Тогда же София-Шарлотта отметила, что Петр в их присутствии не позволил себе напиться, но, как только они с матерью уехали, свита и он принялись наверстывать.

И позже, во второе посещение Европы, спустя почти 20 лет в нем сохраняется нежелание считаться с общественным мнением. Он умеет соблюдать нормы, но может сорваться в загул.

В Париже он подцепил двух девок на улице, привел их во дворец, позвал Куракина, еще нескольких, они заперлись в покоях и загудели – дали, как с завистью определил Гераскин, дрозда.

На званом ужине в Фонтенбло он до того напился, что на обратном пути заблевал всю карету. Спасаясь от вони, герцог д'Антэн должен был выйти и пересесть в другой экипаж.

То он скуп до неприличия, платит в Париже за изготовленный ему роскошный парик в десять раз меньше положенного, торгуется в магазинах, то, покидая Париж, дает обслуге

50 000 ливров, огромная сумма по тем временам, 30 000 ливров для заводов и мануфактур, где он побывал.

В Европе считают, что его интересуют лишь корабли, техника, изобретения. А между тем он давно уже приобретает картины, по его указаниям закуплены были сотни (!) картин. Пусть это преимущественно морские пейзажи, с кораблями, эскадрами, но это живопись, и неплохая. Впервые в России жилые комнаты и дворцовые залы украшают картины.

Петр хочет сделать новую столицу прекрасной. Он приглашает из Европы зодчих, садовников, резчиков, архитекторов, бронзовщиков. Каким-то образом получилось, что почти все они оказались мастерами своего дела. Шлютер, Леблон, Растрелли – и отец, и, разумеется, сын, Трезини, Микетти, Филипп Пильман. Вряд ли таланты собрались в таком количестве случайно. Петровские замыслы увлекали художников своей грандиозностью. Он умел ставить им чисто художественные задачи. По мере завершения военных усилий в нем росла потребность украсить бедную на искусства российскую жизнь. Теперь, когда страна получила победоносный флот, артиллерию, кавалерию, стало видно, что этого мало. Страх, который Россия внушает, еще не возвеличивает ее. Ей нужна красота. С той же истовостью, с какой он создавал военную мощь, он строит Петергоф – изделие чистой красоты, другого назначения у него нет. Да – символ, да – в память победы, но главное – красота. И огромный, каким он был тогда, Летний сад, Стрельна, где забили первые фонтаны, павильоны Марли, Эрмитажа и, наконец, любимый Петром маленький дворец „Монплезир“ – в каждом из них соприкасаешься со вкусом Петра. В его гении заговорила поэтическая часть натуры. Он любил свой Монплезир за то, что тот стоял на берегу залива, сидя на террасе, можно было видеть и Кронштадт, и Петербург. Иногда он позволял себе любоваться отсюда красой закатов, лунной дорожкой, в спальне, засыпая, он слышал плеск волн.

Монплезир был украшен картинами маринистов, здесь была его подзорная труба, телескоп, в этих покоях ему и думалось, и отдыхалось, и заботилось, и работалось.

В этом маленьком дворце более всего сохранилось Петра. Это заметили давно, недаром Екатерина Великая так любила тут проводить часы, а за ней Николай Первый являлся сюда, как он говорил – „побыть с Петром".

И Екатерина Вторая, и Николай, и все последующие государи немало сделали для Петергофа, достраивали, прибавляли фонтанов, прорубали аллеи, а все равно здесь все приписывается Петру.

Когда-то Лейбниц рассказывал Петру, как страдает брошенное в землю зерно, прежде чем произвести плод. Страдание зерна – это запомнилось. Так он выстрадал Петербург, да и Петергоф тоже. Но зато какие плоды, какая красота выросли на этих болотах.

В его Петергофе бесчинств не будет. За подписью государя в Монплезире вывешены правила приличного поведения. „Не разувшись, с сапогами или башмаками не ложиться на постели".

Глава двадцать первая



ОТКРЫТИЕ

Профессор Челюкин не признавал культа ни королей, ни президентов, ни полководцев, ни революционеров. Восхищаться можно было медиками, изобретателями, тех он почитал в первую очередь, далее следовали музыканты, поэты и отчасти ученые. Среди них могли быть великие, остальные памятников не заслуживали.

Поединки Челюкина с учителем доставляли нам удовольствие выпадами, игрой мысли и тем, что каждый умел озадачить другого.

Однажды Молочков предпринял наступление с неожиданной стороны, – дескать, Россия приняла реформы Петра без серьезного сопротивления. Народ не шибко протестовал, терпел, не пытался отбиваться. Восторгов не было, но и криком не кричали. По мнению Молочкова, это много значило. И достойно размышления, ибо если диву не удивляться, то и дива не будет.

Подняв палец, Челюкин остановил учителя, прикрыл глаза, вслушался, как бы ловя какую-то мысль.

Подождав, Молочков напористо продолжал: отец Петра начинал реформы тихо, помаленьку, Петр же ворвался в русскую жизнь бурей, ломая и круша, произвел революцию, самую радикальную. Такого не бывало. Да, его называли нехристем, шептались, что царя подменили, кликуши кричали про Антихриста, и все же до настоящего отторжения дело не доходило. Почему народ вел себя так смиренно? Может, шло это от нашего прославленного терпения. Лошадиного терпения. Петр действовал как молот, а народ был наковальней. Бесчувственно. Тупо. Оттерпится, и мы люди будем.

Челюкин опять выставил палец, словно выдвинул антенну, ловя нужный ему сигнал, и, поймав, довольно поклонился учителю: извините, мол, все правильно, за исключением вашего вывода. Насчет обстановки и реакции населения Челюкин не спорил, тут, как говорится, карты в руки Виталию Викентьевичу, было бы странно, если бы кто-то осмелился возражать, он, Челюкин, отдает должное знаниям Молочкова, который в петровских делах разбирается лучше, чем в собственных. Те реформы не могли оценить даже образованные помощники государя. Крестьяне же, да и провинциальное дворянство тем более не видели прогресса, им доставалось лишь волнение, повинности, солдатчина, война, земляные работы. Какие бы хорошие цели ни были, да все равно свои дела ближе. Безропотность, между тем, налицо, тут Виталий Викентьевич прав. А вот откуда она? Тут соображения у Челюкина были самые примечательные. Оказывается, один из его друзей, биолог-эволюционист, писал учебник и случайно в это время вычитал у историка Костомарова про эпидемию чумы при Алексее Михайловиче. Чума в XVII веке поражала одну за другой страны Средней Европы, до сих пор на городских площадях в Чехии, в Германии стоят памятники чуме. Неудивительно, что и в России чума в 1654 году выкосила целые губернии. Умирало больше, чем оставалось в живых. Историк приводил данные:

по Калуге – умерло 1836, осталось в живых 777,
в Переславле-Залесском – умерло 3627, осталось 28,
у боярина Морозова – умерло 343, осталось 19,
у князя Трубецкого – умерло 270, осталось 8
и так далее.

Костомаров сообщает эти цифры как добросовестный документалист, показывая губительность чумы в те годы. Биолога же они заставили задуматься, мысль его пошла не так, как у историка, а как у генетика – такой мор должен сильно повлиять на генофонд. Примерно то же происходило во время двух мировых войн, революции и репрессий. Нам, избегая специальных терминов, Елизар Дмитриевич изобразил, как эти потери обедняли генофонд народа. Миллионы молодых

активных людей теряла в войнах страна, оставались далеко не самые лучшие. С этого непривычного хода биолог подошел к петровским временам. Петру досталась от отца Россия опустошенная, поределая после чумы. С тех пор, за сорок лет, убыль пополнилась, но выросли другие люди. Население сменилось как бы разом. Цепь времен порвалась, патриархальный уклад был нарушен, традиции ослабели, так что реформы встретило новое поколение. Семейные и родовые связи мало удерживали, в этом смысле Петру повезло. Память о прошлом не очень-то опутывала новых людей, выросших без бабушек и дедушек, без твердых традиций. Они перемещались легче, охотнее покидали родные места, где не оставалось корней, уходили в солдаты, на стройки, на верфи.

Кто-кто, а уж мы-то легко могли представить себе вымершие села, беженцев, бредущих по дорогам, странников, нищих. Не чума, так война, не война, так реформы, новый курс, голод, и всякий раз – до самого нутра, до генофонда, до наследственности.

Петр мог бы себе сказать – не было бы счастья, да несчастье помогло. Удачно сошлось для него. Счастливых случайностей в его жизни много, слишком много для одного человека. Чудесное избавление от опасностей, нужные совпадения, полезные встречи. Но все это попутно, главное же, особенности людей Петровской эпохи – это и высветила генетика спустя столетия.

– Чума... кто бы мог подумать, – бормотал учитель.

Перейти на новую точку зрения было совсем не просто. Что его утешало, так это то, что опровержение пришло не от историка, а от биолога.

Профессор гордился найденной точкой зрения.

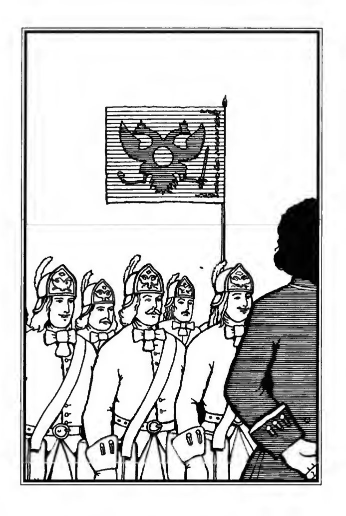
– Ваша классическая история занята перипетиями борьбы за власть – кто кого, история славит победителей, тех, кто взобрался, перехитрил, завоевал. Они великие, не потому что уклонились от войны и обеспечили своим гражданам покой, а исключительно потому, что приобрели еще одну провинцию.

Еще он говорил о том, что история высокомерна, не пользуется смежными науками, той же биологией, психологией или языкознанием. Говорил умно, убедительно, мягко и в то же время с вежливым превосходством.

Антон Осипович не вытерпел.

– Не верю я ни в какую вашу генетику; человека невозможно ни вычислить, ни наперед рассчитать. Я двадцать с лишним лет вожусь с этой тварью, сколько их прошло через меня, и я точно знаю – человеку верить нельзя. Он сам не знает, что сотворит, иногда такое чудовище вылезет из него, за голову схватишься.

Глава двадцать вторая



ЦАРСКОЕ СВАТОВСТВО

Эта история исполнялась Молочковым в духе старинных сказок о королях, принцессах и Иванушке-дурачке – счастливая, волшебная сказка. Началась она прекрасным волнующим словом, каким начинаются все сказки, – ОДНАЖДЫ.

Однажды царь-государь устроил смотр своего любимого Преображенского полка. Шел он вдоль строя темно-зеленых мундиров. Черные шляпы, красные камзолы под кафтаном, белые чулки – молодец к молодцу, как на подбор. Особо хороша бомбардирская рота в кожаных шляпах с пером. Петухи! Государь любовался, щурился, не мог скрыть довольной улыбки.

Лейб-гвардии Преображенский полк поставлял молодежь, которую государь посылал за границу для обучения. Офицерам полка царь давал поручения особые, тайного рода, ревностных исполнителей отбирал на должность.

Шел, шел и остановился, поверх голов высматривая во второй шеренге молоденького капрала. Вид у капрала невзрачный, был он из тех невидных людей, мимо которых обычно проходят не замечая, в любой компании держатся они в тени, так что потом и не вспомнишь – был он или не был.

Что-то в этом капрале привлекло внимание государя. Под пристальным взглядом царя капрал покраснел, вытянулся, но смотрел в глаза государя без смущения, что мог выдержать не каждый. Неизвестно, что там высмотрел Петр, осведомился – как звать? – Александр Румянцев. Имя это мало что говорило царю, хотя он вспомнил, что начинал Румянцев вроде как еще в потешных войсках. И в самом деле, он служил с Михаилом Голицыным, Александром Меншиковым, Петром Ягужинским

и другими ныне видными сановниками. Все они сумели давно уже приблизиться к царю, получить и чины, и награды.

Ничего не сказав Румянцеву, государь, после смотра, спросил о нем офицеров. Те мало что могли сообщить о нем, внимание государя удивило их, капрал ничем не выделялся, служил как положено.

Вскоре полк участвовал в стычке под Гродно. Петр, как бы между прочим, справился, как вел себя капрал Румянцев? Отозвались о нем похвально. Петр произвел его в сержанты. После следующего сражения опять осведомился. Доложили, что держался хорошо. „Видите, – сказал Петр, – и сержант он исправный". И пожаловал его в прапорщики. По завершении Полтавской победы Петр снова спросил про Румянцева. Воевал благополучно, не ранили. „Значит, и младший офицер исправный, – сказал он, – я думаю, что и в других званиях он исправен будет". Объявил его поручиком и сделал своим адъютантом.

Исправность – вот качество, которое Петр разглядел, проверил и оценил в Румянцеве. С этого времени стал он его посылать со своими поручениями то в Копенгаген, то в Архангельск, то в Финляндию. И наконец, отправляясь в заграничное путешествие, включил его в свою небольшую свиту.

Никто из приближенных не понимал, как он выделил Румянцева из преображенцев, вроде бы не было никакого повода.

Таинственную способность Петра распознавать людей, определять человека отметил еще Пушкин. В своих анекдотах он записал:

„Всем известны слова Петра Великого, когда представлял ему двенадцатилетнего школьника Василия Тредьяковского: Вечный труженик! Какой взгляд! Какая точность в определении! В самом деле, что был Тредьяковский как не вечный труженик!"

Или другое, слышанное Пушкиным от князя А. Н. Голицына:

„Некто, отставной мичман, будучи еще ребенком, представлен был Петру I в числе дворян, присланных на службу. Государь открыл ему лоб, взглянул в лицо и сказал: „Ну, этот плох –

однако записать его во флот. До мичманов авось дослужится". Старик любил рассказывать этот анекдот и всегда прибавлял: „Таков был пророк, что в мичманы-то попал я только при отставке!"

Подобные предсказания доставили Петру многих сподвижников. Находил он их как бы случайно и при этом безошибочно. В Навигационной школе, в Москве, среди токарей выделил юного Нартова, того, что станет блестящим инженером-механиком. Из нечаянного разговора с Ягужинским прояснились ему возможности этого человека. Некоторые „находки" впоследствии себя не оправдали, но на самом деле Петр не ошибался, это они, эти люди, становились другими, слишком сильно разъедали власть, деньги, придворный разврат.

Румянцев отличался от прочих, он не стремился попасть на глаза государю. Не было в нем искательства, Петр угадал в нем искренность, в которой нуждался, ему нужны были исполнители добросовестные, надежные, бескорыстные. Румянцев неотступно выполнял любые поручения. Его первого Петр выбрал для деликатнейшей миссии – привести из Австрии беглеца-царевича Алексея. Румянцев поехал, разузнал, не так-то просто оказалось вызволить царевича, пребывание его в Австрии было слишком выгодно многим. Выманить его надо было ловкостью, не скупясь на обещания, подкупы, применяя шпионство, дипломатию, обманы, – вот этого Румянцев не умел, он прямо признался в этом царю, кроме того, нужны были для переговоров и сан, вельможность. Подумав, Петр нашел, что лучше всего подойдет для такой роли Толстой, самый изворотливый и хитрый из его сановников. Его Петр и послал, но придал для надежности Румянцева, чтобы быть уверенным. Ограниченность была недостатком Румянцева, но она же, ограниченность, была его преимуществом.

Царевича доставили, и Румянцева наградили чином генерал-адъютанта и, что еще нужнее, деревнями и землей, изъятой у казненных заговорщиков – Кикина и Матюшкина.

Сын бедного костромского дворянина, Румянцев нуждался в средствах тем больше, чем выше он поднимался. Жалованье не позволяло обзавестись семьей, казенных денег еле хватало на выезд и квартиру. Государь гонял Румянцева по своим поручениям, не заботясь о его материальных делах. Как-то Румянцев набрался духа, попробовал заговорить о своей скудости, государь отмахнулся – погоди! А годить было некуда, сорок лет стукнуло, все твердили ему – женись, а то так и останешься бобылем.

Конечно, не хватало ему форсу и состояния, на знатных невест не рассчитывал. Отчасти помогало царское благорасположение, по нему считался он женихом пристойным. Стали ему сватать девицу с приданым в тысячу душ. Для него огромное состояние. Он обрадовался, заказал новый мундир, родители невесты назначили смотрины и там же сговор, то есть помолвку. Хороший был обычай.

Зная характер государя, он предупредил родителей невесты, что ему надо получить дозволение от его величества, иначе среди приближенных не принято. За дозволением отправился во дворец. Доступ к царю имел свободный. Царь почесал щеку, спросил, видел ли он невесту, какова она? Нет, не видел, отвечал Румянцев, сказывали, что хороша и умна. Петр устроить бал разрешил, но сказал, чтобы от сговора Румянцев удержался. Обещал сам приехать, посмотреть невесту, если достойна, тогда возражать не станет.

Узнав о приезде государя, на бал съехалось множество гостей. Шел час за часом, царь не появлялся. Один из слуг подошел к хозяину, тихо сообщил, что государь был и уехал. Постоял в дверях незамеченный среди толпы, не сказался, высмотрел невесту. Когда его узнали, предупредил, чтоб не докладывали, пусть танцуют, веселятся.

И что, так и уехал?.. Так точно... Сказал ли что на прощание?.. Ничего. Под нос, в усы что-то промолвил... Что же?.. Да так вроде – нет, мол, не бывать этому!

Родители невесты, да и жених расстроились, не понимали – чем не пришлись государю, более всех удивился Румянцев, невеста ему приглянулась, да и семья подходящая.

Назавтра государь призвал Румянцева, объявил, что невесту смотрел, не пара она его адъютанту, Румянцев лучшего достоин. Свадьбы не будет.

Бедный Румянцев пригорюнился. Отказаться легко, да что взамен. Он не скрывал своей печали. Он был послушен государю, но не робок и решил прояснить свою планиду. На его вопрос Петр обещал присватать другую невесту. Откладывать не стал, медлить – дела не бывать. В другой вечер сел в сани, Румянцев позади. Подъехали к особняку. Стоял еще недостроенный, большой, каменный. Их уже ждал хозяин. Румянцев сразу узнал его – граф Матвеев, сенатор, президент Юстиц-коллегии, известный на всю Россию, человек хорошо образованный, знаток латыни и прочих языков.

Матвеев повел их в гостиную. По дороге Румянцев смотрел – шкафы, полные книг, французских и немецких. Толстые персидские ковры. Вазы. Бюсты. Принесли штоф с рюмками, кофе. Посуда серебряная. Румянцев не знал, как держаться – адъютантом либо женихом, но женихом в такой дом – представить невозможно.

Государь, однако, времени не тратил.

– Андрей Артамонович, у тебя невеста, у меня жених. Зови сюда Марию, пусть облюбуются.

Граф опешил, попробовал сослаться на нечаянность. Никаких отговорок государь слушать не хотел, велел послать за дочерью. Приметил он ее давно, на балах и ассамблеях, сам с ней танцевал, может и не только танцевал, уж больно уверенно нахваливал Румянцеву ее милоту, веселость.

Когда она вошла, Румянцев смутился: слишком красива для него. Да и совсем молода. Девятнадцать лет – пояснил отец.

Была она в самом расцвете юной жизни, прелесть как хороша. Большая русая коса, глаза блестят, смешок играет на полных губах. Румянцев стал неуклюжим, сгорбился, старым себя почувствовал.

– Ты с ним не озорничай, – предупредил Марию государь, – он человек военный, к вашим дамским уверткам не привык.

Зато строг, тебе такой муж в самый раз, строгий и верный, вернее не сыщешь.

Видно было, что сватовство доставляло Петру удовольствие. Славил Румянцева, вогнав его в пот. Потом взял графа под руку, увел из гостиной, пусть молодые облюбуются. Граф намекнул, что жених не из родовитых бояр. Сват, правда, у него наилучший, да только происхождение много значит, рано или поздно родословная скажется, к тому же образование разное, дочь языкам обучена...

Рассуждения его не понравились государю, выходило, что задевали и императрицу, ливонскую крестьянку.

– Происхождение! Мы все от Адама... В моей власти сделать Румянцева знатнейшим, – сказал государь. – Твой отец, царство ему небесное, ведь тоже не бог весть какого стрекулиста сын. Если бы мой батюшка не приблизил его, кем бы ты был? Отвечай! Я люблю Румянцева, это и есть его достоинство, оно лучше всякого происхождения!

Старик Матвеев упирался, попробовал сослаться на бедность жениха, государь увещевал терпеливо, с кем другим Петр не церемонился бы. Матвеевы же были ему близки той особой родственной близостью страшных незабываемых дней Стрелецкого бунта, когда отца Андрея Артамоновича на глазах Петра сбросили с Красного крыльца на пики стрельцов и изрубили на куски.

– Помяни мое слово, Андрей Артамонович, – сказал Петр, – добрая чета из них будет! Не противься, у меня рука на это счастливая.

Делать нечего, Матвеев поблагодарил государя, принесли икону со свечой, благословили как положено, сговор рукобитьем скрепили и, не откладывая, объявили Марию невестой. Перечить она не посмела, но поскучнела. Петр поставил перед собою обоих – жениха и невесту, полюбовался, сказал всем домашним:

– Радоваться надо, без меня не нашли бы друг дружку! Ты, Андрей Артамонович, гордиться будешь таким зятем. Даст Бог, увидишь, какое племя пойдет. Прославят они и твой род Матвеевых, и род Румянцевых.

Граф, конечно, оглушен был скоропалительностью происходящего, но виду не подал. По отъезде свата с женихом сказал дочери: „Государь не обманулся в Румянцеве как в своем адъютанте, когда нашел его, не обманется и в муже твоем".

Свадьбу сыграли скромную. Румянцев бедности не скрывал, у государя ничего не просил, счастлив был невестой. Вскоре был бал во дворце Меншикова. Мария танцевала, как всегда, с упоением, муж стоял в стороне, любуясь ею, в это время подошел к нему один из денщиков Петра, передал записку, Румянцев, не глядя, сунул ее в карман. Танец кончился, денщик спросил его – читал ли он записку, государь ждет. Румянцев схватился за карман, прочел, подбежал к жене, объяснил ей, в чем дело. Они нашли государя в соседнем зале, упали к его ногам благодаря. За чин бригадира, за пожалованные деревни и земли, про все это было в записке.

Государь напомнил, как сказал Румянцеву – „погоди", – сумел погодить и дождался.

Таков нравоучительный конец этой истории.

Любопытно, однако, ее продолжение. Супружеская жизнь Румянцевых и впрямь сложилась удачно. Мария оказалась хорошей женой, доброй, веселой, ее любили и при дворе, и дом их стал одним из первых петербургских салонов. После смерти императора Александр Иванович Румянцев все так же пользовался расположением двора за свою добросовестность и бескорыстие.

Когда взял силу Бирон, то вслед за ним во власть стали входить немцы и отовсюду вытеснили последних петровских сподвижников. Подвергся опале Татищев, под арестом держали секретаря Петра Алексея Макарова, хотя никакой его вины доказать не могли. Вина его, как твердили меж собою многие, одна – русский он, а всем хотят заправлять иноземцы.

Обер-камергер Бирон свирепо расправлялся со всеми, кто осмеливался говорить против него, жаловаться. Тайная канцелярия деятельно помогала. Придворные пресмыкались перед фаворитом, он же становился все надменнее, обходился со всеми, как с лакеями. Многие знатные того и заслуживали

своим раболепием, слали ему подарки, супруги их бисером вышивали Бирону туфли, халаты.

Тем временем подати становились все непосильнее, их выколачивали палками, собирали жестоко, истощали страну.

Однажды Румянцева вызвали во дворец. Императрица Анна Иоанновна приняла его в своем кабинете. Милостиво расспросила о здоровье и предложила заступить в должность президента Камер-коллегии. Должность ключевая, по сути дела, президент имел контроль над многими государственными доходами – там были казенные подряды, откупы, продажа казенных товаров, таможенные сборы и так далее. Власть решающая, большие деньги через нее идут. Императрица не скрывала, что после долгого перебора поняла, что честнее Румянцева человека не найти, и обер-камергер Бирон одобрил его кандидатуру.

В ответ Румянцев сослался на свою солдатскую и дипломатическую службу, далекую от финансов, несведущ он в этих делах, а то, что он видит и знает, вызывает у него досаду, вряд ли ему сладить с теми, кто ныне вольно хозяйничает в прочих коллегиях заодно с министрами... Императрица спросила, кого он имеет в виду?

Человек петровской закваски, Румянцев уклоняться не стал, без обиняков назвал немецкую партию, перечислил по именам подручных Бирона, не постеснялся присутствия некоторых из них в кабинете императрицы. Только он кончил, появился сам Бирон, надушенный, блистающий перстнями, милостиво потрепал Румянцева по плечу, не может того быть, чтобы генерал отказался от такого почета. Говорят, что Петр Великий выделил Румянцева, определил его в строю, точно так же и он, Бирон, вместе с ее величеством приискали его из сотен желающих и алчущих. Как же можно отказаться от такого почета, неблагодарность – худший из пороков. Что касается людей, верных слуг ее величества, напрасно он их в подозрение приводит, повторяет злые толки.

– У вас, русских, во всем виноваты иностранцы, господин генерал, потому что сами русские работать не хотят.

Бирон ожидал ответа холодно, безулыбчиво. Это был вызов. Одолеть Бирона еще никому не удавалось, Румянцеву следовало смириться, глупо было вступать с ним в спор, да еще перед лицом государыни. Но и отступать он не мог. Расчет Бирона был на то, чтобы обломать строптивого.

Хотелось отмолчаться, понимал, что завернулось круто, кончиться может бедой. Всего лишь поклониться-повиниться, этого и ждут от него, принять должность, а там видно будет. Он обратился к императрице, но слова у него вырывались совсем не повинные. Налоги непосильны. Обер-прокурору выгодно, чтобы собирал поборы кто-либо не из немецкой клики, не иноземец. Это он, Румянцев Александр Иванович, должен разорять уезды, по миру людей пускать, а собранные денежки пойдут прежним расточителям.

Ее величество позволила Румянцеву договорить, никого более слушать не стала, отпустила всех, ничего не сказав.

Слух о дерзостной речи Румянцева облетел чиновную столицу, обрадовались, что, наконец, государыне правду в уши вложили, причем не жалобщик, обиженный Бироном, как раз наоборот. Гадали, сойдет ли сия выходка генералу, что, если удастся Румянцеву одолеть фаворита?

Прошел день, второй, на третий приехали из Сената с требованием явиться в суд. Следствие длилось неделю, в мае 1731 года суд Сената приговорил А. И. Румянцева ни много ни мало к смертной казни за противогосударственные речи.

Подобной суровости не ждали. Бирон показал свою силу.

В самый последний час государыня заменила казнь на помилование. Приказано было сослать преступника в Казанскую губернию, лишив чинов, орденов и пожалованных денег. В деревне за семейством был установлен строжайший, неслыханный по тем временам, надзор. Лишенный жалованья, Румянцев жил на средства жены. Она тратила свое имущество на пропитание. За всеми расходами следил приставленный к ним капитан. По указанию Бирона любые покупки, любую мелочь должен был разрешать капитан, он же просматривал письма, получаемые и отправляемые, списывал с них копии и отправ-

лял со своими донесениями лично Бирону. Шел месяц за месяцем. К Румянцевым никого не допускали. Строгости, придирки становились невыносимыми. Бирон надеялся, что Румянцев сорвется, выгонит капитана, надерзит, нарушит инструкцию, и тогда можно будет заточить его в острог. Румянцев терпел. „Погоди“, – как бы повторял ему государь, его государь, и он годил, ждал в спокойной уверенности. Чего ждал – не его ума было дело, его дело было верить и годить, государю виднее. Так было с того дня, как Петр остановился перед строем Преображенского полка. Мария, его супруга, прониклась той же уверенностью. Хотя бы потому, что брак их, вопреки всем сомнениям родительским, оказался счастлив. И здесь, в этой Алтырской глуши, судьба из скудных своих наделов все же выкраивала им радости – то удачная рыбалка, то сынок Петя обрадует своим французским.

Четыре года провели они в „особом смотрении“. В столице Матвеевы хлопотали за них. Графу, фельдмаршалу Миниху нужен был опытный генерал, к тому же верный человек в его борьбе с Бироном, в результате из Петербурга в Казанскую губернию послан был чиновник с высочайшим указом.

Мать, между тем, обучала сына языкам со всей тщательностью, точно знала, что готовит России будущего фельдмаршала Румянцева-Задунайского. А Петром его назвали, разумеется, в честь Петра Великого. Родился он при его жизни, несколько дней в январе 1725 года прожить успел при его царствовании, чем потом гордился.

В те времена фортуна тешилась, вовсю играя человеком. И вверх взлетали случайно, и низвергались нежданно-негаданно. Короткий миг менял местами верх и низ. Мария никогда не корила мужа за его отповедь фавориту, да и ему ни разу не пришла мысль написать прошение Бирону.

Итак, бумага – высочайший указ – предписывала ехать ни много ни мало – губернатором в Астрахань.

Только расположилось семейство в Астрахани, пришло назначение более высокое – правителем Казанской губернии. Далее приходило поручение за поручением, посольские, военные.

Так и шло вплоть до кончины Анны Иоанновны. Известие об этом Румянцев получил в дороге на Константинополь, следом его настиг другой указ – о низвержении Бирона, он был приговорен к четвертованию. Офицеры фельдмаршала Миниха схватили его ночью, силою связали, отвезли на гауптвахту. На престол вступила дочь Великого Преобразователя Елизавета Петровна. Бирона помиловали, сослали в Сибирь, Марию Румянцеву призвали во дворец, пожаловали статс-дамой, мужа и ее самое возвели в новое графское достоинство, при этом Мария, смеясь, напомнила мужу слова Петра – долго гожу да вдруг отплачу.

Молочкову нравилась эта пара, хотелось бы оставить их в счастливую пору, не вести их в старость, в болезни и разлуку. Жаль, конечно, что единственный их сын пока еще предается беспутству, ведет разгульную жизнь, совершает „худые поступки", не жалея родителей. Отец безмерно огорчен таким поведением, стыдно перед государыней, перед генералом Апраксиным, у которого служит молодой граф.

Еще жальче, что отец так и не узнает, что его Петр Румянцев окажется замечательным полководцем, разовьет русское военное искусство, станет фельдмаршалом, навсегда прославит фамилию Румянцевых, в честь его побед будет установлен обелиск в Петербурге. Ничего этого Александру Ивановичу знать не дано. А внук его, Николай Петрович, будет министром иностранных дел, канцлером России, создаст Румянцевский музей для своих коллекций и библиотеки.

Так Петр вызвал к славе этот род, сумев высмотреть его росток в шеренге своих любимых преображенцев.

Глава двадцать третья



ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

Советский анекдот, доказывал профессор, не в пример историческим, явление особое, свойственное только России. Исторические анекдоты во всех странах имеются и про Черчилля, и про Наполеона, есть и древнегреческие, но политический анекдот про вождей, про уродства общества расцвел в советское время. Анекдот помогал выжить, от него душа прояснялась.

Президент Форд спросил Брежнева, какое у него хобби?

– Собираю анекдоты о себе, – сказал Брежнев.

– И много собрали?

– Второй лагерь доканчиваю.

Так что смех был делом серьезным. Анекдоты же Молочкова о Петре были безопасны, все они были во славу правящего дома. Профессора это не устраивало, он не верил, чтобы наш мужичок не подъязвил бы Петра, русский человек пересмешник, не преминет позолоту отколупнуть, подразнить вельможу. Учитель соглашался. Наверное, были и такие. Впрочем, некоторые анекдоты о Петре с годами как бы испортились, хвалебные обернулись хулой, показали вдруг царя неприглядно. Это тоже феномен. И учитель рассказал историю про трех королей. Начинается она, как в детской сказке: однажды в замке сошлись три венценосца – польский, датский и русский. Пируют они, пьют и хвалятся своими солдатами. Надобно оговориться, что сказка сказкой, а под нею быль, – было такое застолье, был замок, был король Август, король Фридерик и наш Петр.

Пили, пили и заспорили – у кого солдаты лучше, чей солдат более предан своему государю. Как проверить? Будучи крепко во хмелю, они приняли предложение Петра – пусть

каждый призовет самого лучшего своего солдата и прикажет ему прыгнуть из окна башни, где они пировали. Ударили по рукам. Датский король призывает своего гренадера, подводит его к окну, приказывает прыгнуть с этой высоты на каменные плиты двора. Гренадер отшатнулся, упал на колени, стал спрашивать, в чем его вина. Король настаивал. Но тут Петр и Август-сильный предложили отпустить его, поскольку все с этим датчанином было ясно.

Вызвал своего солдата Август. Поляк смотрит вниз и отказывается прыгать. Пусть его расстреляют, сам он прыгать не будет, да и в чем смысл?

Поляка освободили.

Приводят русского. Петр приказывает броситься вниз. Солдат ничего не спрашивает – зачем, для чего, встал на подоконник, перекрестился. „Назад“, – успел скомандовать царь. Солдат отдал честь и удалился. Петр был доволен, хвалился перед коллегами. Они не ожидали такого повиновения.

Анекдот этот всегда приводили во славу петровских солдат. Никто не отмечал, что и поляк, и датчанин выглядели человечнее, противясь королевской прихоти, вели себя нормально.

Русский царь предстает как деспот, у него психология крепостника...

Профессор поднял руку, как в классе.

– Психология! Это его не оправдывает. Он у вас, бедняжка, продукт своего времени, пленник обычаев. С него, выходит, взятки гладки. Дорогой вы наш, Виталий Викентьевич, так не пойдет, нравственные законы существуют неизменными издавна. Петр с детства знал Нагорную проповедь и главную ее заповедь – не убий! Тем не менее, убивал. Сына родного убил. Это как, по-вашему?

Кривобокая фигурка Молочкова виновато поникла, словно тяжесть пригнула его.

– Не оправдываю, не оправдываю, – пробормотал он чуть не со всхлипом. – Чего уж тут...

Но вдруг вскочил, зашагал раздраженно.

– Все одно и то же. Знать не хотят, как было. А вы вникните. Вы себя на его место поставьте и тогда судите. Почему специалисты-историки разные мнения имеют? Нет, господа хорошие, не так все просто. Одни царевича изображают страдальцем за Русь, замученную Петровскими реформами. Алексей-де не согласен был, он сторонник постепенного развития, он обещал, что, придя к власти, восстановит лучшие традиции, вернет прежние обычаи, ходите снова с бородами. Другие и того пуще, видят в нем ненавистника Петра, непотребный сын, готовый разрушить и Петербург, и Петергоф, все построенное отцом, всех его сподвижников выгнать, с корнем вырвать все отцовские начала. Есть мнение, что Алексей не сам по себе был опасен, а как знамя тех, кто шел за ним, ревнителей другого пути России. Часто считают историю с Алексеем величайшей трагедией Петра. И одновременно его подвигом. Что может быть выше – принести в жертву Отечеству родного сына! Винят за то, что он не терпел сына, так ведь и сын не терпел отца, желал ему смерти. Петру не так опасен был Алексей, как его окружение. Оно выпестовало взгляды царевича, оно стало серьезной угрозой делу Петра. Сам Алексей был щитом, за которым укрывались Кикин, Лопухин, Игнатьев, Афанасьев – непримиримая оппозиция, а за ними угадывалось и большее: стремление вернуться на теплую лежанку, в ленивую дрему боярской жизни.

„О, бородачи! – восклицал Петр. – Многому злу корень старцы и попы. Отец мой имел дело с одним бородачом, а я с тысячами!“ Снова будут плестись заговоры. Надо было выдернуть корень, иначе никогда не избавиться от постоянной смуты в надежде сменить власть. Не сделать этого, значит, после его смерти начнется шабаш. Первым делом примутся изничтожать права маленького Петра – Петра Петровича, самого его постараются извести.

Обезопасить малого, но как? Обезвредить Алексея, но как? Любое решение – трагедия.

Говорят, что Петр не любил его. Мол, сын от нелюбимой жены. Так, да не так. Нелюбовь отцовскую Алексей сам зара-

ботал. Много лет старался Петр привлечь его к делам. Давал то одно, то другое поручение. Никакого ответного интереса не встречал. Алексей увиливал, лентяйничал. Говорят, что отец мало занимался сыном. Сам Петр, с трех лет лишенный отца, не знал ни отцовских забот, ни хороших наставников, самостоятельно определился и того же ждал от сына. Незаметно сын вымахал в отрока, затем в недоросля. Верзила, ростом удался, а дара к чему-либо не появилось. Дворянских детей Петр жучил за нерадивость, требовал с них мастерства, свой же сын примера не подавал, не работник, не умен, не решителен.

Каково отцу было понять, что сын у него неудачник, толку с него не будет, нельзя оставлять ему государство. А главное – чужой он. Отцовские заботы, военные дела не интересны ему. Слушает в пол-уха, вяло отвечает, смотрит в сторону, глаза квелые. Считалось, что близок к духовенству, так ведь и о теологии всерьез говорить не мог, не разбирался.

Бегство Алексея в Австрию и то, что укрылся он там, вконец разозлило Петра, обозначило их разрыв. Как писал ему Петр в Неаполь: „Презрение к моей воле сделал. Клялся Богом и обманул, ушел и отдался, как изменник, под чужую протекцию".

Изменник – чутье не обмануло Петра, позже он узнал, что Алексей хотел бежать в Швецию к Карлу XII.

Известно, что Петр Андреевич Толстой уговорил Алексея вернуться в Россию, пообещал за это отцовское прощение. Привезли царевича. Допросили. Алексей отвечал уклончиво. Петр приказал учинить следствие и судить.

Суд судом, но Петру надо было для себя найти ответ. Приближенные царевича признавались, что угроза постричь царевича в монахи их не пугала, они обсуждали с Алексеем – монах не гарантия надежного отрешения от престола: „Клобук не гвоздем прибит".

Как обезвредить сына? Так, чтобы не претендовал, чтобы на корону не рассчитывал, чтобы заговоры вокруг него не клубились? Что бы с Алексеем ни делать, какие бы клятвы с него

ни брать, все равно он – наследник. В своих планах заговорщики это предусмотрели. Что может государь? Да ничего не может. „Клобук не гвоздем прибит“ – слова Кикина. Он знал, что говорил. Кикина казнить можно, а что с царевичем делать? Где выход?

Сколько ни думал Петр, все склонялось к одному ужасному решению.

Если бы Алексей впрямь не претендовал на престол, он мог бы давно уйти в монастырь. Так ведь не ушел. Мог в Австрии объявить себя частным гражданином, отказаться от наследства. Не сделал и этого.

Ясно, что Алексей не уйдет на покой, как обещал. Не раз он нарушал свои обещания, даже клятвы. Слабый он, уговорят его. В Вене царевичу спешили признаться в верности те, кто слыхал, что здоровье Петра пошатнулось, и Алексей воспылал надеждой.

Он был отцом Алексея, и он был отцом четырехлетнего Петра Петровича, их ненаглядной „шишечки“. Как сложится судьба малыша? Катерина не скрывала своих тревог. Само собой считалось, что родился наследник престола, они оба, родители, были счастливы. Теперь, когда раскрылся заговор, над жизнью маленького нависла угроза. „Они“ ни перед чем не остановятся, так считала Катерина. Она осторожно толкала его к выбору, Меншиков напоминал о прошлом: Софья и Петр, сводный брат и сводная сестра, та, что хотела его уничтожить, заговор стрельцов, смута... история могла повториться. Страшные картины детства тотчас всплывали в памяти. В окровавленных снах истошно кричал Иван Нарышкин, Петр вскакивал в ужасе, не понимая, где явь.

Жизнь Петруши зависит от участи Алексея – уверяла Катерина. Будущее ей виделось уже без супруга, разумелось, что его уже нет.

О смерти Петр не позволял себе думать, но в последнее время открыл, что окружающие люди почувствовали в нем непрочность, обнаружили, что и он смертен. Алексей следил за болезнями отца, поэтому и хотел затаиться в Вене, ждал.

Библейскому Аврааму было легче, Господь Бог был хозяином его жизни, Бог решал за Авраама.

Учитель напомнил нам ту библейскую притчу.

Бог потребовал у Авраама: „Возьми сына твоего единственного, которого ты любишь, Исаака, и принеси его в жертву всесожжения“. Богу надо было испытать Авраама. Но Авраам не знал об испытании. Он знал лишь повеление Бога. Прав или не прав Бог, для Авраама такого вопроса не существовало. Раз нужно Господу, то этого достаточно. Его вера была абсолютна, не критична, на то она и вера. Если бы Господь стал приводить мотивы своего требования, Авраам мог усомниться, спорить. Но Господь ничего не объяснял. И Авраам взял сына и повел его. Сын спросил: „Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?“ Отец отвечал: „Вот усмотрел себе агнца для всесожжения, сын мой“. Исаак все понял и попросил связать его. В последний миг, когда связанный Исаак лежал на жертвеннике и Авраам поднял руку с ножом, чтобы заколоть его, ангел остановил жертвоприношение.

Вера Авраама исключала сознание греховности его поступка. Господь не мог повелеть ничего противобожеского, злодейского.

Авраам любил Исаака, Петр недолюбливал Алексея, Аврааму Бог приказал, Петру никто не приказывал, ему самому надо было взять нож и занести над Алексеем? И не было ангела, чтобы остановить его.

Что служило ему оправданием?

С годами его все сильнее захватывала идея Отчизны. Ради нее он не щадил себя, не считался со здоровьем, ради нее мог даже отстранить от себя лучшего друга детства – Алексашку Меншикова. Идея Отчизны придавала силы, она же порабощала, снимала нравственные запреты.

Идея Отчизны несравнима с верой в Бога, поэтому Петру было совсем не просто переступить и традиции, и общечеловеческое, и мнения общества, и религиозное чувство, и пойти на столь неслыханное в истории. Он попробовал опереться на юридическую процедуру.

Издал указ, где писал, что он самолично мог бы назначить наказание, но желает иметь решение суда. Велел пригласить судий из всех сословий – крупных вельмож, чиновников, начиная от Александра Меншикова, графа Апраксина, барона Шафирова, вплоть до людей худородных, к примеру прапорщика Ивана Веревкина, который подписался крестом. Всего 127 человек. Огромный состав на самом деле судопроизводством не занялся, допроса Алексею не устраивал. Российский суд считал, что мнение царя известно, процедуру провели формально, все единогласно были за смертную казнь. Учитель же был уверен, что Петр и впрямь желал знать истинное мнение окружающих. Он предупреждал настоятельно:

„... сделайте правду, не погубите душ своих и моей, чтоб совести наши остались чисты в день страшного испытания и отечество наше безбедно".

Уверяют, что все это говорилось проформы ради, что Петр заботился о том, как воспримут это происшествие в Европе, и тщательно обставлял законностью. И еще думал о том, как история станет изображать это дело. Чувство истории у Петра было развито сильно. Он хорошо представлял свою значимость не только в истории России. На память о каждой победе, о каждом походе изготавливали медали, на них изображалась персона царя и надпись, которую он утверждал.

Вот Геркулес держит на плечах земной шар с надписями: Лифляндия, Нарва, Ревель, Дерпт, Рига. Надпись по-латыни из Овидия: „У меня хватит сил поднять такую тяжесть". А на обороте – портрет Петра.

В память сражения при Гангуте медаль с портретом Петра в лавровом венке и надпись: „Прилежание и верность превосходят силу".

На другой медали: „Небываемое бывает". И так далее. Петр тщательно оберегал свою историческую репутацию.

По словам учителя, судьям ничего не грозило. Сделав такое публичное заявление, Петр не стал бы преследовать защитника царевича. Учитель убежден был, что Петр ждал такого слова. Раздался бы голос смельчака, и та часть души Петра,

что противилась, может, остановила бы его. Почему никто не увидел в этом богопротивного дела? Хоть бы кто выразил сомнение, нет, всюду он встречал угодливую послушность. Не верили?.. Одна речь до суда, другая после... Хоть и царское слово, но береженого Бог бережет... Опасение половина спасения...

Судьи дружно повторяли: „Распни его!“, толпа никогда не кричит: „Пощади!“.

Всем казалось, что они с царем заодно, учитель же считал, что все покинули царя, оставили его одного в этом тягчайшем выборе. Единодушие толпы дешево стоит, Петр это знал, тогда он попробовал обратиться к духовенству. Те в ответ уклонились, лукаво предложили выписки из Священного Писания. На выбор. Одни цитаты разрешали за неповиновение наказывать детей строжайше, вплоть до казни: „Господь сказал Моисею: сын, который злоречив отцу своему и матери, – достоин смерти“, „Чти отца и мать, тот же кто злословит их смертию да умрет“. Другие цитаты позволяли прощать детей по образцу притчи о блудном сыне.

Что мог почерпнуть Петр в притче о блудном сыне, который не покушался на жизнь отца, который вернулся сам в отчий дом?

Машина следствия, между тем, пытками выжимала новые и новые свидетельства преступных замыслов царевича.

Законники не осмелились напомнить царю его обещание – не наказывать сына, если тот вернется в Россию.

Никто не вступился за царевича, никто не думал о Петре, о его репутации, все интересы были направлены к собственной выгоде. Идея Отчизны была для них слишком новой, да и отвлеченной. Это Петр воспринимал Россию целиком, для остальных понятие России дробилось на собственные вотчины, деревни, земли. В годы войны – вот тогда родина была страной, которую требовалось защищать от иноземцев, война могла дать новые земли, выход к морю, это было понятно, зримо.

Сила, с которой столкнулся Петр, таилась не в самом Алексее – безвольном, неумном. За ним Петру виделись тысячи „бородачей“.

Наступил час, и перед Петром положили приговор со всеми подписями, оставалось лишь утвердить. Трагедия приближалась к завершению.

Ему вспомнился подходящий пример из римской истории. Когда царь Тарквиний измучил римлян войнами, репрессиями, своим честолюбием, его прогнали, Рим перешел к республике, и избранные консулы поклялись ни при каких обстоятельствах не возвращать царское правление. Конечно, нашлись защитники монархии. Среди них оказались оба сына консула Юния Брута. Они вступили в заговор со свергнутым царем. Заговор раскрылся, и Брут должен был судить собственных сыновей.

На площади перед Форумом собрался народ, ожидали, как поступит Брут, не заставит ли его отцовское чувство нарушить правосудие. Юношей привязали к столбам. Ликторы встали перед ними наготове, ожидая команды. Юний Брут попрощался с сыновьями и твердо приказал ликторам исполнять приговор. При нем сыновей раздели, бичевали и затем обезглавили. Римские историки оценили его поступок как подвиг, как высшую жертву, какую гражданин может принести государству. На примере Юния Брута воспитывали у молодежи римский дух – не обращать внимания на собственную личность, когда дело идет об интересах республики.

Петр надрывался, пытаясь сдвинуть с места русскую махину, хрустели кости, летели головы, и вот, когда из крови и проклятий показалась, наконец, явь новой страны, когда она вышла из захолустья в Европу, морские ветры наполнили ее паруса, на пути встала пустая, ничтожная фигура его сына, грозя порушить все, что было сделано. Оставить ему власть значило обесценить все принесенные жертвы, тысячи павших солдат. Нет, не от сына избавлялся он, а от противника своего дела, ради которого он не щадил себя. Отец мог простить, но он был государь и не имел права предать тех, кто шел за ним.

Учитель стиснул голову, голос его изменился.

– О, вы не знаете, какая это ужасная сила, когда идея захватит душу. Я это испытал. Меня пытались остановить. Куда там. Я был как одержимый... рукопись арестовали, а меня выгоняли отовсюду... Господи, какой я был страшный, я готов был изувечить, убить. Странно, я тогда понимал Петра лучше, чем сейчас. Верность идее заставила его пойти на убийство. Думаете, он не понимал, как потомство будет судить его? Все понимал. Что делать, как говорил Гёте, мир сделан не из каши, есть и кости, есть и корни, их тоже приходится грызть и переваривать.

– Да, да, это точно, – подхватил Дремов с какой-то неприятной радостью. – Страшно, во что превращаются люди, поглощенные своей идеей. Лучше всех об этом написал Достоевский. Кто такой Родион Раскольников? Он есть человек, страдающий идеей. И вот в чем открытие Достоевского – ни любовь, ни суд, ни каторга не в силах избавить Раскольникова от его идеи, напрасно Сонечка читает ему Евангелие. Он не в силах вырваться из плена идеи. У него не получилось потому, что он слаб оказался, не выдержал, вот что его мучит, а не то, что убил двух людей. Автор ничего не может поделать с ним, никак не удается привести его к раскаянию. Никакими способами.

Эта нераскаянность составляла суть той инсценировки романа Достоевского, которую сделал Дремов со своим другом. Ее отвергли, сочли искажением классики. Кроме того, нашли в ней много опасных ассоциаций, авторы как бы подводили к мысли, что Раскольников – это предтеча вождя типа Ленина, во многом и Сталина, но особенно Ленина. Дремов ушел из театра, но мечта о спектакле, не похожем на все другие инсценировки романа, жила в нем.

– Да, так-то оно так, и все же, скажу вам, рука его, занесенная для подписи, в последний миг остановилась! – сказал Молочков.

В Москве, в архиве, учителю довелось держать в руках приговор, чернила порыжели, бумага осталась такой же плотной,

жесткой. С каким-то восторгом Молочков признался, что этот документ дышал теми чувствами, что когда-то обуревали Петра, – никак он не мог решиться, тянул и тянул время и не подписывал.

Знал ли он, что, измученный пытками, Алексей кончается в Петропавловском каземате?

Есть разные версии смерти царевича – то ли его удушили, добили, то ли смертельными оказались удары кнутом, что нанес Петр. Пушкин придерживался версии, что Алексея отравили.

Скорее всего, он умер своей смертью. От пыток и побоев. Так считал учитель. Приказа казнить не было, приговор не был утвержден, но все равно отца считали виновником смерти сына, убийцей. Наверное, это справедливо.

Драма, которую испытал Петр, была для него неразрешима, – настаивал учитель. Узел его противоречий никто не в силах развязать, похоже, что выхода достойного у него не было.

– Отцы! Высечь царевича надо было, – предложил Гераскин. – Снять штаны и на площади высечь! Какой он после этого царь? Плюс женить на такой бабе, чтобы пикнуть не дала.

Были и другие варианты – сделать сенатором, чтобы дурь его всем стала видна, кастрировать, объявить внебрачным сыном... Советы надавали учителю, как будто он мог передать их царю, на самом деле хотели как-то успокоить Молочкова. Разговор скатился к тому, что это за власть, что за идея, которая заставляет отца уничтожить сына. По словам Дремова, Российская империя утвердилась на крови одного царевича Алексея и завершилась кровью другого царевича Алексея.

– Надо иметь мужество, – рассуждал Дремов, – представить воцарение Алексея Петровича на русском троне. С его мстительностью к соратникам отца, с ненавистью к отцовским реформам. В итоге россияне осуждали бы Петра за то, что он загубил свое дело. Так древние римляне осуждали Марка Аврелия за то, что он оставил свое царство сыну Коммоду, явно порочному, беспутному выродку.

А Марк Аврелий был великий философ и великий римский император, единственное в истории сочетание такого рода. А сын? Кровожадный, коварный, верный закону силы, он должен был взойти на престол. Вместо того чтобы устранить его, отец представил его войску как законного наследника. Неисчислимые мерзости, убийства сопровождали его царствие. В конце концов его сестра, дочь Марка Аврелия, убила собственного брата, сделала это за отца, проклиная великого императора, который сохранял чистоту своей совести и правопорядок. История увенчала Марка Аврелия славой добродетельного мудрого правителя. Репутация Петра Великого осталась запятнанной. Такие фарсы разыгрывает история.

– Фарсы... – повторил Молочков, удивленно вслушиваясь в это слово. – Действительно... Через два месяца, осенью, Петр обнаружил, что мальчик плох. Екатерина долго скрывала это от него, ее „шишечка“ был объявлен наследником, а он не ходил. – Молочков передохнул. – На следующий год погиб и он.

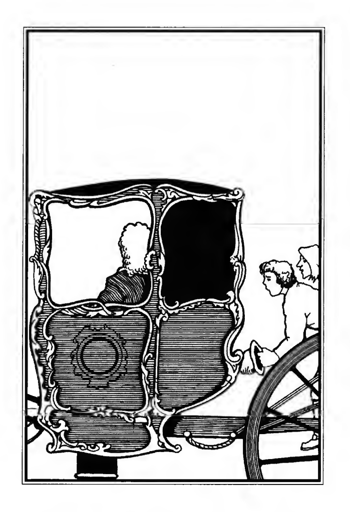
Молочков голову опустил, словно виноват был он.

Первым заговорил профессор. О том, что значит казнить человека, – никогда нельзя знать, смерть его будет благом или благом могла стать его жизнь. Оттого, что умер маленький царевич, исчезло утаенное от всех оправдание казни Алексея. Произошло то, чего Петр никак не предвидел. Преступление всегда имеет продолжение.

Дотошность профессора испортила наше молчание, есть вещи, о которых лучше не рассуждать, но есть люди, которые считают себя обязанными все выложить до конца.

17 Заказ № 164

Глава двадцать четвертая



ЗАГАДКА МЕНШИКОВА

Про Меншикова у Молочкова было свое мнение. Если Петр многое прощал ему, значит, имел причины. Объяснения историков не устраивали учителя.

С 1713 года комиссия Василия Долгорукова стала расследовать злоупотребления Меншикова и других вельмож. Речь шла о поставках хлеба в новую столицу. Вместо того чтобы устраивать, как положено, торги, где выигрывает тот, кто берется поставить хлеб по самой низкой цене за пуд, вельможи заключали сделки по самой высокой цене. Свое участие скрывали подставными именами. Меншиков заставил заключать подряды своего заместителя, вице-губернатора Петербурга Римского-Корсакова.

Поскольку в деле замешаны оказались такие сановники, как Апраксин, Головин, Кикин, государь приказал Василию Долгорукову вести дознание строжайшим способом.

Впрочем, комиссия в понуканиях не нуждалась, за следствие она взялась с рвением, Меншикова не любили, он давно раздражал Долгоруких своим надменным поведением и стяжательством. За короткое время превзошел богатством тех же Долгоруких, что еще у Ивана Грозного служили воеводами. Каким образом, откуда набрал он столько?

Исследовав хлебное дело, комиссия нашла Меншикова виновным. Председатель попросил у царя приема.

Государь назначил день и принял его в токарной мастерской. Василий Долгоруков принес материалы следствия. Мастерскую велено было запереть, они уселись, и Долгоруков стал читать заключение.

Не прошло и получаса, как в дверь застучали. Государь подумал, что это Екатерина, она одна знала, где он находится, но

он запретил ей тревожить себя, в гневе открыл он дверь, там был Меншиков. Петр слова не успел промолвить, Меншиков ворвался в мастерскую, упал перед Петром на колени, заплакал – злодеи хотят его погубить, возводят поклепы. Проведал-таки проныра, тайная служба сработала.

Василий Долгоруков возмутился, прервав жалобы князя, сказал, что напрасно он бьет челом, не злодеи, а назначенная комиссия изучала дело со всем тщанием, и дело это само уличает Меншикова в нарушениях государственного интереса.

Меншиков, не слушая его, рыдал, обнимал сапоги государя, напоминал об их отроческой дружбе, о том, как они играли, как тешились с покойным Лефортом.

Петр смущенно пытался высвободиться из рук Меншикова, наконец, попросил Долгорукова перенести слушание дела на другой день.

Через некоторое время он сам пожаловал к Долгорукову и внимательно дослушал заключение комиссии. Закончив чтение, Долгоруков попросил у государя резолюции. Петр молча ходил по комнате, потом произнес знаменательную фразу.

– Не тебе, князь, судить меня с Данилычем, судить нас с ним будет Бог!

Но Долгоруков упорчиво добивался результата, какое-то решение комиссия обязана была вынести. Понимая колебания государя, он рассказал, как его родича, Лобанова, обокрал управитель. Лобанов не знал, что делать с этим управителем, на что Долгоруков посоветовал высечь мошенника и сослать в деревню на работу. Лобанов признался, что привык к нему с детства и любит его.

– Помогал ли кто управляющему обкрадывать? Помогал ключник? Возьми этого ключника и при управляющем высеки как следует, то есть накажи за управляющего, – посоветовал Долгоруков.

Так Лобанов и сделал. „Меншикову помогал Корсаков, накажи при всех его за общее плутовство, тем самым, государь, ты проучишь обоих и Меншикова устыдишь“.

Петр сказал:

– Ты что же, равняешь меня с этим дураком Лобановым?

– Не равняю, – сказал Долгоруков, – но безнаказанно нельзя оставлять дело. Ведь ты не можешь расстаться с Меншиковым.

Долгоруков попал в точку. Государь не хотел отпустить Меншикова в силу привязанности, давней любви, но было и другое. Никто, кроме Петра, не знал, какой воз тянет на себе князь. Строительство новой столицы, управление ею, организация городской жизни, Петергоф, Стрельна – все лежало на Меншикове, заменить его было некем, никто не сумел бы так ловко, напористо справляться с этим быстро растущим хозяйством. День и ночь Меншиков трудился в порту и на верфях, занимался поставками камня, кирпича, леса, рабочей силы, строил крепость, дороги, казармы, помогал посольствам, духовенству, аптекарским огородам, госпиталям. Его, чуть что, Петр посылал то на Украину формировать драгунские полки, то в Курляндию, поручал ему Воинскую коллегию, морские дела, дипломатические переговоры.

Увещевать Меншикова было бесполезно, алчность его никакими просьбами, угрозами умерить невозможно – Петр это понимал.

Долгоруков занимался лихоманством Меншикова, а учитель, подобно адвокату, пытался вычислить известные Петру заслуги сподвижника.

Прошел месяц. Государь молчит. Василий Долгоруков не отступается, встречая государя, выжидающе смотрит. Ответа нет. Ропот в Сенате все громче – почему светлейшему князю все дозволено, до каких пор это будет продолжаться, к другим государь суров, не прощает их, этого же покрывает. Почему? Долгоруков запрашивает – что делать с материалами следствия? Нужна какая-то резолюция.

В ответ от государя присылают новых членов комиссии – капитанов из лейб-гвардии, лиц беспристрастных, кои пользуются полным доверием царя. Долгоруков, несмотря на обиду, выкладывает перед обновленною комиссией собранные материалы. Тщательно проверив, комиссия подтвердила прежнее

заключение копейка в копеечку. Долгоруков пробился к государю, доложил, что комиссия вызовет Меншикова, допросит его пункт за пунктом, по всем материалам. Докладывал твердо, комиссия полна решимости довести дело до конца. Не должен государь более препятствовать. Тот и в самом деле хоть и нахмурился, но не возражал, сказал, что сам придет слушать допрос Меншикова.

Началось заседание. Кроме истории с откупами, комиссия обнаружила, что Меншиков самым бесцеремонным образом брал деньги из казны и не отчитывался. Подсчитали и ахнули – более миллиона рублей казенных денег истратил! Сумма по тем временам неслыханная, соразмерная с расходами на все Адмиралтейство. Сюрприз этот комиссия приберегла и для Меншикова, и для государя. Полагали, что одного этого достаточно, чтобы сломить казнокрада, лишить его всякой попытки оправдаться. Не тут-то было. Оказалось, что у Меншикова заготовлена оправдательная бумага, значит, опять откуда-то знал о приготовленном обвинении. Повинную свою бумагу он, упав на колени, подал государю и произнес при этом прочувствованную речь о своей преданности, о том, что вся жизнь его, с малолетства, была посвящена служению Петру, ничего другого для него нет и быть не может, что же касается казенных денег, да, виноват, но за большую часть может отчитаться, часть возместит, пусть все его имущество возьмут, лишь бы государь не лишил его своего расположения... И все это с рыданиями, от души, так что нельзя не расчувствоваться.

Бумагу Петр никому не передал, стал сам читать, поморщился, сказал Меншикову, что написано плохо, надо ее исправить.

Услышав это, молодой капитан из лейб-гвардии обратился к членам комиссии:

– Пойдемте, господа, нам здесь делать нечего, – надел шляпу, направился к двери.

– Куда это ты? – спросил Петр.

– Домой.

– Как домой? – сердито крикнул Петр.

– А что нам здесь делать?

– Заседать!

– Какой толк заседать, если ты, государь, сам учишь князя, как ему ловчее нам ответить.

Капитан говорил в сердцах, повышая голос:

– Тогда, государь, и суди его сам как тебе угодно, а мы только мешать будем.

Петр хмыкнул, попросил его вернуться и сказать, как он хочет вести дело дальше.

На том же запале капитал предложил бумагу прочесть вслух, чтобы все знали доводы Меншикова, и пусть при этом он стоит у дверей, как положено всем подсудимым, после прочтения удалить его, и судьи могут начать обсуждать, то есть соблюдать принятую обычно процедуру. Не делать светлейшему князю поблажек из порядка, установленного его величеством.

Выслушав речь капитана, Петр сказал Меншикову:

– Данилыч, слыхал, как надо поступать? Они тут хозяева.

Зачитали бумагу и Меншикову приказали выйти.

Молодой капитан, как самый младший, по указанию Василия Долгорукова начал с того, что первому вельможе, отмеченному монархом, следует служить примером в беспорочной службе, вместо этого он искушает прочих своими соблазнами, за это наказать следует в страх другим. Наказание сделать окончательное, чтобы жалобы и слезы не могли отменить его, то есть отсечь голову, имения же его наворованные отписать в казну.

Следующие судьи были не так жестоки, одни требовали сослать, другие привязать к позорному столбу.

Петр мрачнел. Когда все отговорили, он стал перечислять заслуги Меншикова. Военные. Дипломатические. По созданию столицы, да заметил, что слушают его без интереса, и осердился. Понял, что никакими заслугами их не сбить. У них твердая опора – закон, с такой правдой они могут стоять несгибаемо. Да только правда, господа члены комиссии, бывает не одна. Воруют все поголовно, назовите мне честного губернатора, спа-

сения нет от поборов, скольких пороли, выгоняли, казнили, лучше не стало. И Меншиков вор из первейших, спору нет, да только с одним отличием от всех других – работник он тоже первейший. За десятерых справляется. Разжаловать легко и казнить нетрудно. А с кем останемся? С бесталанными лихоимцами, от которых толку нет? Казнокрадов тьмы, так ведь к тому же бездари. На Меншикова он может любое дело возложить, уехать и не тревожиться. Меншиков, он с лету все подхватит.

– Кто мне его заменит? – наступал государь, тыча пальцем в грудь неуступчивого капитана. – Управитель, талантом отмеченный, умный, и согрешит, и поправит, а с дурака что взять. Вы рассудите, есть ли выгода в том, что советуете.

Он вспомнил случай, когда Меншиков спас ему жизнь и награды не требовал. Не это государь ему в зачет ставил, а то, что неблагодарность худшая черта.

Комиссия схватилась за этот довод – раз подсудимый имел счастье спасти жизнь государя, он заслуживает снисхождения, комиссия имеет право просить о помиловании подсудимого.

Они называли его не иначе как подсудимый.

Доклад письменный о подрядах с подставными лицами гласил, что в течение пяти лет наворовано было на полтораста тысяч рублей. Резолюцию государь поставил, чтобы „за подставу" взять с Меншикова всю прибыль, да еще штрафу полтинник с каждого рубля.

Кроме денежного, другого наказания государь не сделал. „Меншикова в должности оставляю. Он мне нужен".

Досада у Петра осталась, чувствовал себя правым, а было стыдно, обычно у него просили за преступников, тут он просил за вора. Досаду свою выместил на Меншикове, не откладывая, не рассказывая, как защищал.

Он знал, что никто, никто не любил светлейшего. Разве что Екатерина. Та хлопотала за него, от нее он вызнавал про опасности, что грозили ему, она, видать, подослала его в токарню. Помнила, кто ее подвел к царю. Но от всех других дружбы не

было. Были сговоры, была выгода, и только. Одинок был светлейший.

Только Петр знал, что он единственный друг у Меншикова. В нем он любил свою юность, похождения в Москве, в Голландии, в Англии, их попойки, карнавалы, гульбу. В их близости было то, о чем никто не знает и не узнает. Меншиков мог без колебаний за Петра положить голову, за три десятилетия много раз проверено. Сколько приспешников не выдержали, душой и умом не поспевали за Петром, этот же мчится без устали и вровень, а то и с обгоном. Может, для него Петр был и впрямь любовью, оправданием его жизни, потому как о долге своем перед Отчизной Меншиков не задумывался.

Что касается казенных денег, то следственная комиссия предложила вернуть их. Вернуть? Лишиться полмиллиона рублей было выше сил для Меншикова, и он вступил в тяжбу с канцелярией. Доказательства его имели деликатную подоплеку – к примеру, сделан подарок министру датскому, была взятка при дворе австрийском, там же заплачено соглядатаям, портрет Петра, осыпанный бриллиантами, преподнесен герцогу Мальборо... Следственная комиссия не могла проверить таких расходов, подлинны они или преувеличены. Чиновники ожесточились, продолжали копаться в бумагах, нашли новые злоупотребления, доказали, что сумму начета надо увеличить. Война разгоралась. После дела царевича Василия Долгорукова как замешанного в деле отстранили, начальником следственной канцелярии поставили Петра Голицына. Брат фельдмаршала, Петр Голицын чувствовал себя представителем той московской знати, которая терпеть не могла надменности выскочки Меншикова. Следствие нашло еще почти триста тысяч рублей на взыскание.

Меншиков в ответ подает убедительные выкладки, по которым не он, а казна ему должна.

Тем временем перепись показала, что у Меншикова во владении 50 тысяч душ крестьян, пожалованных ему в разные времена государем, сверх этого в его имениях есть 32 тысячи душ

беглых и прочего звания. Об этом Петру доложили, он велел возвратить беглых прежним хозяевам. Мало того, развезти их за счет Меншикова.

Делать это Меншиков не собирался. Свои владения он продолжал увеличивать, захватывая у соседей новые земли вместе с деревнями, и превращал крестьян – украинских казаков – в новых своих крепостных.

Управляющий его поместьями на юге Воронов предложил князю оформить свои приобретения, наняв, за соответственное вознаграждение, межевщика, то есть землемера. Нашел такого землемера, представил его князю. Тот рассказал, как он будет спрямлять в пользу князя земли соседей – мелкопоместных дворян. Жаловаться на светлейшего они не посмеют, да и до Петербурга им не дотянуться.

Воронов правильно рассчитал – жадность заставила Меншикова пренебречь беззаконностью сделки. Устоять перед возможностью поживиться, притом крупно, он не мог. Сойдет и это, рассуждал он. Дал согласие, и Воронов с межевщиком принялись спрямлять, отрезая у соседей их наделы.

Соседи помалкивали, боялись жаловаться, межевщик хозяйничал как хотел. Каким-то образом один из обиженных оказался в Петербурге, стал спрашивать – к кому обратиться? Посоветовали к Долгоруковым, к самому ярому из них правдолюбцу – Якову Федоровичу. И правильно, он не убоялся доложить о чинимом произволе государю. Посоветовал, ничего не сообщая Меншикову, взять его управителя с бумагами, доставить в столицу, провести дознание, чтобы хозяин его не мог отпереться.

Однако у Меншикова оповещение было налажено. Не успел Долгоруков уехать из дворца, как Меншиков шлет нарочного к Воронову, приказывая немедленно скрыться. Наряженный государем посланник отправляется за ним и не находит. Куда отбыл – неизвестно. Посылают второго, также возвращается ни с чем.

Петр понимает, что происходит. Самые надежные – офицеры лейб-гвардии. На это дело выбирает он капрала Мику-

лина. Чтобы захватить Воронова, осуществляют систему дезинформации. Разглашают маршрут Микулина – сперва по дороге выполнить такие-то поручения государя и только под конец заехать в село, где живет Воронов.

Меншиков посылает своих гонцов, велит им укараулить Микулина на полдороге, сообщить о том Воронову, чтобы тот успел, взяв бумаги, спрятаться.

Кто кого перехитрит. Микулин знал, с кем дело имеет, он пробирается к селу иной дорогой, незаметно въезжает ночью. Застав Воронова спящим, схватил его, забрал все бумаги и ночью же той же окольной дорогой повез в столицу.

Доставил прямо во дворец. Как предписывал государь, все вроде сделали втайне, все равно Меншикову тут же донесли, он помчался к императрице. Знал, что лучше всего начинать с нее, она подготовит государя, размягчит его. Перед ней пасть на колени и молить о защите. Не то чтобы оправдываться, нет, сжальтесь – вот его линия – сжальтесь над верным слугой, сколько лет служу вам... Он не напоминает, что стоит на коленях перед той, что стирала ему рубахи, обмывала его пьяного, прачка, солдатская прислужница, которую он уступил государю. Никогда он на этом не играл.

Но к государю лучше применить другой прием. Раскаяние и слезы – исчерпаны. И Меншиков придумывает ход, чтобы в самое сердце попасть.

Появился перед государем в старом мундире, времен Полтавской битвы, поношенном, рваном, измазанном порохом, кровью убитых под ним лошадей, трех коней тогда настигли пули. На мундире ни одного ордена, ни одной медали, все ордена, все знаки, ленты сложил в плетеную корзинку, поставил ее перед государем, рядом положил шпагу, украшенную рубинами, подарок царя. Недостоин он это носить, недостоин!

Упал перед государем. Не защищался, не ссылался на врагов своих, единственное, что просил, чтобы наказал его сам государь.

Петр перебирал ордена, вспоминал: за взятие Нарвы, за Полтаву, прусский „Черного Орла“, датский „Белого Слона“,

маршальский жезл с бриллиантами, Александра Невского, а еще при взятии Ниеншанца, когда Меншиков уничтожил две сотни шведских солдат, захватил большой обоз и две тысячи гражданских лиц. Здесь, в корзинке, лежала вся история их побед. Во всех решающих сражениях он действовал смело, себя не берег.

...Но себя и не забывал. Где только мог, исхитрялся найти барыш. Брал по-крупному. Надеялся на свою близость к царю, выпрашивал без стеснения.

...Неизвестно, как бы обернулось дело под Полтавой, если б Меншиков не рванул кавалерией, всеми полками не ударил. Шведы в лес, он за ними, те сдались, он тут же, не мешкая, повернул на резервный шведский корпус, в самый крайний момент угадал, врезался в гущу, под ним три лошади убило, погнал шведов, рассеял их, генерал за генералом ему сдавались.

Кавалерия Меншикова поспевала повсюду. Это его полк по началу боя заметил, как во мгле перед рассветом, крадучись, приближались к лагерю шведы.

... Не терпел ни у кого быть под началом. Интриги плел, интригами устранил фельдмаршала Огильви. Государь пригласил того еще в 1703 году командовать армией, а Меншиков стал наговаривать царю на шотландца, обвинял его чуть ли не в измене.

...А в погоню за отступающими шведами, за Карлом, ринулся кто – Меншиков со своими драгунами! Преследовал их по пятам, настигал „бегучих“. 16 000 сдались ему в плен! Петр тогда промедлил, а Меншиков его уговорил времени не терять, преследовать отступающих из-под Полтавы и чуть-чуть не схватил Карла XII, такие были пироги.

...Всех раздражала заносчивость его, других, таких же худородных, он не терпел. Судачили о его богатствах, наградах, под-

считывали, сколько у него десятин земли, завидовали. Но ведь работал без устали, день и ночь.

... Убеждал Петра, что никто лучше его, Меншикова, не справится. „Напрасно государь приближает к себе Ягужинского, он польских кровей, ему Россия мачеха, он меня не заменит". Прямо так, по-наглому, напирал. Представить себе не мог, что какой-нибудь Остерман заменить его способен, и ведь прав был, мерзавец, так, чтобы на все стороны, по всем оказиям, никто не мог с ним тягаться. Никто, кроме государя, первенство его признавал, пожалуй, единственный, перед кем он искренне склонялся.

Битву при Калише он выиграл, показал, что и без наемных иноземных генералов побеждать умеем. Странно, но, чем больше он следовал за Петром, тем больше обретал себя. С юных лет он появился при Петре, не имея ни связей, ни прошлого, ни воспитания, он приблизился к Петру, будучи никем, подражал ему в чем мог, пытался угнаться за его мыслью, перенял его стремительную походку, отпустил петровские усики, но вдруг обнаружились его собственные дарования, а затем и пороки. Неизменной оставалась его верность Петру, верность была его девизом, сущностью его служения, его оправданием, Петр служил Отечеству, Меншиков Петру.

У древних греков деньги открывали дорогу к власти, в России власть открывала дорогу к деньгам. Пока шла война, Меншиков храбро воевал, не очень-то думал о наживе, так, прихватывал попутно, но после Полтавы загребать принялся жадно, насытиться не мог, сколько ни получал от царя, все было мало. К тому же еще доносят, что завел счета в Лионском банке и Амстердамском. Это зачем? От этих заграничных счетов шел холодок.

...Изо всех сил старался подражать роскоши французских, английских аристократов. Насмотрелся заграничной жизни и

у себя завел пажей, камер-юнкеров, камергеров, напялил на них шитые золотом синие мундиры, на башмаках золотые пряжки, ноги в шелковых чулках с золотыми стрелками.

Обеды готовили повара, выписанные из Парижа. Сервизы золотые. Винные погреба огромны, как в немецких замках. В Летний дворец к государю отправлялся через Неву на ялике, выложенном внутри зеленым бархатом, снаружи раззолоченном, не то что Петр, который плыл на простой лодке. Мостов через Неву не было. За князем следовала флотилия. Зимой впереди его саней скакали верховые, разгоняя народ. В праздники выезд Меншикова представлял торжественное шествие. Карета запряжена шестеркой лошадей, убранных малиновым бархатом с серебряными кистями. Впереди музыканты в бархатных кафтанах с золотыми позументами по швам. Позади отряд драгун.

Слуги Меншикова были разодеты куда шикарнее царя. Когда Петр появлялся во дворце князя в своих чиненых башмаках с медными пряжками, в кафтане из толстого сукна, уже порядочно потертом, чулки штопаные, треугольная фетровая шляпа, – его вид никак не вязался с пышностью княжеских покоев.

– Мне шиковать не из чего, – говорил он. – Жалованье у меня небольшое, а за государственные доходы я отчитываюсь Господу Богу, тратить на себя не могу.

Пышность Меншикова была все же азиатской, слепящей глаза. Не сравнить ее было с утонченным вкусом Шереметевского дома, где собирались ученые люди столицы на вечерние собрания. Убранством и просвещенным весельем отличался дом Кантемиров, там блистала его молодая жена, первая красавица города. У Меншикова на высоких спинках кресел был выткан герб хозяина с княжеской короной с девизом „Virtute dure comite Fortuna“, что означает: „Ведет доблесть, сопутствует удача“.

А в его жалобах комиссии была своя правда: дворцом его государь пользовался часто, приемы, балы, праздники устраи-

вал. Иностранных особ потчевал винами французскими, итальянскими, кухня во дворце была богатейшая, Меншиков не скупился, учинял фейерверки, катание по льду, охоты, представления. Все шло за его счет. Оттого, может, и считал себя вправе возмещать свои расходы из казны.

Смерть царевича Алексея была выгодна Меншикову: как он ни любил Петра, но все же прикидывал наперед – здоровье царя пошатнулось, если что случится, наследницей может стать Екатерина, значит, власть у князя останется, еще прибавится. Казалось бы, интерес имел, на самом же деле никак не подталкивал Петра. В чем тут дело? „Смею утверждать, – сказал Молочков, – что, вопреки всем расхожим мнениям, в глубине души Меншиков был добрый человек, и с годами сердечность его росла. Петр ожесточался, а он мягчал. Приходилось скрывать свои чувства, но когда-нибудь это проявится“.

Следствие комиссии Василия Долгорукова царь не останавливал, канцелярия неукоснительно старалась. На чашу правосудия ложились все новые улики, а вот на ту чашу, где были ратные подвиги Меншикова, его генерал-губернаторство, ничего не прибывало.

Корзину с орденами и шпагой Петр поднял, взвесил, сказал: „Тяжела, но золото, тобой наворованное, наверное, неподъемно“.

Свалилась на пол серебряная медаль за Шлиссельбург. Петр подхватил ее, прищурясь, рассмотрел, перевернул, был он на ней кудрявый, в доспехах, совсем юнец. После взятия крепости пировали, Данилыч привел двух сестричек, несколько дней с ними гуляли, играли голышами, в бане, в темноте – „угадайка“.

Эта серебряная медалька растрогала Петра.

К чему Меншикову были его сокровища, чего ради рисковал, не мог остановиться, хапал и хапал, обогнал уже всех дворцами, драгоценностями, выездами. Добился себе князя с добавкой – светлейший, получил герцога Ижорского, генералиссимуса, тайного действительного советника, генерал-губер-

натора Санкт-Петербургской губернии. Фельдмаршал – наравне с Шереметевым. Когда тот почил, стал главным полководцем России. Превзошел всех приближенных и званиями, и положением. От зависти наговаривали, что мальчишкой пирогами торговал, что подкидыш. Русский человек чужим здоровьем болен.

Он поносил вельмож: „У них мешки с деньгами мхом заросли, лентяи да лежебоки, по лесу ходят, а дров не видят. Весь народ у нас не оборотистый. Пивоваренные заводы надо открывать, гобеленовые, канатные, по золоту ходим, а нищие. Эх, мягкая у государя палка!“

Другие губернаторы командовали, судили, распоряжались, брали взятки. Меншиков делал то же самое, но сверх того создавал всякие предприятия. Строил бумагоделательные мельницы, заводы для посуды. Деловой человек. Открыл торговлю китовым жиром на севере, сельские свои вотчины заставил работать – переработку льна поставил на промышленную ногу, производство масла тоже.

Сопровождая Петра по Европе, Меншиков времени даром не терял. Пока государь учился кораблестроению, знакомился с техникой, культурой, Меншиков приглядывался к бизнесу. Человек смекалистый, он многое усвоил, перенял и стал, пожалуй, первым в России бизнесменом западного толка. С одной только лесопильной мельницы он имел дохода три тысячи рублей, такие доходные мельницы он заводит одну за другой. Оборотистость его выглядела чужеземной и дворянам не нравилась. Среди петровского окружения он слыл западником.

И дворец его в столице имел представительную роскошь, тем, наверное, и устраивал Петра.

Простой мундир, потрепанный, в пороховых опалинах, стал светлейшему тесен. Петр смотрел, улыбался, вспоминал. Отдать Данилыча домогателям, накинутся, растерзают, и что? Уймешь казнокрадство? А с кем он останется. Какой ни есть Меншиков – вор, жулик, выжига, хитрован, но на верность испытан, он петровского дела не предаст. Мог бы остаться в ис-

тории как достойный сподвижник, как первый помощник всех трудов петровских, повсюду – и в бою, и в пиру – рядом с государем, делил с ним солдатскую кашу, с ним плотничал на верфи голландской, разделял и взгляды, и рвение, зачем же испакостил свой образ, зачем? Что есть человек – понять невозможно.

После всех обличений комиссии у царя состоялся тяжелый разговор с Меншиковым. На Меншикове, как он ни отбивался, оставался начет в 150 тысяч рублей и все еще числилось около миллиона рублей, присвоенных из казны.

Когда нависла угроза окончательно лишиться милости Петра и остаться беззащитным перед толпой врагов, он принял отчаянное решение. Так это выглядело для его окружения, на самом деле был блестящий психологический ход.

Приехав к себе во дворец, велел снять все картины, занавеси, убрать ковры. Затем приказал содрать со стен драгоценные обои.

Вечером приехал Петр, наверное, ему доложили. Анфилада оголенных залов выглядела ужасно – в лохмотьях, в мусоре, обнажилась кирпичная кладка.

Меншиков скорбно развел руками, ничего не поделаешь, придется продавать все убранство, чтобы выплатить начеты.

Петр спокойно приказал немедля все повесить обратно, восстановить как было. Знал, что Меншиков на это и рассчитывал – другого такого дворца у царя не было, здесь шли и приемы, и лучшие обеды. Выходило, что Меншиков этой выходкой как бы урок преподал, и не придерешься, все смиренно, вынужденно. Объясняться Петр не стал, но зарубку сделал, быть в зависимости ни от кого не любил, а строить себе дворец не собирался. У Меншикова деньги были свои, у царя же деньги казенные.

Дело Монса еще больше пошатнуло положение Меншикова, трещину было ничем не замазать, все понимали, что не мог

он не знать о шашнях Екатерины, выходит, покрывал ее. Падение Екатерины увлекло бы его, выдать ее царю – значило лишиться защитницы. А будущее подступало грозное, болезнь донимала государя, высасывала силы. Приезжали заграничные врачи, князь выспрашивал их, понимал, что царь шаток, выправится ли – как знать. Жалел и следил, помогает ли лечение. Молился о здоровье государя, заглушал мысли о скорой кончине. Мысли были кощунственные, дьявол их внушал, исподволь князь вербовал, кого мог, на сторону Екатерины, она законная наследница, никто другой, ни дочери, ни внуки.

Молочков должен был согласиться, что кончина государя была и для Екатерины, и для Меншикова лучшим выходом, решала все их проблемы. Приписывать такое не хотелось, да и фактов не было.

Подозревал ли их Петр?

Государь не простил, ничего не обещал. Следствие по Меншикову продолжалось. Насчет Екатерины помалкивал, но она-то знала, что в любой момент могло грянуть – отправит в монастырь, заточит, как первую свою жену.

Видя мучения государя, Меншиков молился, на Рождество и на Крещение, долго стоял на коленях в дворцовой церкви, отлучиться из дворца боялся, бил поклоны, плакал, молил о выздоровлении и знал, что боится того, о чем просит Господа. Было стыдно, признался в этом жене. Дарья утешила, произносила напрямую – пусть Господь приберет без мук, пусть дарует легкую смерть. Из дворца отлучаться остерегался ни на минуту – „дорог час улучкой“.

Когда его в пять утра разбудили, он понял – свершилось.

Петра уже прибрали, закрыли глаза, руки сложили на груди. Он вытянулся, лицо разгладилось.

Государыня рыдала, посмотрела на Меншикова обеспокоено и опять зарыдала.

Меншиков приложился губами к царской руке, рука была холодной. Он все еще не верил. Хотел заплакать и не мог, вытер сухие глаза платком. По-настоящему зарыдал много спустя, в соборе, слушая прощальное слово Феофана Прокоповича.

Меншиков все устроил гладко, быстро, никто не посмел воспротивиться: Екатерина взошла на престол, ей присягнули. Отныне власть его была обеспечена, страхи кончились, никто более не сможет покуситься на его руководство, теперь он мог предаться горю. Он плакал горячо, взахлеб, сладкие воспоминания нахлынули на него, он не стыдился слез.

Первое, что делает Меншиков после воцарения Екатерины, – велит снять насаженные на колья головы казненных. По многу месяцев они гнили для устрашения на лобных местах столицы. Он принял меры снизить подати крестьян, настоял уменьшить чиновный аппарат, постарался улучшить солдатскую жизнь, не посылать их на стройку Ладожского канала. Действовал умно и от души. Быстро прибрал к своим рукам назначенный Верховный тайный совет, так что власти у него еще прибыло. Казалось бы, живи и правь.

Скончалась Екатерина, и Меншиков затеял новую интригу – обручить свою дочь Марию с малолетним императором. Сияние короны не давало ему покоя. Его жажда власти, власти прочной, той, что ввела бы род Меншиковых в царскую семью, эта жажда превзошла жажду богатства и накопительства – император будет его зятем, он герцогом, вторая дочь – герцогиней.

Доброе и дурное, низкое и высокое, умное и дурацкое играли в нем, переливались, показывая его то так то этак, не давая ни на чем остановиться. Но история не терпит полутонов, ей нужна определенность, ее суд как суд присяжных имеет только два решения: виновен – не виновен, хорош или плох. Огромные заслуги Меншикова не пошли в зачет. Если бы историю писал Петр, Меншиков получил бы другой образ, а так остался взяточник, казнокрад. Либо ты герой, либо пес худой, и никаких оправданий, вот в чем беда.

За 14-летнего царя Петра Второго завязалась борьба. Долгорукие тянули его от Меншикова в свою сторону, наговаривали, потакали царским прихотям, Меншиков срывался, позволял себе выговаривать царю. Мнил себя уже чуть ли не тестем,

привык при Екатерине командовать. Это было неосмотрительно. Молочков видел, как он совершал ошибку за ошибкой. Остановить бы его, и Россия сохранила бы умного, человечного управляющего. Поистине, если Господь захочет кого погубить, он его лишает разума. Предостережения не действовали, закусив удила, Меншиков несся навстречу собственной гибели.

История России знала немало временщиков. Они появлялись из безвестности, звездно взлетали, обретали власть, богатства, алчно спешили, думая о себе, а не о России. Тихе – древнегреческое божество Случая – так же внезапно низвергало их, вновь и вновь показывая неустойчивость любого миропорядка. Прихоть, каприз, ничтожный повод приводили их к немилости, любимец судьбы отправлялся в острог, в ссылку, а то и на плаху.

Меншиков был не временщик, не фаворит, он сопровождал Петра от начала до конца, он поднялся и укрепился благодаря своим талантам. Природный ум возмещал ему малограмотность. Недаром Петр так любил его, прощал то, чего не прощал другим. Россия многим обязана Меншикову. Если б он погиб в бою, то сохранился бы героем. Ему поставили бы памятники, его чтили бы, вспоминали добром. Фортуна долго заслоняла его от множества пуль и снарядов, что летели в него, при взятии Нотебурга, Ниеншанца, в Полтавской битве, в сражении под Лесной, под Штетином... Ни одной царапины, словно заколдованный, от каждого сражения лишь новые награды и звания. Баловень удачи, он, подобно Ахиллу, имел лишь одно уязвимое место – его пятой была алчность. Она и погубила его – алчность до денег, до власти, безмерная, все растущая, она ничем не довольствовалась. Что-то есть в этом знакомое, нынешнее, российское. Зачем столько власти, столько денег, драгоценностей, дворцов, дворовых? Почему пример Петра никак не мог отрезвить его?

После смерти Петра следствие над Меншиковым прекратилось само собою, нечего было об этом и думать. Никто уже не мог приструнить его, никаких сдержек не стало. Вкус власти опьянял сильнее жажды денег.

По Фрейду, основной мотив человеческих страстей и желаний таится в сексуальных потребностях человека. Учитель не соглашался с Фрейдом: стремление к власти – вот самая могущественная страсть, властолюбию нет предела, с годами жажда власти не проходит, ее ничем нельзя насытить, импотенция ей не грозит. В самом деле, Меншиков достиг предела, императрица слушалась его, он стал фактическим правителем России, никто не стоял на его пути. И после смерти Екатерины он сохранял свое положение. Но ему всего было мало, он хотел не царской милости, а власти родственной. Когда-то он пытался нечто подобное учинить с Петром, сватал ему свою свояченицу. Не вышло. Петр, в конце концов, посмеялся над этой затеей. Сейчас прежний замысел вспыхнул с такой силой, что светлейший потерял всякую осторожность. Любовь может исчерпать себя, ею можно пресытиться, от власти никто добровольно не отказывался, никто не насыщался ею.

Он стал обращаться с этим прыщавым, крикливым подростком как с наследником. А это был уже император, и Долгоруковы хорошо использовали оплошку Меншикова, распалили юнца. Император озлился, аркан был накинут и тут же затянут. Ему сразу припомнили все грехи, сделали с ним то, на что сам Петр не решился: лишили всего. И сослали...

Натиск на Петра, дворцовая борьба Антону Осиповичу были до удивления знакомы. Ничего не меняется в России. Из всей Петровской эпохи Меншиков получался самым понятным. Антон Осипович легко вписывал его во „властные структуры", нынешние правители приняли бы его как своего. Ему ничего не надо было бы менять, только снять парик, всех устраивало бы княжеское звание, и малограмотность, и то, что своего не упустит, и другим хищникам сдачу даст. Волк, он и триста лет назад волк. „Нам бы такого, – говорил Антон Осипович, – пусть ворует, зато все крутилось бы".

Профессор заволновался.

– Какая судьба! Какая поучительная судьба! Он же доказал, что может не хуже голландцев и англичан. Вот вам и русский

малограмотный мужик! Промышленник! Ему бы после смерти Петра осуществлять то, что тот не успел. У него все для этого было, и опыт, и смекалки хватало, и капитал. Погнался за короной и поскользнулся. Обидно. Такой был шанс для России!

В образе Меншикова чего-то Сереге Дремову не хватало, если бы он играл Меншикова, ему надо было бы еще кое-что, только хапуга, только вояка, только выскочка, пусть даже талантливый работник, – маловато, не хватает еще пружины, той, что увеличивает напор, вопреки всем предупреждениям и страхам. Что придавало ему силы? Деньги, капитал? Он, конечно, боялся Петра, храбрый был человек, пули не страшился, а Петра боялся ужасно, и это понятно, боялся и в то же время не боялся. Вот что озадачивало Дремова и нравилось ему в этом образе, такая диалектика. Не боялся – спрашивается почему?

С чего он взял, что Меншиков не боялся, недоумевал Молочков, впрочем, пожалуй что и так. Молочков пожевал губами, почмокал, неуверенно выдавил про слухи: ходили слухи, бездоказательные... На что Дремов возразил, что, если из истории вычесть слухи, ничего интересного не останется.

– Говорили про их содомский грех, – смущенно сказал Молочков.

– Это что за штука? – спросил Гераскин.

Дремов пояснил:

– Педики, голубые, гомики... Содомцы жили в городе Содом и предпочитали блудить с однополыми. Библию надо читать.

– Про это можно другие книги читать, – обиженно сказал Гераскин. – Как же это наш царь-государь опозорился?

Антон Осипович остановил его:

– Может, это брехня? У него же дети, жена, они с Меншиковым семьянины были.

Молочков виновато сослался на иностранных историков, те приводили донесения послов.

– Иностранцы! – обрадовался Антон Осипович. – Им лишь бы оклеветать. Агенты!

Но Молочков иностранные источники полностью не отвергал. Возможно, такой грех у Петра в молодые годы случался, очень уж был несдержан, нетерпелив. Меншиков начинал денщиком, всегда под рукой был, спал под боком, бывало, на одних полатях. Страдая от кошмаров, Петр приказывал, чтобы кто-то всегда ночью был при нем.

При дворе упорно толковали об этом. Анна Монс при всех Меншикова упрекнула, прямо сказала, что задницу свою подставлял государю.

Гераскин определил Петра как бисексуала. В видах и подвидах сексуалов Гераскин разбирался с удовольствием. Мы, нормальные мужики, оказывается, принадлежали к гетеросексуалам. Даже профессор никогда не задумывался, кто он такой.

Возможно, Петр любил в Меншикове доброе начало, душевность сокровенную, которой ему не хватало? А может, не боялся потому, что пользовался Екатериной, когда она служила у него, так что они были с царем „молочные братья", совместники. Императрица связала их своим ложем?

Все что угодно, только не педерастия, возмущался Антон Осипович, гордость России, ответственный руководитель, как можно верить в подобное! Фальсификаторы! Есть у них доказательства?

Дремов успокаивал его, приводя большой список достойных людей, даже гениев, среди которых были Микеланджело, Марсель Пруст, Чайковский, а уж про императоров и говорить нечего, куча римских плюс Людвиг Баварский, Иван Грозный...

Антон Осипович был удручен.

– Вряд ли сам Петр придавал значение этим поступкам, – говорил Дремов. – Просто когда под рукой не находилось бабы, вот он мог употребить Меншикова, и для того это тоже вроде общественной нагрузки. Наши гомики их не признали бы.

Профессор сказал Антону Осиповичу:

– Человек, не имеющий изъянов, обычно имеет мало достоинств. Когда перед нами великан, мы видим лишь его башмаки, забрызганные грязью, и думаем, что он весь такой. Великан перекликается не с нами, а с другими великанами через века.

Дремов ерошил свою лохматую коричневую шевелюру, пригибался, вертел головой, замирая. Мы знали, что это его манера думать, разыгрывая для себя какие-то сцены. Так оно и было, потому что внезапно он объявил:

– Знаете, как бы я сыграл Меншикова? Ожидание! Он ждет. Затаился и ждет своего часа. У него накопились свои планы для России, своя мечта. Нужно терпение – лечь на дно и дожидаться. И чтобы Екатерина смирилась, раскаялась, стала голубкой, кроткой, беспрекословной. На нее вся ставка. Петр не должен нанести предсмертный удар. Может быть, не знаю, конечно, может быть, Екатерина хотела бы ускорить развязку. Чуть подтолкнуть, самую малость. Она готова, Меншиков – нет. Он перешагнуть не может. Для него Петр не то, что для Екатерины, приблудной чужеземки, он и любит его, и ждет своего часа, ничем не выдавая себя. За ним ведь все наблюдают. И сам Петр может учуять, чутье у него звериное.

Рассказывая, он преображался, взгляд притушил, сострадание, скорбь, заботливость сошлись в одно выражение и на лице, и во всей фигуре, походка приобрела вкрадчивую мягкость. Голос врачебно-сочувственный. А на других мог смотреть жестко-недопускающе. Он весь был в предвкушении. Когда говорят, он слушает и не слушает. В его руках ключ от будущего, он один владеет им, сладость предстоящей власти, свободной, полной власти, это и было той скрытой пружиной, что не хватало Дремову в этой роли. И то, что Меншикова останавливало, и то, как боролась в нем любовь к Петру с жаждой развязки. Он видел, как у Петра зреет желание расправиться с Екатериной, отомстить за измену, каждый новый день сулил катастрофу.

Своей игрой Дремов заставил Молочкова проникнуться, подсказать – не только прежняя любовь удерживала Меншикова, еще было почитание божественной предназначенности монарха.

Прояснился Меншиков или стал еще загадочней, во всяком случае, Дремов сулил увести нас вглубь, представить, что могло происходить вокруг Петра.

– Все же что значит актер, – сказал Молочков. –Художник в этом смысле больше понимает, чем историк.

И он привел в пример картину Сурикова „Меншиков в Березове“, мы ее все помнили со школьных лет.

Темная холодная изба, свеча, лампадка. У стола Меншиков, грузный, еще могучий. У его ног дочь, Мария, еще недавно обрученная с Петром Вторым, порушенная невеста. Она бледна, печальна, жизнь ее скоро угаснет. Младшая дочь читает всем Евангелие. Горько задумался сын Александр. В простой избе, вдовцом, без слуг, без денег, под строгим надзором доживал Меншиков свой век.

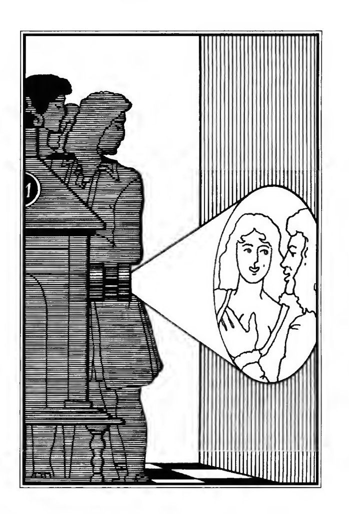
Уездный сибирский городишко Березов за тысячу верст от Тобольска, где всего сотня домов, еще в XVII веке стал местом ссылки главных государственных преступников.

Вспомнив голландскую верфь, как он трудился там с царем, Меншиков взялся за топор, стал строить церковь. Повторял: „Бог смирил меня“. На самом деле не смирил. Безвластие было невыносимо, непричастность к событиям, к тому, что творится в России, сжигали его. За каких-то полтора года он сгорел дотла. Инстинкт власти умирает последним.

В сущности, Меншикова представляют по суриковской картине. Не на поле боя, не во дворце, не с Петром, из всей блестящей жизни Меншикова художник выбрал ссылку, казалось, самое невыгодное – изгнание, опала – здесь, в бедности, в бездействии, раскрывает он трагедию недавнего правителя России. Картина стала первым памятником этому человеку.

Суриков как бы подытожил эту незаурядную судьбу, что ж это было – суета сует? мираж? гордыня непомерная? – а может, полнота жизни?

Глава двадцать пятая



ЛАТЕРНА МАГИКА

В школьные годы мы все перебывали в Кунсткамере. Но Молочков видел в ней и то, что было при Петре, – культурный центр. Первый этаж занимали экспонаты, второй – библиотека. Музеев в России еще не было, это был и первый музей, и первая публичная библиотека. К моменту смерти Петра ее фонд насчитывал 11 000 томов книг, русских и иностранных. По европейским меркам библиотека считалась богатой.

Петр любил наезжать в Кунсткамеру. Его привлекали удивительные явления природы – теленок с двумя головами, присланный из Нижнего Новгорода, трехногий младенец, скелет неведомой огромной птицы.

Коллекцию Рюйша, известную на весь мир, Петр приобрел вместе с секретами создания препаратов. За большие деньги. Экспонаты, все эти скелетики, уродцы, выглядели у Рюйша как актеры. Карлики и великаны, монстры и чудовища, наряженные в кружева, играли какие-то роли. У людей барокко аллегории выражают их представления о мире. Добродетель, Коварство, Честность, Скупость – любые качества воплощены в образы.

Петр тоже был человек барокко. Людям барокко свойственны преувеличенные эмоции. Свет и тени, добро и зло прихотливо сплетаются. Причуды Петра были так же замысловаты и фантастичны. Его игра с папой-кесарем Никитой Зотовым во Всепьянейший собор – смесь воображения и насмешек, в ней сталкивается несовместимое.

Как-то, осматривая экспонаты, Петр сказал своему лейбмедику Роберту Арескину:

– Я велел губернаторам собирать монстров и слать сюда. Видишь, как много появилось. А если бы я захотел присылать

сюда монстры человеческие не по виду телес, а по уродливым нравам, у тебя бы места для них не хватило. Пускай шляются они в народной кунсткамере, между людьми они более приметны.

Кунсткамеру он создавал по голландскому и по венскому примерам. Как всегда, захотел сделать свою лучше других. Его повторения не были копиями. Если он брал чужую идею, то переделывал в свою.

Музей начался с зоологических, затем анатомических экспонатов. Собрание редкостей, монстров, экзотических предметов быстро росло. Стали присылать минералы, манускрипты, древнюю утварь – с Урала, с Севера, из Сибири прислали диковинные черепа, с юга – кусок метеорита.

Под Кунсткамеру Петр взял конфискованный после казни Кикина его дом – Кикины палаты. На приобретение экспонатов приказывал денег не жалеть. Доставляли все странное – камни с неведомыми знаками, тунгусских божков, пушки старого литья. Благодаря указу Петра, из Сибири прислали скифское золото, иначе вряд ли сохранились бы эти бесценные находки. Все принимала Кунсткамера. Перед посетителем разворачивалась картина разнообразия мира, уходящая и в российскую ширь, и в прошлое. Кунсткамера не демонстрировала достижения техники, профиль был прежде всего естественно-научный. Человека озадачивали, ему предъявляли загадки природы, явления необъяснимые, достойные размышления и исследования. Некоторые изделия рук человеческих воспринимались также в виде пойманного чудесного явления.

Учительствуя, Молочков давно подметил, что детей прежде всего привлекают загадки, над которыми бьются ученые. Со взрослыми примерно так же. Он жалел, что ныне не существует музея научных тайн, непознанных явлений, вроде шаровой молнии, камней с непонятными письменами, неразгаданных следов, – словом, что опыт петровской Кунсткамеры не продолжен.

Павел Ягужинский, побывав в европейских кунсткамерах, предложил Петру по их примеру брать плату с посетителей. Петр решительно возразил. Надо, чтобы как можно больше людей ходило в Кунсткамеру, смотреть и учиться.

– Я приказываю не только каждого пускать сюда даром, но если кто явится с компанией, то угощать их за мой счет чашкой кофе, рюмкой вина или водки или чем-то иным в этих самых комнатах.

И отпустил на это дело приличную сумму.

Кунсткамеру, библиотеку посещали соратники Петра – один из ученых того времени, он же сенатор и президент Берг-коллегии, он же астроном, составитель календарей, Яков Брюс; историк, денщик Петра Татищев; писатель, член Синода Феофан Прокопович; дочь Петра от Екатерины Анна Петровна.

Кунсткамера славилась не дорогими предметами, ее назначение было просветительское. Просвещение это, как уверял Молочков, направлено было не на восхваление человеческого Знания и Разума, скорее наоборот, оно было полно благоговения перед непознанной силой природы. Отсутствовало современное самомнение человека, кичливое упоение своей властью над силами природы. Человек еще чувствовал себя не хозяином, а смиренным потребителем ее даров. Он был почтителен, замирал перед ее тайнами и понимал то, что ныне утратил, – какое чудо Природа, создавшая нас.

Впервые настоящие кунсткамеры Петр увидел в Амстердаме. Их было там около сорока. Николаас Витсен, бургомистр Амстердама, познакомил русского царя со своей коллекцией древностей, анатомических препаратов, индийских миниатюр. Человек высокой культуры, юрист по образованию, философ, математик, Витсен был одним из руководителей Ост-Индской компании. На ее гигантских верфях Петр плотничал. До того Витсен пробыл год в России в составе голландского посольства. Так что Петру повезло, более удачного покровителя не могло быть. Витсен приводил молодого царя в дома богатых бюргеров-коллекционеров. Бургомистр сам принадлежал к

известному роду амстердамских купцов, и все двери перед ним охотно открывались.

Кипучая художественная и научная жизнь Амстердама завертела, захватила Петра.

Купцы, моряки, корабелы, бюргеры, пришельцы из дальних стран, ученые, это были люди энергичные, бывалые, жаждущие знаний и несущие знания, Петр наслаждался их обществом. Неслучайно на своей личной печати он велел выгравировать надпись: „Я ученик и ищу себе учителей“.

В 1720 году по указанию Петра его советник по науке Шумахер едет в Европу, в частности приобрести для Кунсткамеры Волшебный фонарь. К фонарю – картинки. Само название – Волшебный – оно так и писалось с большой буквы – говорит о том, какое впечатление этот, ныне простейший, аппарат производил на зрителей. На белой стене появлялись изображения, увеличенные, к тому же цветные. Первые слайды в Кунсткамере показывали любовные сцены. Затем – формы военных полков, наряды дамские и мужские. Восторгам не было конца. Наверное, первое кино не вызывало такого восхищения, как эти неподвижные картины, что сменялись одна другой.

Сам Петр, еще в Амстердаме, любовался бестелесными изображениями Волшебного фонаря, картинками, которые появлялись на белой стене и бесследно исчезали, а стена оставалась такой же.

Среди поручений Шумахеру было одно, не менее важное, чем Волшебный фонарь, чем научные коллекции и приглашение ученых в Академию наук. Несколько лет назад Петр где-то за границей видел вечный двигатель, построенный неким Орфиреем. Тогда он не воспринял это изобретение, счел за шарлатанство. Ныне уже слухи о вечном двигателе Орфирея вызывали толки по всей Европе. Многие ученые считали вечный двигатель возможным. Изобретатель усиленно рекламировал свою машину. Говорили, что колесо на ней крутится уже несколько лет.

Мечта о вечном двигателе манила всех. Закон сохранения энергии еще не был открыт, перед глазами физиков, да и не только физиков, природа приводила в движение небесные тела – неизвестно как и невесть с каких пор, извечно вращалась Земля, вечно текли реки, светило солнце, мир был полон всевозможных вечных источников движения. Сам Леонардо да Винчи искал возможности для перпетум мобиле. Великий математик Бернулли верил в такой двигатель.

Петр наказал Шумахеру приобрести изобретение Орфирея, правда, велел проконсультироваться со знаменитым немецким математиком Вольфом, на него Петру указал Лейбниц. К идее вечного двигателя Лейбниц относился скептически, но, как говорится, чем черт не шутит.

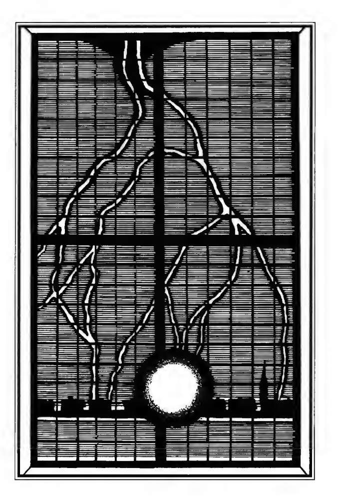
Шумахер, человек далекий от механики, несколько часов исправно наблюдал за колесом. Оно бесшумно вертелось, неторопливо и, как казалось ему, неукоснительно. Изобретатель познакомил его с голландскими часовщиками, которые давно следили за машиной, заключенной в недоступный футляр. По их словам, не было возможности заводить пружину двигателя – если бы там была пружина. Внутри механизма никто не мог находиться. Колесо вращалось. Солидные, почетные мастера, владельцы часовых фабрик внушали Шумахеру доверие. Он обратился к Вольфу. Тот уклонился от прямого ответа, советовал дать осмотреть устройство серьезным ученым. На естественное, казалось бы, требование Орфирей не соглашался. Сначала заплатите деньги, сто тысяч, такова стоимость машины, после этого делайте что хотите. Но как же покупать кота в мешке? – возражал Шумахер. Но ведь, высмотрев идею, ученые могут присвоить ее себе. Звучало резонно. Шумахер обещал привести ученых к присяге, взять клятвенные заверения. Никакие клятвы не устраивали автора, он настаивал – деньги вперед, и вы навечно обеспечены.

Переговоры ни к чему не приводили. Обе стороны уперлись. Вольф повторял свою рекомендацию, на заверения о вечности движения колеса кисло морщился, хмыкал – надо посмотреть устройство. Шумахер не смел нарушить предписания

царя. Повздыхав, он отказался от покупки, напоследок долго стоял перед колесом, гадая, что скажет государь.

Доклад его Петр слушал внимательно – одобрил, хотя и пожалел, что не получилось, видать, дело все же нечисто. Спустя год раскрылось хитроумное жульничество изобретателя.

Глава двадцать шестая



ЗАКОН ЧЕЛЮКИНА

19 Заказ № 164

...Зашел разговор о темных местах в русской истории. Было это, еще когда Молочков работал в архиве. Вмешалась „Пиковая Дама" – так называли величественную старуху-архивистку, сотрудницу фондов придворного ведомства. Обычно брюзгливо-придирчивая, знаток всякой всячины, она укоряла молодых за то, что они боятся мистики, пугливо обходят всякие таинственные казусы прошлого, хотя на самом деле история полна мистики, ибо существуют параллельные миры и там нормально то, что кажется нам невероятным.

Молочков заспорил с ней, в те годы мистика считалась реакционной. Наставив палец на него, старуха вдруг произнесла: „Вам известно только то, что было, потому что, по-вашему, это могло быть. А ведь было и то, что не могло быть. Не держитесь за здравый смысл, он вам мешает, он упрощает историю".

Ее слова запомнились. Перед уходом на пенсию она позвонила Молочкову, почему-то она называла его „господин М.", сухо напомнила тот разговор: „Сегодня 25 апреля, как раз в этот день погиб царевич – наследник Петра Великого, советую вам обратить внимание на обстоятельства его гибели".

Ничего особенного Молочков не ожидал, детей у Екатерины перемерло немало, однако словечко „гибель" настораживало.

Молочков заглянул в источники, об этом событии упоминали как-то вскользь. Да, 25 апреля 1719 года „последовала смерть наследника", отчего, почему – ни слова. Сие тоже ничего бы не значило, если не учитывать того, как государь и государыня обожали маленького Петра Петровича, своего „шишечку". На него возлагали надежды, с ним нянчился Меншиков,

к нему приставлен был Яков Брюс. Смерть мальчика должна была потрясти царскую семью, это же была катастрофа...

Медицинских заключений Молочков не нашел. Похоронили царевича как-то чересчур поспешно, на следующий же день, 26 апреля – тоже непонятно. Отпели в Александро-Невской лавре, в закрытом гробу. И никаких слухов не последовало, рты словно кто запечатал.

Чем дальше Молочков вникал, тем больше появлялось вопросов.

Мальчик здоровья был слабого, говорил плохо, однако ничем не болел. Известие о его смерти ошеломило всех во дворце. В тот день Петр вместе с Екатериной находились в Кронштадте. Царевича не стало в 4 часа пополудни. Из Петербурга послали гонца в Кронштадт. Еще утром царевича навестил Меншиков, играл с ним, князь очень любил четырехлетнего мальчика, и все было в порядке. По распоряжению Брюса погнали нарочного и за светлейшим князем.

Дальнейшее Молочкову пришлось восстанавливать по крупицам, искать в частной переписке, данные были противоречивы, путаны.

Прискакав во дворец, Меншиков застал царевича еще в живых, в состоянии необъяснимом: без сознания, парализован, самое же потрясающее – кости были переломаны, когда князь взял его на руки, тельце прогнулось, весь он ватно обвис. Яков Брюс, всегда флегматично-медлительный, пил водку стопку за стопкой, губы его дрожали, он не мог связно изложить, что произошло. Была гроза, потом начался ливень, Брюс работал в соседней комнате, вдруг засверкали молнии, раздался треск, потом взрыв, крик – кричала нянька. Она до сих пор не пришла в себя, трясется как безумная. Судя по всему, мальчик сидел у нее на коленях, когда к ним подлетел „огнедышащий дракон и пыхнул на дите“.

Меншиков послал за врачом, сам же тщательно осмотрел помещение: окна, двери – нигде доступа для молнии не было. Допросили дежурных офицеров, наружных часовых – из посторонних никто не мог проникнуть во дворец.

На теле мальчика не нашли ни ран, ни кровоподтеков, никаких следов насилия. Его одели в длинную рубашку, уложили на кровать и тут заметили на лбу голубое пятно. Царевич уже отошел в вечное царствие. Никто не заметил когда, беспричинная, тихая смерть привела всех в отчаяние. Брюс, стиснув голову, стонал: „Мученик безвинный, дите мое...“

Шлюпка с государем прибыла уже ночью, мешали высокая волна, встречный ветер. Яхта с государыней отстала. Меншиков ждал на причале. Что он рассказал Петру – неизвестно.

Во дворце государь долго не решался подойти к кроватке царевича. Уставился на неровный маленький сугроб, покрытый белой простынкой.

С мундира капала вода. Стоял мокрый, прикрыв глаза. Не слышал слов Брюса. Можно подумать – заснул.

Сделав усилие, подступил ближе. Брюс откинул простыню. Петр увидел сына, заплакал, приложился губами к его щеке, потрогал пальцем голубое пятно, стал гладить холодное тельце, нащупал сломанные кости, отшатнулся.

Легче было видеть государя в гневе, чем в таком раздавленном состоянии. Голова его задергалась, он опустился на колени, уткнулся головою в продавленную грудь ребенка. Все, пятясь, удалились в соседнюю комнату.

Час спустя государь вышел, лицо серое, каменное, сел в кресло, велел Брюсу повторить рассказ.

На сей раз Брюс докладывал четко, спокойно, от этого все стало еще невероятней. Показания дядьки, что первый прибежал из соседней комнаты: „приплыла огненная голова и поцеловала царевича“. Следов удара молнии не обнаружено, ничего не разрушено, только на серебряном подсвечнике появилась отметина. С ученой добросовестностью Брюс перебрал возможные варианты, ни на чем не мог остановиться, если не считать нечистой силы, но и на нее доказательств не было, да и государь не признавал ее. Было, однако, обстоятельство, которое он не мог обойти: три года назад произошло нечто похожее, над дворцом прошла такая же сильная гроза, молния

пробила крышу, обрушила карниз. Брюсу зашибло руку, он находился рядом с годовалым царевичем, малыш на вспышки молнии смеялся, и Брюс отписал государю, который путешествовал за границей, про храбрость наследника. Была еще любопытная подробность – молния разбила приклад мушкета у часового, сам часовой не пострадал.

К чему он клонит, спросил государь, к тому, отвечал Брюс, что та гроза была предупреждение, жаль, не разгаданное. Сказал твердо, словно винился. Знаку не вняли, вот кара и последовала. При слове „кара" государя перекосило, он вскочил, закричал: „Ты о чем?", но Меншиков приобнял, успокоил – если бы Господь захотел весть подать, он бы загадок не строил. Руку государя поцеловал, признался, что наследник все равно был не жилец, на все Божья воля, и не наше дело стараться понять Его, значит, так надо было, пути Господни неисповедимы, и горячо процитировал: „Как небо выше земли, так Мои пути выше ваших, мысли Мои выше ваших".

Меншикова беспокоило теперь одно – чтобы противники государевы не попытались смерь наследника обратить во вред государю, истолковать ее превратно как гнев Божий. Он требовал – ушников, болтунов, намекальщиков брать в Тайную канцелярию, языки отрезать.

Отвлечь государя не удавалось, кивал бесчувственно.

Провести панихиду разрешил без лишнего народу, гроб не открывать.

Поутру, отстояв службу, государь поехал в Адмиралтейство на спуск корабля, Меншиков обрадовался, думал, обошлось. Вечером государь удалился в свою половину, приказал денщикам никого к себе не допускать, ни по какой срочности.

Прошла ночь, день, государь не выходил, не принимал пищи, питья. Слышались стоны, рыдания.

У Голикова Молочков прочел подробное описание того, как без государя ход государственных дел затормозился, учреждения стали останавливаться. Прошли вторые сутки, третьи. Напрасно Екатерина стучалась в дверь, кричала. И она, и двор опасались за жизнь Петра. Ночью Екатерина надумала, послала

за князем Яковом Долгоруким. Он один мог осмелиться нарушить запрет монарха.

Князь стоял у дверей, слушал; время от времени до него доносились слабые рыдания государя, Петр все не мог выплакать слез своих. Поразмыслив, князь приказал наутро собрать всех сенаторов перед дверьми государевых покоев. Собрались. Постучался, закричал, что Сенат немедля требует государя.

Пригрозил выломать дверь...

По другой версии – заявил, что, если Петр не явится, его лишат престола, выберут другого государя. Произнести такое надо было решиться.

Петр открыл двери, увидел перед собою всех сенаторов, а еще Апраксина, Головина, Бутурлина, многих своих верных... Вид у него был опустошенный. Зарос, согнулся, глаза потухли, от слабости держался за ручку двери. Словно появился к ним из другого мира. Там не было царя, был обезумевший от горя отец. Разглядывал их, не понимая, кто такие, и они разглядывали его: кто с жалостью, кто со страхом – вернется ли прежний царь? Если б отрекся, – может, поняли бы, он не только наследника потерял, он Всевышнего прогневал, впору в монастырь уйти постричься.

Сенаторы молчали, и Петр молчал.

Что происходило с ним? Кабы знать... Эта минута многое могла изменить. Меншиков и Брюс стояли поодаль, за эти трое суток они не раз винились перед собой за то, что государь поручил им сына, а они не уберегли.

Князь Долгорукий первый решился, заговорил обыденно, брюзгливо – далее отлучаться невозможно, дела не ждут, приходят в замешательство... Государь, несчастье велико, оно вырастет, коль ты поддашься ему.

Петр не прерывал.

Поклонился.

– Благодарю вас, господа сенаторы, – выпрямился, махнул рукой, отпуская всех. В то же утро, приведя себя в порядок, вернулся в Кронштадт решать дело о морском канале.

В бумагах Тайной канцелярии Молочков нашел упоминание про городские толки о небесном воине с копьем, каким он поразил наследника за казненного брата. Болтунов утишили беспощадно, и толки кончились.

Что на самом деле произошло с наследником, Молочков так и не понял.

Прошло несколько лет. История эта не выходила у него из головы. Загадка решилась случайно в разговоре с приятелем-физиком, специалистом по атмосферному электричеству. Для него диагноз был очевиден – действовала шаровая молния, эта бестия может вытворить что угодно. Способна пролезть в комнату через дымоход, сломать у солдата приклад мушкета, может и парализовать, и кости переломать. К тому же издает шипящие звуки, воняет горящей серой, не хуже огнедышащего дракона. Известно, как в Пруссии она отправила на тот свет стадо коров вместе с пастухом. Ни одной достоверной теории шаровой молнии до сих пор нет...

Итак, тайна петровской трагедии разрешилась. Молочков ликовал. К сожалению, той архивной дамы уже не было в живых, и он не мог подтрунить над ее мистикой. Молочков подготовил статью, однако физик вдруг засомневался: все же Яков Брюс не зря упоминал первую грозу 1716 года. Судя по всему, тогда тоже действовала шаровая молния. Второй раз ее появление в одном и том же месте – такого не бывает, исключено. Конечно, Брюс не имел понятия о шаровой молнии, и все же нельзя не считаться с его описанием, вся трактовка как вещего появления – дело Брюса, но вновь шаровая молния – нет, это не совпадение: „Ученые XVIII века знали куда больше, чем нам кажется, они больше наблюдали и поэтому лучше чувствовали, – говорил физик, – история науки – это не только история открытий, это еще история потерь".

В поденном журнале Молочков нашел описание грозы 1716 года, все сходилось со словами Брюса.

Снова Молочков попал в сумеречный тупик. Свернуть в потусторонний мир покойной архивистки он не мог. Тот самый

здравый смысл крепко удерживал его, не отпускал от себя. Существование Всевышнего Молочков иногда признавал, бесовщину же, колдунов, духов и прочую нечисть принимать всерьез не желал...

На этом рассказ Молочкова обрывался. Дальше ничего не было.

Все сошлись на том, что ничего другого, кроме шаровой молнии, быть не могло. Если даже повторилось, значит, стечение обстоятельств, всегда есть место случаю самому немыслимому.

Дремов бодро внушал Молочкову, что напрасно он скромничает, скромность украшает, когда ничего другого нет. Открытие все равно состоялось, царевич погиб не своей смертью. Уже новость. Может, ловкое убийство, во всяком случае, обнаружена тайна, это тоже не валяется.

Мнения разделились: может, молния, а может, хитрое преступление, воспользовались грозой и свели счеты с государем, вполне возможно, мстили за Алексея, следователей настоящих у Петра не было.

Отмалчивался только профессор. Молочков спросил – нет ли у него какого предположения? Профессор вздохнул как-то опечаленно, есть-то есть, да вряд ли подходящее, поскольку он давно отошел от материализма. Шаровую молнию он признавал, невероятность совпадения тоже признавал, но само происшествие он рассматривал с другой стороны, совсем с другой.

– С какой же?

– Шаровая молния всего лишь орудие.

– Не понял.

– Шаровая молния двигалась по заданной траектории, всех обогнула и направилась к мальчику. Кто-то направлял ее движение.

– Не иначе как высшие инстанции, – сказал Дремов.

Челюкин не принял шутки.

– Вполне возможно.

– Ничего себе, нюансы, – сказал Гераскин.

– Думаю, действовал закон возмездия.

– Какой закон? – спросил Антон Осипович.

– Есть такой закон. Всеобщий. Как закон сохранения энергии. Если бы зло оставалось безнаказанным, оно могло расширяться неудержимо. Закон возмездия скрепляет наш мир. Всякое зло так или иначе наказывается, и это приводит историю к равновесию.

По убеждению профессора, это Великий закон, он поддерживает веру людей в справедливость, он действует неукоснительно, возмездие всегда приходит, быстро ли, медленно ли, но зло будет настигнуто, в этом гуманность бытия, защита от хаотичности мира.

– Да у нас все всем с рук сходит! – вскричал Гераскин. – У нас ни один закон не работает!

– Кто следит, где он, ваш прокурор? – спрашивал Антон Осипович.

Насмешки не действовали на профессора, с терпением специалиста он разъяснял, что закон возмездия не зависит от властей, не они исполнители. Он может напомнить судьбу Гитлера, Наполеона, Сталина, но каждый человек на себе испытал – что посеешь, то и пожнешь, этот закон древнейший, и Петр, хотя и был рационалистом, несомненно признавал существование такого божественного закона. Поэтому он и не пытался установить физическую причину трагедии, не искал убийцу. И Брюс и Меншиков тоже знали, что несчастье не случайность, недаром оно пришло с грозой и ливнем, то Высший Суд свершился, год назад они сотворили зло, и прежде всего Петр, ему и главное наказание. А в 1716 году было предупреждение, Брюс знал, что говорил, наверное, уже тогда помыслы бродили, как отстранить Алексея.

Молочков ни за что не мог согласиться с жестокостью наказания: даже если допустить Высший суд, как можно погубить ни в чем не повинного ребенка, разве это справедливо? Почему Всевышний молчал, когда шел суд над Алексеем? Ни

единого знака не подал, не вразумил Петра, позволил довести Алексея до казни! Где же был тогда Вседержитель? А как должен был поступить Петр, если Господь оставил его?

Смиренность, почтительность Молочкова исчезли, он наскакивал на профессора с каким-то надрывом, видно, как эта история досаждала ему – может, Господь знает больше, но почему он не пояснил, в чем вина Петра? Разве милосердно вразумлять таким образом? Шутка ли, отнять единственного сына и бросить отца без ответа? Это как, по-божески? От человека Господь требует прощать, а сам... У него в голосе аж слезы дрожали, как будто речь шла о родном ему человеке.

– Вот тут мышление ваше расходится с мышлением Петра, – сочувственно сказал профессор, – неверующему человеку трудно понять верующего. Тем более человека иного времени. Я не историк, я не знаю, как менялась вера, я сам верующий частично, у меня не церковная вера, у меня скорее благоговение перед чудом Природы, наверное, создано это чудо не естественным отбором, а все же Творцом. Но дело не во мне. Я думаю, что несчастье показало Петру, как он, великий самодержец, беспомощен и ничтожен. Может, по своему характеру он не смирился, но должен был признать свое поражение.

– В чем поражение?

– В том поражение, что человеку невозможно понять Бога, – необычайно серьезно и как-то опечаленно ответил профессор.

Не было обычного его красноречия, его ученого превосходства, он затрудненно подбирал слова, пытаясь передать то смутное, что открывалось ему; Петр все же не отверг Создателя, и, наверное, это помогло подняться ему из бездны отчаяния. Петр знал, что понять Бога невозможно, что Господь соизволил дать и соизволил отнять, и, сколько ни ропщи, приходится его принимать, так же, как принимаешь действия Природы. Человек ведь тоже никогда не может постигнуть вот этот мир – профессор показал рукой на черное небо, украшенное мерцающими звездами, – это создание Творца неисчерпаемо так же, как неисчерпаема каждая живая клетка. Прошло триста лет с той грозы, и она все так же необъяснима.

Молочков поднял голову.

– Вот видите, значит, у Петра был подход ученого! – И тут же опять сник. – Нет, не везет мне... Шаровая молния направлялась чьей-то волей. Согласно закону возмездия, открытого господином Ч. и принятого господином М. С такой статьей выступать? Это же полнейшая вздорология. Нет, не везет мне. Знаю, что все это было, хотя быть не могло...

Гераскин хлопнул по столу.

– Мужики, кончайте мне мозги затирать. Скажите по-простому – кто это дело провернул? Я спрашиваю фактически.

Все молчали.

Гераскин вздохнул, налил все, что оставалось в бутылке, и протянул Молочкову в утешение.

Глава двадцать седьмая



КОГО СЧИТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ

Первыми знатными иностранками на пути Петра в Европу были прусская королева София-Шарлотта и ее мать ганноверская герцогиня София. К тому времени Софии-Шарлотте было двадцать девять лет. Европейски образованная, она два года провела в Версале при дворе Людовика XIV, немудрено, что невоспитанность Петра бросилась ей в глаза. Но при этом его естественность и ум вскоре сгладили первое неприятное впечатление.

Когда-то Лейбниц был ее учителем. С тех пор между ними установились особые отношения. Шестнадцати лет София-Шарлотта стала женой короля Фридриха I, человека тщеславного, занятого нарядами, развлечениями, придворным этикетом. Королева сторонилась этой жизни. Ее переписка с Лейбницем показывает их взаимное высокое чувство, для нее Лейбниц становится единственным, с кем она может отвести душу. Она интересовалась философией, радовалась, когда могла с Лейбницем обсудить философские проблемы. Она обладала крепким здравым смыслом и часто отыскивала путь там, где, по выражению Лейбница, „кончалась латынь философов". Она сердилась на него, если он объяснял ей свои работы поверхностно. Когда Лейбниц излагал ей теорию бесконечно малых величин, она иронично заметила, что имеет с ними дело давно, судя по невежественным и льстивым придворным. Лейбниц наслаждался ее остроумием. Ему доставляло удовольствие обсуждать с королевой работы французского философа Бейля, то были счастливые годы, полные взаимной любви и восхищения женщины, достойной его и по уму, и по мужеству, с каким она смотрела на мир, на свою жизнь, зная, что болезнь настигает ее и вскоре поглотит.

Немецкий философ был наслышан о русском царе от Софии-Шарлотты и поехал на свадьбу другой немецкой принцессы с царевичем Алексеем в городок на Эльбе Торгау, там он встретился с Петром.

„Я ездил в Торгау, – признался Лейбниц в одном из писем, – не столько для того, чтобы смотреть свадебное торжество, сколько для того, чтобы видеть замечательного русского царя".

Знакомство не разочаровало Лейбница: „Дарования этого великого государя – чудесны".

То, что на Петра произвел впечатление Лейбниц, то, что Петр захотел вновь общаться с ним, – неудивительно. Хотя оценить гений Лейбница было дано не всякому, удивительно, как Лейбница, этого гиганта мысли, мог впечатлить ум Петра.

Его поведение вызвало у англичан толки, респектабельные придворные морщились, хмыкали над примитивностью царя, над его бескультурьем, а Лейбниц довольно потирал руки, нахваливал его и даже писал друзьям:

„... Я склонен согласиться с русским царем, сказавшим мне, что он больше восхищается некоторыми машинами, чем собранием прекрасных картин, которые ему показывали".

Оказывается, в Англии вместо того, чтобы в королевском дворце любоваться знаменитой коллекцией живописи, Петр покинул провожатых, застрял у прибора для определения силы ветра. Это интереснее.

Несколько раз он посетил Монетный двор. По его указанию была закуплена машина для чеканки монет, и ему хотелось посмотреть ее в работе. Монетным двором Англии управлял в то время Исаак Ньютон.

Петра сопровождал Меншиков. Оба русских, видимо, произвели хорошее впечатление на Ньютона, и настолько, что впоследствии Меншиков получил диплом об избрании его членом Королевского общества – Британской академии наук – за деятельность по просвещению в России. Диплом был подписан Ньютоном.

– Ньютон и Петр! – повторял Молочков, скрещение этих имен приводило его в восторг. Два гения, величайшие личности восемнадцатого века, сошлись, он был уверен, что это не слепая случайность.

Вольтер в своей „Истории Петра Великого“ писал, что Французская академия показывала Петру свои редкости, но самое редкое в ней был он сам. Секретарь Академии тогда справедливо заметил: „История знает Государей, которые прославили себя войнами, завоеваниями, и куда меньше тех, кто прославил себя просвещением“. Вольтер считал в этом смысле Петра исключением. Во французских комплиментах всегда есть излишества, есть придворный этикет, но тут французы и в самом деле впервые увидели царя, которого версальский двор поразил куда меньше, чем аудитории Сорбонны.

Его общение с учеными считали капризом, невоспитанностью. Он и впрямь нарушает этикет, порою скандально, не считаясь ни с чем, кроме своего интереса. Особенно в первую свою поездку.

Первое посещение Европы было для молодого Петра открытием диковин, ему надо было успеть все потрогать, попробовать. Словно он попал в кунсткамеру. Вторую поездку, спустя двадцать без малого лет, совершает зрелый муж, он знает что ему надо, он достаточно скептичен, способен оценить технические новшества, получает удовольствие от архитектурных шедевров, от встреч с интеллектуалами.

В Париже он явился к знаменитому географу, историку, картографу Делилю не просто ради знакомства, Петр привез ему рукописные карты России. Они долго обсуждали географию южных морей России, Каспия и Азова. Несколько раз он с Делилем обговаривал организацию научной экспедиции для картографирования этих морей. Обозначилась и давняя увлекательная проблема: как соединяются два континента – Азия и Америка? Существует ли между ними пролив? Загадка эта не давала покоя Петру. Понадобились годы, чтобы подобраться к решению послать экспедицию. Наконец появились средства, возможности, и буквально за месяц до смерти Петр сел

сочинять инструкцию Витусу Берингу, руководителю Камчатской экспедиции.

Делилю не приходилось встречать среди коронованных особ такого интереса к географии. Еще больше радовало стремление русского царя просветить Россию. Делиль рекомендовал Петра в члены Французской академии наук, написал характеристику ему как ученому. Привез царя на заседание Академии. Академики показывали царю модель машины для подъема воды, коллекцию „небесных камней“, звездные атласы, археологические находки. Живой ум Петра, а главное, горячий уважительный интерес к наукам произвели большое впечатление. Не случайно позже, когда обсуждалась кандидатура Петра в академики, его приняли единогласно. Академикам льстило, что „такой славный монарх из любви к художествам и наукам так и себя вознизить соизволил и у партикулярных персон место себе взять удостоил“...

– Хватит, хватит, – взмолились мы.

Остановить Молочкова не удавалось, он заваливал нас все новыми сведениями о научных аппетитах Петра. Причем аппетиты его с годами не убывали.

Известный физик, к тому же математик, к тому же ботаник, Реомюр показывает ему подготовленные для печати рисунки по истории искусств. Цветные рисунки в печатном деле были в новинку. Удаляют катаракту больному старику – Петр присутствует при операции и поздравляет прозревшего. Фабрика зеркал... фабрика гобеленов... фабрика ткацкая... устройство фонтанов...

Новинки европейской техники, науки он пожирает без разбору, ему хочется все увидеть, попробовать, надо и перенять. Чтобы вникнуть, ему не хватает образования, его цепкий быстрый ум часто скользит по поверхности, остановиться некогда, да и вряд ли бы он сумел постичь философию Локка, но познакомиться с ним ему надо, послушать его, так же как математика Фергюсона. Список тех, с кем он встречался, включает крупнейших ученых того времени – астроном Галей; фран-

цузский математик Вариньон; тот, кто развил теорию о сложении и разложении сил, – механик Далем; астроном Жак Кассини...

Чудеса науки, изобретательности не дают ему покоя: России следует быстрее приобщаться к богатству человеческого гения, ей необходимо просвещение, нужны ученые, он уверен, что науки можно пересадить на русскую почву, и они примутся, зацветут, как привезенные им лимонные, апельсиновые деревья в Летнем саду.

В Англии Петр, посетив Гринвич, обсерваторию, садится за телескоп. Часами следит за движением звезд. Объясняет свой интерес тем, что астрономия потребна мореплавателям. Ему надо как-то оправдать перед самим собою потерю времени, жадное любопытство, таинственное, необъяснимое влечение. Перед взором Петра открывается бездна Вселенной, мерцающая мириадами миров. Моряку-капитану вовсе не обязательно сидеть в Гринвиче за телескопом. Астрономия – волнующая наука, хотя бы прикоснуться к ней, попробовать ее сладость, ужас вечности...

Видимые звезды Господь Бог создал, конечно, для мореплавателей, однако телескоп открывал Петру полчища других, неведомых звезд, разного цвета, блеска. Эти-то зачем, что они означали?

Уверения Брюса в могуществе астрологии он отвергал, не могли звезды руководить решениями Петра. Но что-то там, в небесах, было начертано, какие-то письмена, о чем-то мерцали, перекликались между собой созвездия, – грядущие события, будущее, может его собственное, если бы он мог прочесть эти письмена...

В Германии не было тогда ума, столь грандиозного, как Лейбниц. Может показаться, что их пути пересеклись случайно. Ни тот ни другой не нуждались друг в друге. Но уж слишком много подобных случайностей в жизни Петра.

Оказалось, что у Петра зрело стремление „исторгнуть своих подданных из состояния варварства“. Они увлекали друг друга своим интересом, Лейбниц предложил организовать в

России наблюдение над магнитным склонением, реформу учебного дела, они обсуждали, как сделать суды честными, как усовершенствовать законы. Лейбниц чувствовал, что перед ним человек поступков, из теорий, мыслей, идей этот могучий дух извлекал возможность действия.

В 1705 году смерть увела Софию-Шарлотту. Горе Лейбница было велико, он признавался, что потерял самое величайшее счастье, на какое мог рассчитывать человек; у королевы, считал он, были невероятные способности к пониманию труднейших вещей и стремление к расширению знаний. В отчаянии он оставил свои занятия наукой, прекратил переписку. Понадобился целый год, чтобы Лейбниц пришел в себя.

Лейбниц знал про ученых, которые достигали высокого положения при дворах, были среди них советники, министры, наставники принцев, некоторые ученые отличались в сражениях, были хорошими дипломатами, но, чтобы короли всерьез интересовались наукой, таких примеров, кроме Софии-Шарлотты, он не знал. Русский царь в этом походил на его любовь.

Чиновники исторических наук упрекают Петра за то, что он не доводил своего дела до конца. Как будто кому-то из правителей это удавалось. Многие начинания Петра не закончены, они остались призывом, но толчок был сделан.

В этом они схожи – Лейбниц и Петр. У Лейбница не было времени пройти до конца своих идей, слишком много кипело и рождалось их в его голове, его дело было открыть, начать...

Положительно этот бледный худенький немец, в огромном черном парике, всегда веселый, остроумный, женолюб, все больше нравился Петру. Осенью 1712 года в Карлсбаде Петр проводил с ним все свободное время, брал его с собою в поездки по Германии, они в подробностях обсуждали план создания в России Академии наук.

Почитая Петра, веря в него, Лейбниц все же не представлял, что Академия наук в России будет действительно создана. Когда же дело стронулось, радости его не было границ.

„Покровительство наукам, – писал он, – всегда было моей главной целью, только недоставало великого монарха, который достаточно интересовался бы этим делом“.

И вот такой монарх нашелся. Лейбниц хотел быть при нем Солоном, тем древнегреческим мудрецом, что наставлял лидийского царя Креза. По дороге в Дрезден Лейбниц рассказал Петру о разговоре между Солоном и баснописцем Эзопом. Как известно, Крез считался самым богатым человеком в мире. Показывая Солону свои сокровища, он спросил, знал ли Солон кого-либо счастливей Креза. В ответ Солон поведал ему историю двух братьев, мать которых была жрицей богини Геры. Богатыри, когда не было волов, они сами впряглись в колесницу и привезли мать в храм. Тогда она обратилась к Гере с молитвенной просьбой наградить сыновей высшим счастьем, возможным для человека. Богиня Гера выполнила ее просьбу. И что же – в ту же ночь оба сына тихо умерли во сне.

Легенда эта не понравилась Крезу. Будущее свое он считал обеспеченным, и словам Солона о том, что боги не позволяют человеку предвидеть будущее, он не придал значения.

– Считать счастливым человека еще живущего – все равно что объявлять победителем воина, еще не закончившего поединка, – заключил Солон.

Через день Эзоп встретил на улице Солона и сказал ему:

– Дорогой мудрец, не стоит разговаривать с царями, но если пришлось, то лучше говорить приятные вещи.

– Дорогой Эзоп, – ответил Солон, – с царями разговаривать не стоит, но, если пришлось, лучше им говорить правду.

Спустя год Крез потерпел поражение в войне с персидским царем Киром, попал в плен, и его возвели на костер, чтобы сжечь. Когда подожгли хворост, Крез вспомнил слова Солона и стал кричать: „О, Солон, о, Солон!“ Кир, не поняв, приказал залить костер, спросил, кого Крез призывал. Крез рассказал о предупреждении Солона, теперь только он понял, как глупо было богатство считать равным счастью.

Персидский царь задумался и решил помиловать Креза.

С Лейбницем было весело и поучительно.

Петр восхищался его сильным умом. В Германии, Англии монархи: и Фридрих I, и Георг, и другие – не сумели оценить гений Лейбница, его считали обыкновенным придворным чиновником, использовали как историографа брауншвейгского дома, постоянно торопили его с этой никчемной историей, должной прославить их династию. Подобно многим гениям, он болел подагрой, которая его и погубила. В 1716 году, за несколько месяцев до смерти, он отправился на свидание с Петром, полный влюбленности в этого человека.

„Я воспользовался несколькими днями, чтобы провести их с великим русским монархом, затем я поехал с ним в Герфенгаузен подле Ганновера и был с ним там два дня".

И снова ум Петра поражает его:

„Удивляюсь всему в этом государе – его гуманности, его познаниям, его острому суждению".

Между двумя гениями редко возникает притяжение. Чаще эти миры отталкиваются. У Лейбница и Ньютона их противостояние перешло в многолетний конфликт, примирить обоих великанов никому не удавалось. Принцесса Каролина, которая любила Лейбница, не могла понять их спора о приоритете – если они что-то открыли одновременно, то следует ли, чтобы они растерзали друг друга? „Вы оба величайшие люди нашего времени!" – восклицает она, как же они не могут примириться?!

После смерти своей возлюбленной Софии-Шарлотты Лейбниц лишился слушателя, некого было посвящать в свои ученые споры. Во время встреч с Петром он ухватился за его внимание и описал ему свое разногласие с Ньютоном. Все великие ученые умеют излагать свои идеи по-детски просто. Этот англичанин Ньютон считал, что движение в природе не сохраняется само собой, оно непрерывно растрачивается и Бог должен его пополнять. Его мнение безбожно, горячился Лейбниц, выходит, Бог подобен плохому часовщику, часы – Вселенная, – которые он сотворил, надо непрерывно чистить, ремонтиро-

вать, заводить. По Лейбницу же, силы в природе сохраняются. Земля как вертелась, так и вертится и будет вечно вертеться.

Тут Молочков позволил себе, как он выразился, напомнить профессору Елизару Дмитриевичу, что Лейбниц, который считается теоретиком, философом, создателем дифференциального исчисления, был при этом и хорошим техником. Занимался устройством рудников и всяких машин. Поршень с цилиндром изобрел! Молочкова унесло в сторону, и он нарисовал нам Лейбница – бледный, тощий человечек в огромном черном парике, говорливый, вертлявый, мало похожий на ученого. Он бурлил идеями, носился с ними по Европе от двора к двору, вмешивался в политику, предлагал проект за проектом, конструировал счетную машину, сочинял стихи, изучал надгробные камни, устраивал богословские диспуты. Добрый, веселый, влюбчивый и при этом извечный холостяк, Лейбниц был тщеславен, временами корыстолюбив, общение с ним утомляло, но оно открывало перед Петром бесконечные пространства человеческой мысли.

Жаль, что Лейбниц не дожил до открытия Академии наук в Петербурге, так и не узнал, что Петр воплотил их проект в жизнь.

Лейбниц был старше Петра на двадцать два года, он завидовал свободе этого молодого монарха, независимого от церемониала, столь не похожего на других царственных особ, завидовал тому, как запросто он общался с мастеровыми, специалистами, без разбора их положения, особенно с моряками, „морское дело он любил так же, как и астрономию и географию“.

Кораблестроение в те годы напрямую было связано с искусством. Парусники требовали архитектуры, пропорций, красоты, их украшали фигурами, резьбой по дереву. По сей день наука сверяется с красотой. Великий физик нашего времени Поль Дирак сказал: „Красота уравнений важнее, чем их согласие с экспериментом“.

Польза на первом месте, но Петр начинает понимать, что без красоты нельзя, у нее свое назначение. Военные победы России надо уметь отпраздновать так, чтобы все увидели их значение. Соорудить триумфальные ворота, чем-то их украсить. Не для того, чтобы хорошо выглядело, а для того, чтобы не выглядело плохо. Мало добыть Победу, ее следует преподнести и увековечить. Зрелищнее ворот были фейерверки. Взрывы, огни, фонтаны звезд... Чистого зрелища ему недостаточно, ему нужен спектакль, чтобы все видели, по какому поводу, да так, чтобы запомнили на всю жизнь.

Потешные огни должны изобразить Полтавскую битву, где тощий шведский лев накидывается на столб с российской короной. Хочет ее повалить, так же, как до этого он повалил столб с польской короной. Не тут-то было. Русский столб не поддается, появляется русский орел и сверху разит незадачливого льва. Орлу хорошо, он пускает огненные стрелы, что может лев против орла, ничего, в конце концов он разлетается на куски, зрители кричат – Ура! – цель достигнута, Полтавская победа разыгралась у всех на глазах.

Увлечение фейерверочными огнями занимало Петра все больше. Создавать фейерверочные составы, получать новые цвета огней было так интересно, что Петр стал сам работать в пиротехнических лабораториях. Когда фейерверк был готов, Петр зачастую не мог удержаться и начинал сам дирижировать представлением. Дело это было опасное, смеси взрывались, однажды государь чуть не обгорел.

Молочков считал, что у Петра были три страсти: просвещение, морское дело и третья – потешные огни. Наука, вода и огонь.

Думается, что Петр читал мало, но гораздо больше, чем нам кажется. Библию он знал хорошо, что уже давало основу. Для всех ученых того времени Священное Писание было божественным откровением. Он читал некоторые книги, заказанные им для перевода, читал кое-что из Лютера, из русской истории, из римской и греческой мифологии.

Многим известным мыслителям хватало для чтения одной книги – Библии.

И для Петра Библия была главной книгой, книг книг, она содержала для него все стороны человеческой мысли, все проблемы государства, отношения людей. И еще, как известно, любил Эзопа.

Однажды после Прутского похода австрийский посланник попросил у Петра аудиенции. Государь принял его в Петербурге. Перед началом военной кампании Петр, надеясь на помощь австрийского государя в борьбе с турками, предпринял некоторые шаги. Однако австрийцы помощи России не оказали, кампания на Пруте закончилась неудачей, Петр едва не попал в плен.

Посланник, облаченный в парадный мундир, прибыл во дворец по поручению австрийского государя Карла VI передать поздравления его величеству Петру, который своей мудростью и божеским заступничеством избежал великой опасности.

В сочувственный текст была добавлена маленькая улыбочка. Почти незаметная, но оттого замеченная всеми. В те времена дипломатия употребляла приемы тонкие, общение государей, их послания применяли намеки, полунамеки, четверть-намеки. Улыбочка означала мудрую предусмотрительность австрийского государя и полный конфуз русской кампании.

После Прута сподвижники Петра поздравили его со счастливым возвращением, он тогда ответил им: „Мое счастье в том, что я должен был получить сто палочных ударов, а получил только пятьдесят“.

К себе он был беспощаден, ошибок своих не скрывал, но одно дело себя казнить, другое – получать насмешки иностранцев, к тому же от вялого, трусливого, неверного австрийского государя.

Все ждали, что ответит Петр – вспылит, разразится скандалом либо проглотит пилюлю, примет поздравление, как бы не заметив намека.

Спокойно дослушав посланника, он вдруг спросил, читает ли тот по-латыни? Получив утвердительный ответ, Петр принес из своего кабинета томик Эзопа, нашел нужную басню, подал посланнику.

– Читайте, читайте, – сказал он.

Там оба героя, козел и лиса, свалились в колодец, лиса выбралась оттуда по рогам козла и стала над ним смеяться.

Посланник заулыбался, как бы переводя все в шутку. Все молча смотрели на него. Осуждающе, не принимая его улыбки.

Он неловко поклонился.

– Желаю вам приятного вечера, – сказал Петр и удалился.

Глава двадцать восьмая



СНЫ

К своим снам Петр относился внимательно, можно сказать – всерьез. Упорно пытался разгадывать смысл второй жизни, что приходила по ночам. Просыпаясь, звал дежурного денщика, диктовал ему сновидение. Были сны, которые повторялись, чаще всего кровавые кошмары. Во сне он плакал, мать вытирала ему слезы, открывала сундук, чтобы достать рубаху, из сундука выскакивали отрубленные головы...

Были сны запутанные, но что-то означающие: корабль никак не мог пристать к берегу, Петр командовал, но какие-то карлики переставали грести, он накидывался на них с палкой и тогда появлялся рой пчел, Петр отбивался от них, забирался в каюту, там его встречали ученые в париках, они показывали незнакомые карты, подавали ему подзорную трубу, и он видел, как дубовая роща идет по полю и на ветвях несет окровавленного Карла.

В снах таились предупреждения, советы, Яков Брюс толковал их по-своему, все больше к замирению. Некоторые сны Петр разгадывал сам: во сне он увидел, как солдаты гонят по берегу моря стадо тигров, и после этого решил продолжать войну.

Вещие сны появлялись редко. В них приходили братец Иоанн или Лефорт, что-то советовали, напоминали. Была жива матушка, он показывал ей набережную с дворцами. В сновидениях бывало и весело, и больно, и звучали какие-то умные, даже мудрые слова. Он там озорничал, пил, танцевал, был ребенком...

Сны – это было по части Гераскина. У него ни одна ночь даром не пропадала. Он смотрел сны, как телевизор. Всякий

раз ему снилось что-то чрезвычайное, потрясающее, всякие ЧП, аварии, свидания, бабы. До появления учителя его сны заменяли нам устные рассказы. Сны у него были подробными, все в них было связно, толково. Последнее время ему снилась выпивка. Гераскин любил пиво. Он разбирался в сортах, в пивзаводах, накопленная за болезнь жажда прорывалась во снах видениями тяжелых кружек с пышной, льющейся через край, легкой пеной. Он спускался в подвалы к холодным пивным бочкам, от них тянулись шланги. Пиво хлестало как из брандспойта. Черное пиво, светлое, рыжее, золотистое. Пиво сладковатое, горькое, имбирное, жгучее, пряное. У пива, доказывал нам Гераскин, хмель самый лучший – чем больше человек пьет, тем веселее и добрее становится. Пивной дух производит расположение к людям. Водка же, наоборот, производит злобу и драчливость. Грубое его лицо смягчалось, разглаживалось, когда он слагал оду пивному питию. Пиво прекрасно тем, что пить его нельзя наспех, процедура эта долгая, требует отдыха и приятной беседы. В парадной пива не напьешься. Даже у пивного ларька, на ветру, или под моросью – все равно у пивоглотов образуется душевное общение. Хотя ларьки пивной не заменяют, ларек от нашей бедности, все равно что завтракать на скамейке...

Рассказы о Петре вызвали у Гераскина серию снов, в которых Петр по его совету поворачивал Россию на пивной путь. От водки перестраивал на пиво. Вследствие чего происходило потепление нравов и расцвет страны.

– Прямо при тебе расцветала? – уточнял Антон Осипович.

– Тому, кто снов не видит, объяснять бесполезно, – отбивал его выпады Гераскин. – Подхожу я к Петру Алексеевичу, так и так, мол, Ваше Величество, предлагаю я перестроить все питейное дело. Он сразу ухватил суть, не то, что вы, потомки, обнял меня, трижды расцеловал, говорит: езжай, Евгений, к чехам, изучи, как у них дело поставлено в Пльзене, потом дуй в Баварию! Собрались тут Меншиков и прочие руководители, стали пробовать разные сорта, которые вводить мы с Петром хотели, – немецкое, ирландское. Я докладываю, сколько

Россия сэкономит, если водочное безобразие кончится. Кто-то предложил перейти на брагу. Можно, конечно, и на брагу, только пиво дешевле и полезнее, я цифрами и кру́жками доказываю, увлекаю всех так, что решается в пользу пива. Начинается новый путь развития. В народе столько силы прибавляется, что никто Россию догнать не может. Считайте сами. Допустим, самое большее в день пять кружек. Вместо маленькой. Умножим в месяц, если кружками...

И он всех втянул в сладостные вычисления.

Молочков не соглашался, когда Петра изображали гулякой, пьяницей. Гульба бывала, пьянка бывала, но между делом, а не вместо дела. Причем и выпивки Петр устраивал с выдумкой, весельем, с фантазией, пусть странной, но была игра, было что-то, кроме глухого пьянства. Молочков рассказывал про карнавальные шествия, когда несли по улице князя-папу, следом на волах ехали кардиналы, а следом в санях, запряженных медведями, шуты, дьяконы. Сам Петр был дьяконом, угощал всех большим ковшом с гербом орла, и распевали гимны. Вроде такого, и Молочков читал нараспев:

Во имя всех пьяниц
Во имя всех скляниц
Во имя всех шутов
Во имя всех сумасбродов
Во имя всех
Во имя всех водок
Во имя всех вин
Во имя всех пив
Во имя всех медов
Во имя всех
Во имя всех
Во имя всех браг
Во имя всех бочек
Во имя всех ведер
Во имя всех кружек
Во имя всех стаканов

Во имя всех чарок
Во имя всех карт
Во имя всех табаков
Во имя всех кабаков
Яко жилище отца нашего
Бахуса
Аминь!

– Аминь! – повторил Гераскин, и откуда-то из кармана у него появилась бутылка с темной жидкостью, которую он мгновенно разлил по чашкам. Противостоять искушению было невозможно, несмотря на строжайшие запреты врачей. Бывают моменты, когда дьявол обретает силу неодолимую.

Глава двадцать девятая



МАСКА

Папа Римский Климент такой-то, будучи наслышан о русском императоре, решил поместить в музей восковых фигур в Ватикане фигуру Петра. Музей собрал величайших, прославленных людей европейской истории, начиная с Древней Греции и Рима. От Аристотеля и Марка Аврелия до Людовика XIV. Там можно было увидеть и Кромвеля, и Филиппа Испанского, Лоренцо Медичи и Ришелье... Оказаться в столь избранной восковой компании означало высшее признание, если не добродетелей, то во всяком случае славы. Петру было отведено место, он был приглашен и помещен. Никто не откажется войти в первый ряд знаменитостей. Тщеславия Петру хватало. Злободневные знаки отличия Петра не заботили, ему подавай всемирную славу, к ней он относился ревниво, и в пространстве – в смысле всеевропейского признания, и во времени – на века, не меньше. Он и титул императора учредил для себя, и звание Великого тоже при жизни заполучил. Гении малым не довольствуются. У них свои мерки. Они не стесняются, скромность в одежде, в еде, в жилище – это пожалуйста, цена не этим определяется. Ломоносов писал, что быть шутом хочет не ниже как у Господа Бога. И Пушкин повторил его фразу применительно к себе. Они возносят себя выше Александрийского столпа, что Данте, что Пушкин, что Маяковский, что Гёте.

Для исполнения воскового подобия Папа Климент звал Петра приехать в Рим. Нужно произвести точные обмеры, скопировать подробности и рук, и ног, и одежды. Посетить Италию Петр давно собирался. Рим в те времена был центром искусств, как позже стал Париж. Древнее и современное гармонично сходились в этом городе. К сожалению, в тот год Петр

не мог оставить Россию. Надо было завершать переговоры о мире со шведами, двадцать лет Северной войны должны были наконец утвердить победу России. К тому же царевич Алексей скрывался в Австрии, плел интриги, не желая возвращаться. Уезжать было невозможно. И отказывать Папе не годилось. После обсуждения пришли к решению послать в Ватикан гипсовую маску, снятую с Петра. Прибавить к ней слепки с рук и ног. Все это сделать должен был итальянский скульптор Бартоломео Карло Растрелли. Он брался изготовить полностью восковую фигуру царя, но Ватикан имел на то своих мастеров, свою школу.

Растрелли уже три года работал в России. Прежде он прославился во Франции, и Петр, приглашая его, заказал ему свой памятник. Конную статую наподобие той, что он видел в Париже „королю-солнцу". Папа на маску согласился, Растрелли стал готовиться к работам. Гипсовая маска была нужна и самому скульптору, потому как Петр приказал одновременно создать свой восковой бюст в латах. Восковые раскрашенные бюсты и медальоны вошли тогда в моду. Позировать у Петра не было времени. На маску его уговорили.

Растрелли предупредил царя, что технология будет болезненной. Петр подробно расспросил скульптора. Предстояло наголо остричь голову, сбрить усы. Застывший гипс надо будет разбивать, то есть бить царя по голове. Будут и прочие неприятности. Пойдет ли государь на это? Подумав, Петр согласился. Кроме тщеславия его привлекла технология, которую предстояло испытать. На себе? Можно и на себе. В данном случае он был всего лишь объект эксперимента, к этому объекту он относился так же, как к другим людям, не считаясь с неудобствами.

Когда приготовления закончились, Петра усадили в кресло, руки привязали к подлокотникам, туловище к спинке кресла. Нужна была неподвижность и чтобы он уже не мог командовать, поправлять. Глаза залепили пластырем. Голову и лицо смазали гусиным жиром, сверху надели бочонок, то есть опалубку, укрепили на подпорках. В ноздри вста-

вили трубочки, чтобы мог дышать, и все сооружение залили жидким гипсом. На рискованной этой операции присутствовали денщики Петра. Смотрели в оба, чтобы чего не сотворили с Государем. Стоило, например, зажать трубочки – и конец, государь мог задохнуться. Он был беспомощен, никакого сигнала не мог подать. Умышленно, не умышленно, потом поди разберись.

Молча ждали, пока гипс застынет. В трубках посапывало.

Рядом с Бартоломео Растрелли стоял его сын Варфоломей, будущий великий архитектор новой столицы. Наконец гипс затвердел, отозвался стуком, понятным мастеру. Опалубку осторожно отодрали. Принялись раскалывать белую тумбу, в которой заключена была голова императора. Другого приема тогда не знали. И голову нельзя поранить, и гипс нельзя мелко искрошить. Расколоть надо на крупные куски.

Государь стойко терпел экзекуцию. Иначе это не назовешь. Скололи, собрали, отлепили от лица все кусочки, освободили царя. Он не бранился, не жаловался, поблагодарил мастера, велел принести зеркало, рассмеялся на неузнаваемое голое свое обличье, на головку, неожиданно маленькую на плечистом теле великана.

Маска получилась отличная. Правильнее сказать – то была не маска, а полностью вся голова Петра. Круглая, лобастая, щеки одутловатые, губы сжаты, хоть и сидел терпеливо, но выражение силы, величественной, грозной, исходило от гипсового, мертвенно-белого лица. Растрелли отлил две головы – одну отправили в Ватикан, вторую, после того как скульптор попользуется, Петр распорядился поместить в Кунсткамеру.

Прижизненная маска помогла Растрелли в работе над памятником Петру.

Ученики подарили Молочкову копию этой головы. Он поставил ее в своем кабинетике. По его словам, лишенная красок, гипсово-белая голова была полна жизни. В выпученных гипсовых бельмах иногда мелькало что-то, адресованное ему, учителю.

21 Заказ № 164

Неуловимая мягкость живого лица беспокоила, Молочкову вспоминалось чье-то выражение: самая интересная поверхность на земле – это человеческое лицо.

В Кунсткамере голова Петра оказалась рядом с заспиртованной головой Виллима Монса. Палач отрубил ее, насадил на кол, она простояла под дождями и ветрами, поблекла и в спирту осталась сморщенной, бесцветной.

В Кунсткамере редко кто признавал Петра в гипсовой голове. Думали, какой-нибудь из древних, великих.

После смерти Петра граф Растрелли все же сделал с покойного восковую фигуру. Она сидит в креслах в Эрмитаже. Там Петр одет в богатое платье, расшитое серебром. Костюм изготовлен был по случаю коронации Екатерины. Пунцовые чулки, на них серебряные стрелки. Серебряные пряжки на башмаках. Надевал Петр пышный этот наряд лишь однажды, в день коронации супруги.

Историю „восковой персоны" описал Юрий Тынянов в своей повести, которая так и называется. Молочков всячески рекомендовал ее, для наслаждения русским языком Петровской эпохи.

Глава тридцатая



СТАРАЙТЕСЬ, ПЕТР АЛЕКСЕЕВ!

...Была в нем необъяснимая тяга к простецкому обиходу, пышность отягощала его, как отягощает она настоящих ученых, творцов.

К своей коронации Екатерина вышила для супруга кафтан серебром. Когда государь надел его, она восхитилась, так шло ему шитье серебром по голубому сукну. „Ах, батюшка, как он к тебе пристал, как бы я хотела видеть тебя всегда так одетого!"

На это Петр ей ответил: „Безрассудно! Государь должен отличаться от подданных не щегольством и пышностью, а тем более роскошью. К тому же такое убранство только стесняет меня". Действительно, одевался он в одежду незаметную, один и тот же серый кафтан, те же башмаки. Спал на скромном ложе, ел скромно. Драгоценностей не любил. Один иностранец привез в Россию большой алмаз. Думал, что царь, любитель редкостей, купит драгоценный камень. Петр повертел в руках бриллиант, полюбовался его блеском, но купить отказался: „Было бы непростительно потратить огромную сумму на бесполезную вещь, годную только для украшения". Позже он объяснил свое решение подробнее: „Безумие оценивать столь дорого эти блестящие безделушки. А суетность, спутница безумия, возбуждает желание украшать себя. Если б нашелся алмаз величиной с мельничный жернов, то, невзирая на тяжесть, уверен, повесили бы себе на шею". Не то чтобы он красовался этим перед подданными. Когда во Франции ему хотели показать бриллианты французской короны, он не стал их смотреть. Неинтересно ему было. Ничему так не удивлялись, как этому. Для людей того времени такое равнодушие, безразличие к драгоценностям казалось глупым, особенно у государя.

Петр был не только скромен в одежде, но и нетерпим к мужскому фатовству. Увидит молодого щеголя, да если еще тот едет в богатом экипаже, немедленно остановит, спросит – кто таков, какой имеет доход? Найдет, что доходы не по роскоши, – выбранит за мотовство, а то и накажет, пошлет щеголя послужить матросом месяца на два.

Один из молодых людей, посланный учиться во Францию, вернулся оттуда типичным пижоном. Как тогда называли – петиметром. Разгуливал по городу, красуясь своим модным камзолом с кружевной отделкой, весь напомаженный, напудренный, в белых шелковых чулках, в лакированных туфлях. Увидел его Петр, остановил свою одноколку, на которой ехал в Адмиралтейство на работы, сошел, взял под руку молодого франта, стал расспрашивать про учение во Франции. Ведет он его по правую руку, там, где катится одноколка, брызгая грязью. Петру-то ничего, Петр в потрепанном своем серого сукна кафтане, шерстяных грубых чулках, в чиненых башмаках с железными пряжками, а у расфуфыры это нарядное платье, чулки, кружева – все чернеет от грязи, а Петр не отпускает его.

– Грубо и некрасиво, – определил профессор. – Тоже мне занятие для руководителя страны. Мелочился ваш любимец.

– Как считать, – задумчиво сказал Гераскин. – Факт мелкий, однако стал известен. Сохранился.

– И между прочим, даже на моих учеников производил впечатление. Один мальчик нарисовал, и неплохо, как идет царь, а рядом роскошно одетый паренек, так сказать, контраст пышности и скромности. Современников это тоже восхищало. Следующий раз на Европу произведет то же сильное впечатление серый походный сюртук Наполеона.

Профессор же не преминул напомнить защитный френч Сталина и такой же Мао Цзэдуна.

...Путешествуя по Европе, Петр насмотрелся на придворную жизнь больших и малых государей. Хотели они того или нет, штат придворных занят был их возвеличиванием. Для

этого требовалось великое множество людей и средств. Пышные охоты, балы, выезды, наряды, дворцы – они опустошали казну. С этим не считались.

Образцом для всех европейских дворов был культ „короля-солнца“ Людовика XIV. Обставлен он был множеством церемоний. С утра, начиная от королевского пробуждения, раззолоченная, напудренная знать священнодействовала вокруг августейшей особы, вплоть до отхода его ко сну. Придворные в приемной ждут, когда двери спальни распахнутся. Король проснулся. Сперва впускают принцев и принцесс, за ними входят врачи: лейб-медик, лейб-хирург. Потом начинается Большой выход – камергер, гардеробщик, герцоги, камер-юнкеры, парикмахеры...

Кто-то из них допущен умывать – король протягивает руку над золоченым блюдом, ему поливают винный спирт. Он читает молитву, встает, камергеру доверено облачить его в халат. Король идет к креслу. В зал входят придворные, чтобы нарядить его. Снимают ночную рубаху, приносят свежую сорочку, чулки, туфли. На каждый предмет положен свой чин – полный список придворных, обслуживающих государя, занимал семьсот страниц! Прием лекарств, прием пищи, сиденье на горшке, то есть на стульчаке, – все было обставлено церемониями, совершалось публично. Людовик XIV себя боготворил и поддерживал эту религию в обществе. Он был, по выражению русского историка, творцом собственного культа и своим первым поклонником: „Нация во Франции, – наставлял он наследника, – не составляет самостоятельного тела, она (т. е. Франция) целиком заключается в особе короля“.

Будучи на лечебных источниках неподалеку от Карлсбада, Петр получил приглашение от местной княжеской семьи. Хозяева привезли его в свой замок, где ждал обильный обед. Продолжался он долго, так что государь истомился. После обеда его повели осматривать замок. Государь с любопытством его обошел. Хозяева спросили, как ему понравились их владения. Здание великолепно, сказал государь, но есть один недостаток. Какой? – тотчас забеспокоился князь. Слишком велика кухня, – ответил Петр.

Подражать ни французскому монарху, ни немецким курфюрстам Петр не собирался. Его упрекают в насаждении западных порядков, он же на самом деле бросил вызов европейским дворам, отвергая культовые церемониалы, все удушающие обычаи монархической Европы. Одновременно он разрушал и традиции русского царского двора.

– Зачем?

– Затем, чтобы сберечь казну. Деньги нужны были на дело. Прежние обычаи связывали его по рукам и ногам. То, что он стриг бороды у бояр, это ерунда, молодежь, кстати, приветствовала новый европейский облик. И одежду. Серьезней была революция в придворной жизни. Возьмите штатные расписания царского двора. Чего стоила огромная охота – псари, доезжачие, егеря – он их всех ликвидировал. Не с Европы брал пример, сам делал – сократил ключников, стремянных, стольников – такое сокращение штатов произвел, какого после него уже не бывало. Тысячу с лишним бездельников заменил несколькими денщиками и слугами. Имелось три тысячи лошадей для выездов. Да плюс четыре тысячи рабочих лошадей. Все это он сократил до минимума. В его обслуге остались один камердинер и шесть денщиков. По двое у него дежурили. Денщики были и за адъютантов, и за курьеров, и за секретарей. Он их держал за гайдуков и тех, кто на запятках ездит, да еще подушками служили. Когда в дороге сон сморит, он голову клал денщику на живот, чтобы лежать спокойнее. Людей он ценил по работе. И себя также по работе.

– То есть? Он царь, – сказал профессор. – Цени не цени, все царем останется.

– А он себе установил служебные звания. Армейские и морские.

– И что с того?

– Однажды на флоте освободилось вице-адмиральское место. Петр подал на конкурс. Были тогда уже конкурсы. Он в то время имел чин контр-адмирала. Дослужился. В сущности, он прошел одну за другой почти все должности на флоте. И теперь, по всем правилам, подал свои документы. Как и другие

претенденты. Начинал чуть ли не юнгой у капитана Муса, да так ретиво, что страшно перепугал того. Этот Мус никак не мог принять всерьез, что царь действительно будет служить юнгой, и шутки ради приказал ему сделать узел на верхушке мачты. Петр, не раздумывая, бросился исполнять приказание. Дул сильный ветер. Капитан закричал, чтобы Петр немедленно спускался. Петр сделал узел, спустился и успокоил капитана. Иностранцы не могли понять, что царь способен служить матросом или, например, бомбардиром, причем по всем правилам. Все исполнялось всерьез, без поблажек. Петр описал в своем прошении все свои заслуги – участие в морских походах, сражения, написание Морского устава, кораблестроительные дела. Заслуг, кстати, набралось немало, он вполне смел рассчитывать на вакантное место вице-адмирала. Имел на то все основания.

Как происходило обсуждение в Адмиралтейств-коллегии, неизвестно, решение было – отдать вакантное место другому претенденту, контр-адмиралу, который дольше Петра служил на флоте. Что касается контр-адмирала Петра Алексеева, он получил учтиво-утешительный ответ: оказанные услуги флоту коллегия признает и уверена, что Петр Алексеев и впредь будет стараться и сможет надеяться на повышение при первом удобном случае.

Итоги конкурса нас развеселили. Прежде всего спросили, что Петр сделал с этой коллегией. Не может быть, чтобы так просто проглотил и утерся. Конечно, все понимали, что именно в этом соль истории, а все равно спрашивали, не могли удержаться, и более всех изумлялся Антон Осипович.

– Так и огласили – отказать? Не согласовав? Как же Петр не разогнал их. Как они посмели? Ничего себе... Ведь это удар по престижу. Царю отказали!

– Не царю, а контр-адмиралу, – поправил Молочков.

По словам профессора, у них в институте представить невозможно, чтобы ученый совет отказал ректору. Когда однажды Челюкин сцепился с ректором, так тот прямо предупредил: будешь упрямиться – не пройдешь по конкурсу.

Антон Осипович хохотнул.

– Видите, Елизар Дмитриевич, лучше иметь дело с императором, чем с вашим ректором.

– А как все же Петр реагировал? – спросил профессор.

– Отчасти был доволен, – сказал учитель. – Поскольку сказал: „Господа, члены комиссии правильно судили и правильно поступили. Если бы они из ласкательства предпочли бы меня, то не остались бы без наказания".

– Все же со стороны Петра это, извиняюсь, несерьезно, – настаивал Антон Осипович.

Учитель помедлил, потом сказал:

– Многие считают, что бок о бок с его делами всегда шла игра. Где она кончалась, сказать трудно. Например, его детские потешные полки вдруг оказались серьезной воинской силой.

– Но зачем во взрослости в игры играть?

– Думаю, смысл был, – не сразу ответил Молочков. – Мы можем только гадать.

В тот раз больше от него ничего не добились. Он вдруг прекращал разговор, как будто уходил от нас. Во всем остальном был он человек стеснительный, деликатный. Но в этом был завидно свободен, умолкал и выключался.

Гераскин принялся расспрашивать профессора, уступил ли он своему ректору.

– Еще бы, – сказал профессор с некоторым удовольствием. – Ему никто не осмелится перечить. Меня бы завалили, как пить дать.

– Вот это и сказывается на сердце.

– Что именно?

– Терзания совести. Поскольку вы пошли против нее.

– Извините, Евгений Иванович, если бы я пошел против ректора, то от неприятностей давно бы загнулся. С совестью кое-как можно договориться, она все же моя.

С молодых лет распорядок профессорского быта учитывал все требования медицины и новейшие воззрения. Профессор делал зарядку, ходил в бассейн, ходил пешком, не пил, не курил, ограничивал себя в еде, ложился рано, вставал рано, в

семье любовь и покой. Работу сочетал с активным отдыхом. Наследственность здоровая. Предки, хотя и были интеллигенты, что, как известно, не способствует, тем не менее жили более семидесяти лет. Половая жизнь профессора, по мнению Гераскина, пострадавшего на этом деле, вряд ли могла называться жизнью. Неприятности на работе не выходили за пределы общей нормы. Да и переносил их Елизар Дмитриевич с юмором. Не перегружал себя и в общем и целом преуспевал, ездил за границу, печатался, имел независимость, ибо ценился как специалист по болезням леса. И вдруг, на гладком ходу, без повода и причины – бац! Почему? за что? Как у какого-нибудь гуляки, неврастеника, неудачника. Почему именно его настиг этот произвол, заложенный в каких-то биологических недрах? Для чего же были все старания? Прихоть слепого рока выводила его из себя. Он вскакивал, забывая о предписаниях, ругался бессильно и неумело.

– А в чем, собственно, дело? О чем шум? – недоумевал Гераскин. – Инфаркт – болезнь профессорская. Вам положено. Она от вашего брата перекинулась на рабочий класс. Это мне – водителю-шоферюге – она не к лицу.

Разговор насчет совести продолжался. Учитель интересовался, чем же профессор успокоил ее.

– Очень просто, – сказал профессор. – Я на ученом совете поддержал ректора. И объяснил мотивы своего голосования. Так мол и так, поскольку ректор предупредил меня, что иначе я не пройду конкурса, то теперь я по всем вопросам, что бы он ни предлагал, буду его поддерживать, даже в этом деле, где я не согласен с ним, я все равно голосую за его мнение. Представляете?

На это учитель торжествующе сообщил, что с Петром можно было спорить, кое-кто осмеливался.

Когда начались работы по рытью большого Ладожского канала, выявилась нехватка людей. На заседании Сената решено было обязать владельцев деревень Новгородчины, Петербургской губернии послать своих крестьян. Обсудили, постановили и дали царю на подпись.

В тот день князя Долгорукова в Сенате не было, явился он на следующее утро, поинтересовался про вчерашнее заседание. Ему подали протокол, подписанный всеми сенаторами, ему тоже следовало расписаться. Прочитав, князь принялся убеждать всех, что решение принято неправильное, нельзя разорять ближние деревни, и без того истощенные частыми поборами на строительство Петербурга.

Его предупредили – обсуждать бесполезно, указ уже подписан государем, так что ничего переменить нельзя.

– Как так нельзя, мы тут для чего сидим! – воскликнул князь.

Ему говорят, что, если не хочет, пусть не ставит своей подписи, это ничего изменить не может, это, мол, формальность, напрасно он горячится. Насмешки распалили его так, что он схватил указ и разорвал подписанную царем бумагу.

Сенаторы обомлели. Никто подобного не ожидал. Разорвать царскую подпись, – да знает ли он, что наделал, какое ему наказание будет.

– Знаю, – отвечал Долгоруков. – Буду ответ держать, мне дело важнее страха. Надо государя убедить.

Появился Петр в Сенате, ему немедленно доложили про выходку князя. Разумеется с преувеличениями, князя недолюбливали, прежде всего за то, что царь был к нему расположен, еще за то, что князь выставлял себя правдолюбцем, ни с кем не считался. Сенаторы не могли упустить случая подвести Долгорукова под царский гнев.

Генерал-прокурор с трепетом подал Петру разорванный указ. Петр пришел в ярость, громовым голосом обратился к князю, как он смел сотворить такое преступление против высшей власти? Что заставило его?

Сквозь гнев он понимал, что должна же быть причина столь неслыханному поступку.

Князь встал перед Петром, роста был тоже не малого, седые усы задиристо торчали, сдвинул короткий парик, готовясь к схватке. Про царя он говорил: государь горяч, а я горячее. В запале мог и в самом деле натворить бог знает чего.

Он был старше Петра на тридцать три года, на целую жизнь, и какую, это и сдерживало. Недаром Петр называл его „дядя“. Еще с тех пор, когда князь служил при царевиче стольником. В борьбе с Милославским и Софьей открыто принял сторону Петра. Воевал и сражался под Нарвой, попал в плен к шведам. Одиннадцать лет протомился в шведских тюрьмах. Когда в 1711 году шведы переправляли пленных на шхуне в другое место, Яков Долгоруков организовал захват этой шхуны. Пленные обезоружили охрану, загнали ее в трюм и повели корабль в Ревель. С тех пор он занял одно из первых мест в Сенате, за что его всячески подсиживали Меншиков и другие.

Долгоруков часто пользовался своим положением, не стеснялся находить изъяны в указах Петра и заметно истощил его терпение. Однако порвать указ – такое не могло сойти даже ему с рук. Сенаторы ждали.

Начал Долгоруков неожиданно:

– Не верю я, государь, что ты хочешь поступить, как Карл XII.

– Что ты имеешь в виду?

– То, как он разорил свою страну.

– Это ты про что?

– Кто более других пострадал от войны?

– Кто?

– С каких мест более других брали в солдаты? С каких брали людей строить Петербург? С Новгородских и Петербургских. Они и обезлюдели.

С этим Петр должен был согласиться.

– Почему бы нам не взять работников из других губерний. Понемногу с каждой. Чтобы урону не нанести.

И тут была его правота.

– Есть еще шведские военнопленные, тысячи их. Почему не послать их канал копать.

Твердо и бесстрашно Долгоруков излагал свои предложения. Знал, чем рискует, нельзя было дрогнуть.

Петр медленно остывал.

– Все это правильно, – сказал он, – но это не значит, что можно рвать указ, подписанный мной.

Князь вину признал, хотел как-то остановить поспешное решение, ничего другого не нашел.

Постановление царь пересмотрел, шведских военнопленных послали на строительство канала.

– Я часто не могу сдержаться, так ты мне спорами своими досаждаешь, – впоследствии сказал Петр, – но вижу, что ты меня и государство верно любишь.

Долгоруков и позже не унимался. Выступил против повеления Петра о поставках муки для флота, назвал указ необдуманным, следует не издалека везти муку, лучше обменять ее излишки у сенаторов на урожай будущего года.

Князь вынуждал Петра поправлять свои решения, это раздражало царя. Как бы ни стремился Петр к пользе государства, все равно раздражало.

Существует и более драматическая версия случая с разорванным указом. Петр приехал в Сенат, узнал про выходку Долгорукова, послал за ним. Князя нашли в церкви. Привели под государевы очи. К тому времени Петр раскалился до предела. Он схватил князя за ворот, замахнулся на него кортиком, угрожая смертью „за преступление против достоинства монарха".

– Рази, – холодно отозвался князь. – Ты будешь Александр, я – Клит!

Классическая история с Клитом была известна и Петру, и многим сенаторам. Полководец Клит, близкий друг Александра Македонского, спас ему жизнь в битве при Гранике. Однажды Клит заспорил насчет восточной политики, Александр в порыве гнева заколол его кинжалом.

Сравнение охладило Петра, он потребовал объяснений. Выслушал, поблагодарил за разумное дерзновение во имя пользы государственной.

Разорванный указ велел хранить в Сенате на память векам.

– Сохранили?

– Где там... У нас ничего такого не сохраняют, следов не найти.

– Эта версия поярче.

– Да, анекдот любит заострение.

– Зачем было сохранять указ?

– Может, Петр призывал сенаторов к критике.

– И что? Подействовало? – профессор хмыкнул.

Молочков промолчал.

– Нет. Боялись. Предпочитали помалкивать. Долгоруков так и остался в памяти чуть ли не единственным, кто осмеливался.

Дремов потер руки, с удовольствием приступая к своей роли:

– Позвольте вам, Виталий Викентьевич, предложить другую отгадку. Чтобы самодержец призывал к критике, – такого не было и быть не могло. Не казнил, и то спасибо. Сенаторы свое дело знали. Долгорукову с рук сходило – потому что один-единственный нашелся такой отчаянный старик. Появись еще несколько, Петр живо бы приструнил их. Посадил бы на кол, пусть оттуда критикуют. Нет уж, если ты самодержцем работаешь, изволь сам и решать. Порванный указ хранить следовало знаешь зачем? – Дремов встал и торжественно провозгласил: – В память того, как государь смирился перед истиной. Сам Александр Македонский не смог, а Петр Великий сумел!.. Потому он и Великий. Сознайтесь, дорогой вы наш историк, – тщеславен он был! Ведь заботился о своем месте в Истории?

Молочков насупил свои белесые бровки.

– Пожалуй что да.

– Императора это он себе выхлопотал?

– Ну зачем же так. Это Сенат попросил его после окончания Северной войны в честь заключения мира принять титул императора.

– Принял? Не отказался? Сенат! Хотите расскажу, как это делается? Вызывает к себе Меншиков старейшего сенатора, допустим, того же Якова Долгорукова, так, мол, и так, есть мнение отметить окончание войны, присвоить звание генералиссимуса, то бишь императора Всероссийского, организатору наших побед. Хотим доверить тебе сию инициативу. Текст выступления подготовлен, постановление также, надеюсь, оспаривать, князь, не будешь. Князь благодарит, удаляется. Мен-

шиков звонит, докладывает – поручение выполнено, думаю, все принято будет единогласно. Ему отвечают, вот, мол, есть еще добавление, некоторые предлагают „Петр Великий", другие „Отец Отечества". А мы, говорит идеолог, оба звания прибавим, чего нам мелочиться. И пришлось бедолаге царю принять все титулы. К тому времени он уже из юнги дослужился до адмирала, от бомбардира до какого-то армейского чина, от рядового русского царя до Императора всея Руси, Отца Отечества, Великого Петра.

После Полтавской победы Петр щедро награждал соратников, не забыл и себя. Только не сам себе присвоил новые звания, а обратился с ходатайством к фельдмаршалу Шереметеву, как обычный военачальник, напоминая о своих заслугах, соблюдая положенную иерархию, просил рекомендовать указ государям: князю-кесарю и князю-папе. Они „сверху" присвоили ему звание генерал-лейтенанта. На поле битвы он велел возвести памятник – „пирамиду каменную с изображением персоны нашей в современном возрасте на коне среди боя", причем не забыл уточнить материал – желтую медь, и по сторонам на медных досках описание битвы.

– Тщеславия у него хватало, – согласился Молочков. – Да, он соревновался с Александром Македонским, его он считал в мировой истории достойным соперником. Он знал, что крепость Дербент основал Александр. Когда русские войска вступили в Дербент, случилось землетрясение. Петр на это сказал, что город встречает его торжественно, поколебав стены перед его могуществом. А при возвращении в Москву из южного похода триумфальную арку велел украсить изображением Дербента и латинской подписью: „Сию крепость соорудил сильный или храбрый, но владеет ею сильнейший и храбрейший!" Латинской – Петр как бы непосредственно обращался к величайшему полководцу, сыну бога Солнца, ему он показывал свое превосходство.

– Правильно делал, – сказал Антон Осипович. – Сам о себе не позаботишься, от других не дождешься.

Глава тридцать первая



ЗАКОЛДОВАННАЯ ШПАГА

Полтавская победа доставила русским богатые трофеи. Захвачено было имущество шведского королевского кабинета. Кроме бумаг имелись там сундуки с драгоценностями, похищенными в Польше, в Саксонии, подарки, преподнесенные Карлу XII. По поручению Петра всем вещам граф Головин и барон Шафиров должны были составить опись. В этих делах Петр был щепетилен и требовал соблюдать строжайший порядок. Кроме того, он заботился и об Истории. Както сам явился смотреть богатства шведского кабинета. Перебирая разные предметы, обратил он внимание на шпагу. Что-то знакомое показалось ему в рукояти с тарелкой и дужкой, вытащил ее из ножен, осмотрел. Сомнений не было – это его собственная шпага. Та самая, что подарил он польскому королю Августу несколько лет назад.

Тогда они впервые встретились в польском местечке – Август, по прозвищу Сильный, король польский, и русский царь. Это было в конце первого путешествия Петра по Европе. Он прервал свою поездку и возвращался в Москву, встревоженный известием о Стрелецком бунте. По дороге воспользовался возможностью провести переговоры с Августом о совместных действиях против шведов. Три дня шли секретные переговоры.

Король Август понравился Петру. Молодые, почти ровесники, оба великаны, силачи, красавцы – они сразу сдружились. Веселый, приветливый, Август, умел нравиться, он обладал тем, чего не хватало Петру, – светским воспитанием плюс хорошим образованием, знанием европейских обычаев, он пел, играл на инструментах. В салонах он умел блистать, искусно вел любовные игры, ухаживал. Ни к кому из коронованных особ Петр никогда не испытывал таких дружеских чувств, как

22 Заказ № 164

к Августу II. К вечеру, покончив деловые переговоры, они устраивали пирушки, войсковые смотры. На прощание Петр подарил Августу свою шпагу, Август ему свой золотой кортик. И накрепко договорились о союзе против Швеции.

С этого времени Петр в своих посланиях подтверждал, что считает Августа своим другом не только политическим, но личным.

Надеясь на своего союзника, Петр готовился продолжать совместные действия против шведов, Август же начал тайные переговоры с Карлом. Победоносное наступление шведов в Саксонии грозило разорить герцогство. Август не надеялся, что русские смогут остановить непобедимого Карла, и отправился в Лейпциг на свидание со шведским королем. Август оправдывался тем, что спасает Саксонию.

Петру уже доносили, что Август неверен и скрытен, „как бы он ни клялся, все равно обманет", но тут вероломство предстало наглядно.

Все было бы понятно, но никто не заставлял Августа распинаться в своей преданности Карлу и в доказательство преподносить шпагу, подаренную русским царем. И в предательстве есть свои низости.

Огромная шпага была под стать рослому польскому королю. В сваленной груде тростей, шкатулок, подзорных труб, сабель большой рубин пылал на ее рукояти.

Подробности всплыли теперь, после Полтавской победы. Сдержав гнев, Петр приказал Головину и Шафирову хранить шпагу втайне, пока он ее не потребует.

В сентябре 1709 года Петр отправился на корабле по Висле в Варшаву. Встречать его у Торна должен был Август, возвращенный Петром на польский престол. Петра встречали как победителя, салютовали ему, сенат Речи Посполитой приветствовал его как спасителя польской свободы и законного короля.

Законный король на корабле, обтянутом красным сукном, плыл навстречу бывшему своему другу. Они сошлись уже на равных. Теперь русский царь должен был признать Августа королем польским, все зависело от победителя шведов. Мог и не

признать. Просчитался Август, не на того поставил, немудрено, что при виде Петра он „смутился и изменился в голосе и лице“, как писал Пушкин в своей „Истории Петра“.

Они любезно приветствовали друг друга. Август не знал, как держаться, прежнего покровительства светского кутилы, бонвивана не могло быть. Он льстиво расспрашивал подробности Полтавской баталии, как били шведов, как бежал Карл.

В рассказах Петр никак не попрекал Августа предательским поведением, готов был предать постыдное прошлое забвению. „Забудем о том, что изменить невозможно“, – привел латинскую пословицу Петр и пообещал дать согласие на вечный мир с Польшей и воцарение Августа на троне.

Сели на коней, отправились за город. Начались переговоры. Вечером, после ужина, Петр похлопал по своему кортику, подаренному Августом, похвалил его, рассказал, как любит носить подарок, и, кстати, вспомнил про свой подарок – шпагу, как она поживает?

Август всплеснул руками – забыл на корабле, запамятовал на радостях от предстоящего свидания, виноват, позабыть такой дар... Ответ был поспешный, гладкий, Август удрученно смеялся над собой, удрученность превосходила значение оплошности.

Ах, Август, Август, лучше бы ему не пускаться в такие игры с Петром Алексеевичем.

Спектакль можно было продолжить, король сам дал повод – не послать ли нарочных за шпагой, чтобы утешить его величество Августа? И Петр с грустью наблюдал, как Август завертелся ужом, придумывая отговорки.

А ладно, не будем мелочиться, рука дающего да не оскудеет, чтобы не ждать не искать, подарим королю другую шпагу. Хлопнул Петр в ладоши, и по царскому хотению, по его велению двери распахнулись, и два преображенца внесли на алой подушке шпагу. Барон Шафиров вручил ее Августу. Тот взял с поклоном, рассыпался с благодарностями и вдруг умолк, замер – видит, что в руках та самая шпага, что передарил Карлу, тот же рубин кровавый горит, переливается в рукояти. Все

смотрят на него, а он глаз не поднимает. Петр ждет, обе свиты ждут, что он скажет. А что он мог сказать – стал удивляться: как похожа. Все ухмыляются: кто догадался, кто прослышал, один Петр ничего не говорит, ждет, не признается ли Август, – нет, духу не хватает. Восхищается щедростью Петра, искусством его оружейников. И вышло, что король врет. И все кругом понимают, что врет. Конечно, короли часто врут, работа у них такая, но, пока король правит, его во вранье не уличают. По крайней мере, публично. Тут же получилось, что Август сам себя выставил лжецом. Петр выдержал безучастную паузу и перешел к делам, позорить Августа далее в его расчеты не входило, ему нужно было иметь на польском престоле человека, верного миру с Россией.

Кстати, другую свою шпагу, ту, что была у него при Полтавской битве, Петр подарил королю Фридриху, малорослому, хилому, мучился он с ней, огромной, тяжелой, однако носил исправно.

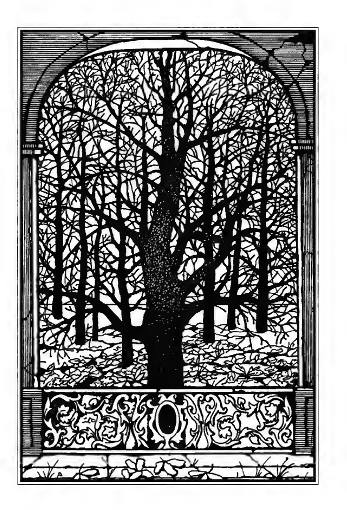
История про шпаги всем понравилась: все в ней было – короли, хитрости, коварство, чего еще надо, к тому же ряд исторических сведений, мораль в конце.

– Туповат был этот Август, – сказал Гераскин. – Раз Петр спросил про шпагу, значит, недаром, соображать надо.

– Королей не по уму выбирают, – сказал профессор.

– А кого по уму выбирают? – поинтересовался Гераскин. – Кого, назовите?

Глава тридцать вторая



В СПАЛЬНЕ МАРКИЗЫ

Был один великий писатель, который имел возможность видеть Петра неоднократно, следовать за ним, и возможность эту он использовал. Его поразила личность русского царя, он наблюдал за ним день за днем, отмечал подробности его пребывания во Франции. То был герцог Сен-Симон, автор всемирно известных мемуаров, посвященных жизни королевского двора времен Людовика XIV и Людовика XV. Рассказу о Петре он отвел отдельную главу.

Французский двор был избалован визитами королевских особ; короли, принцессы, принцы, маркизы, князья, герцоги прибывают и убывают, мемуары полны выразительных портретов, но единственный из чужеземцев, на ком внимание Сен-Симона останавливается с такой заинтересованностью, – фигура русского царя. Сен-Симон наблюдает за ним издали. От личного знакомства с царем он уклоняется. Вмешательство рассказчика могло исказить картину. Рассказчик как бы незримый зритель, присутствует, видит, слышит и не участвует. Он вне партий, группировок, свободный только для собственных впечатлений. Ему нужна беспристрастность, чтобы ближе подойти к достоверности.

Сен-Симон обычно беспощаден к своим персонажам. В характерах даже симпатичных ему людей он находит ту противоречивость, соединение плохого и хорошего, из чего состоит каждый человек. В Петре он отмечает капризность, чудовищность аппетита, грубость манер, что нарушало отработанный этикет французского двора. Видно, однако, как нарастает у автора симпатия. В конце концов он оценил вольность поведения царя как свободу от условностей, свойственную высокому духу.

Русский царь при своем „варварском происхождении“ оказался европейски учтив, знает немецкий, голландский, что бы

ни делал, все чувствуют присущее ему величие. Сен-Симон продолжает, как он говорит, „пялиться на царя“, все более поражаясь его несходству с прочими государями.

Русский поразил своей любознательностью. Его интересовало все – коллекции и просвещение, гобелены и аптекарский огород, механизмы и теология, он без конца задает вопросы, толковые, точные. Живая восприимчивость сопровождается тонкими суждениями. Все свидетельствовало о глубоких и обширных знаниях. Невольно у Сен-Симона напрашивалось сравнение с малограмотным Людовиком XIV, который постоянно учил архитекторов, портных, генералов, поваров, раздавал нелепые указания, при этом любуясь собою, выказывая дурной вкус и невежество.

Сен-Симона забавляло, что свита царя русского привезла в Версаль девиц, ночевала с ними в покоях, принадлежащих госпоже де Ментенон, по соседству с комнатой, где спал царь. Храм целомудрия был осквернен, ибо госпожа де Ментенон, тайная супруга Людовика, была, по мнению Сен-Симона, образцовой ханжой. Набожная и распутная, искуснейшая интриганка, она правила 32 года и составила эпоху в царствование Людовика.

Она была еще жива, и Петр заинтересовался этой реликвией недавнего царствования.

Людовик XIV только недавно почил в Бозе, все при дворе еще было исполнено памяти о нем, рассказов о его царствовании, удивительном по своей продолжительности – 54 года! Это фактически, а если юридически, то 72 года, рекорд! Госпожа де Ментенон была главной достопримечательностью этой уходящей эпохи. Любовницы короля сменяли одна другую, за их состязанием наблюдала Европа, ибо французский двор был самым блистательным и популярным. Из них осталась победительница, которой сейчас было за восемьдесят.

Князь Куракин, посол во Франции, рассказал Петру историю маркизы де Ментенон, которая начала свою карьеру при дворе гувернанткой у ведущей любовницы короля, госпожи Монтеспан. Вскоре она вытеснила хозяйку, приблизилась сама

и ловкими ходами стала необходимой королю. Она воплощала торжество придворных интриг. Поразительно было искусство, с каким эта женщина десятилетиями сумела поддерживать интерес к себе, придумывала новые и новые уловки, рассчитывала все наперед, окружила себя ореолом святой. Это была, несомненно, выдающаяся женщина.

Маркиза де Ментенон решительно отказалась принять русского царя, ссылаясь на нездоровье.

Петр поехал в Сен-Сир осмотреть учебное заведение, созданное Ментенонщей. Там воспитывались 250 девушек из семей бедных дворян.

К Франции Петр присматривался со всех сторон. Она для него была образцом абсолютной монархии. Он хотел понять механизм этой власти. За последние десятилетия Франция вышла в самые сильные государства Европы. Каким образом король „абсолютный без возражений“ искоренил всякую другую власть в стране кроме собственной? Ссылка на законы, на право считалась при нем преступлением. Судьба Людовика и его царствования была удивительна. Невежда, который никогда ничего не читал, не писал, только умел играть на гитаре, умудрился окружить себя лучшими умами. Посредственность, превосходно поглощающая таланты. Уметь пользоваться чужими талантами – решающее качество государя, Петр тоже умел, но ему мешали собственные дарования.

Сыновья и внуки Людовика поумирали. Наследником стал пятилетний правнук, Людовик XV. Маленький король чем-то затронул сердце Петра, и он общался с мальчиком, нарушая этикет своей нежностью.

Регент, герцог Орлеанский, пытался вовлечь Петра в свои шумные оргии. „Будем развлекаться!“ – под этим лозунгом знатные дамы отплясывали голышом, на место прежних балов, с утонченной фантазией, пришел разврат без выдумки и вкуса. Блеск версальского двора потускнел.

В Сен-Сире воспитатели и воспитанницы встретили царя со всей почтительностью, он обошел классы, дортуары, затем направился к покоям маркизы, которая жила тут же. Его оста-

навливали, он не обращал на это внимания. Маркизу еле успели предупредить. Она легла в постель, велела задернуть все шторы. Петр вошел, было темно, он бесцеремонно поднимал штору за шторой, июньское солнце ворвалось в спальню. Петр раскрыл полог бархатного балдахина и принялся разглядывать лежащую. Его вольность походила на вольность короля Франции, Людовик так же не считался с настроением, здоровьем своих любовниц, он делал то, что хотел. Бесцеремонность Петра подтверждала его царское право.

Итак, перед ним предстало живое воплощение ушедшего в легенду царствования. Женщина, на руках которой умирал Людовик XIV, которая была не просто любовницей, а соправительницей, тайно обвенчанной женой. Седые жидкие букли выбивались из-под чепца. Петр вглядывался в эти наспех подреставрированные развалины, пытаясь представить когда-то великолепное сооружение. Старуха попробовала отодвинуться в тень, но от яркого солнца некуда было скрыться. Безжалостно, молча разглядывал он остатки былого могущества. Конечно, все проходит, это жалкое морщинистое усохшее существо доказывало суету сует, тщетность земной власти и богатства. Сильные духи, яркие румяна – нелепое зрелище, достойное размышлений.

У Петра было развито чувство истории. Он знал свою роль и умел среди потока событий и лиц находить исторически значимые.

...Та самая Франсуаза Ментенон, о которой без устали твердила Европа в течение двадцати с лишним лет, та самая, которая холодно встретила смерть Людовика, своего морганатического супруга, та, что не стала безутешной вдовой, а написала мемуары беспощадные, злые. Этим закончился блестящий век „короля-солнца“.

Как сказано в Библии: „Во всех делах своих помни о конце“.

Умирая, Людовик сказал Ментенон: „Я утешаюсь вашим возрастом, мы скоро встретимся“.

Она была старше короля на пять лет.

По одной версии, Петр спросил маркизу, чем она больна. Она ответила: „Старостью, Ваше Величество", на что Петр сказал, что все мы подвержены этому, когда долго живем. Историки добавляют, что Петр похвалил ее заведение за образцовый порядок.

Однако Сен-Симон пишет, что Петр ничего не произнес у постели де Ментенон, молча покинул спальню. Да и о чем было говорить, зрелище произвело на него такое удручающее впечатление, что любые слова были бесцветны. Он удалился даже без поклона. Сен-Симон утверждал, что ему известно, как Ментенон была поражена и оскорблена.

Некоторые утверждают, что Петр галантно похвалил учрежденное ею заведение, где девицы обязаны ей своим воспитанием и счастьем, так что это может служить утешением.

Последний вариант выручает Петра, для учителя же молчаливый уход царя куда выразительней. Но жизнь не выбирает художественных решений.

Сен-Симон заключает рассказ о Петре не свойственным ему признанием. Своеобразие талантов Петра, пишет Сен-Симон, делает его государем, достойным величайшего восхищения самых отдаленных потомков. Таково было единодушное мнение Франции, очарованной русским царем.

Описание внешности Петра, созданное Сен-Симоном, Молочков считал самым живописным и, пожалуй, лучшим. Не удержался, процитировал: „Царь был хорошо сложен, лицо круглое, высокий лоб, красивые брови, полные губы, смуглый, красивые живые проницательные глаза, черные, взгляд величественный, иногда бешеный. Весь его вид свидетельствовал об уме, рассудительности. Шляпа его вечно валялась на столе. При всей его простоте все сразу понимали, кто он такой. Съедал, выпивая, невыразимо много. Царь неплохо понимал по-французски и мог говорить, если б захотел. Очень хорошо говорил по-латыни".

Портрет сам Молочков признал несколько приукрашенным – прищурясь, он как бы сравнивал: плечи узкие, голова маленькая, пропорции не хватало...

Обычно ирония Сен-Симона не щадила никого, он предпочитал обличать, выявлять пороки, издеваться над глупостью власть имущих. Видно, что Петр произвел на него исключительное впечатление. Людовику XIV повезло, в том смысле, что при его дворе оказался такой писатель, как Сен-Симон. Да и Петру повезло заполучить столь проницательного наблюдателя.

Величие Людовика шло от его окружения (оно состояло из прекраснейших умов Франции). Людовика отшлифовали парижские салоны. Осанка, вальяжность – он умел дорого продавать королевскую улыбку, создал свой культ, обожествил себя, доказав, как много может достичь бесталанность. Он воевал успешно и бестолково. Культ изменил его, с годами он стал нетерпим к тем, кто проявлял ум и таланты. Он желал первенствовать сам, всюду, во всем. Двор был окутан интригами, и король вовсе не обладал той абсолютной властью, какую он себе приписывал. Сен-Симон описывает искусный механизм, с помощью которого на самом деле королем управляли.

Петр с любопытством знакомился с французской аристократией. Это было нечто новое. Аристократ служил королю не ради выгоды. Верность его была связана с понятиями: совесть, честь, долг. Так что подкупить его было нелегко. Механизм французской монархии показывал преимущества и слабости абсолютизма, в сущности Людовик XIV был первым абсолютным монархом Европы. Умер он два года назад, и во французском дворе еще витал дух того, кто воплотил в себе с такой уверенностью все государство.

...Неизвестно, почему Петру захотелось в своем французском путешествии заехать в Реймс. Может быть, он хотел посетить Реймский собор, где издавна короновались французские короли. Собственно, этим собором и знаменит маленький городок.

У входа в собор его торжественно встретили священники. Обратили его внимание на великолепную каменную розу между двумя высокими башнями. Полтысячи высеченных фигур

украшали фасад собора. Внутри церкви показали знаменитые гобелены, картины Тициана, Тинторетто, чашу, которую ангел принес с неба для Крещения. Среди ритуальных предметов священники похвалились молитвенной книгой, требником. Считалось, что книга святая, написана таинственными, никому не ведомыми письменами.

Петр, конечно, не утерпел, взял требник, полистал и вдруг стал громко читать текст – страницу за страницей. Служители были потрясены. Петр объяснил, что книга написана по-церковнославянски. Он выяснил, что привезла ее во времена Ярослава Мудрого его дочь Анна, то есть в XI веке. Отец выдал Анну замуж за французского короля. Для отсталой, тогда раздробленной Франции было честью породниться с киевской княжной, Киевская Русь была передовой, культурной страной. Так Реймс обрел вместо таинственного требника истинную достопримечательность.

Из-за стрелецких волнений Петр вынужден был прервать путешествие. Он жалел, что оставляет страну, где наука и художества цветут, но при этом дал уничтожающую характеристику Парижу: „Город сей рано или поздно претерпит вред от излишней роскоши и необузданности, а от вони вымрет".

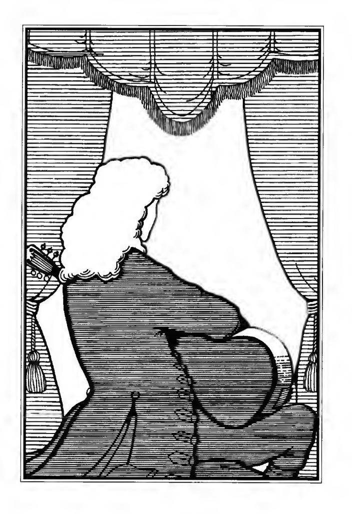
И то и другое было верно подмечено. При Людовике блеск французского двора освещал всю Европу, король награждал ученых из всех стран. Как отметил один французский остроумец – награды эти рождали сотни недовольных и одного неблагодарного. А во дворцах не было туалетов.

– Однако Петр ошибся, Париж не вымер, зато ныне у нас туалеты самые страшные в Европе, – вставил профессор. – Туалеты и кладбища показывают истинную культуру страны.

Профессор был у одного умельца под Псковом. Блоху он подковал запросто. А еще волос просверлил, сделал из него вазу, туда вставил розу из золота. Нужник у него, между прочим, во дворе, дощатая будка, дом без водопровода, с кувшином надо ходить.

– Ума в России много, – сказал Гераскин. – Девать некуда. Все заняты, как обустроить Россию.

Глава тридцать третья



ИЗМЕНА

— Женщины – вот что сближает нас с великими людьми, – говорили мы, слушая историю про Екатерину. Любовные похождения, пылкие романы, обещания, завлекаловки, плотские страсти, измены, охлаждение, тайные свидания, обманутый муж, женские хитрости... Господи, как все это мы понимаем, как это знакомо. Напрасно учитель убеждал нас, что подобный интерес к альковной жизни гениев – интерес низменный, это обывателю приятно знать: ага, мол, и ты, братец, вроде меня, ничуть не лучше, и ты метался, и тебя обставили, сделали...

Дремов упрямо мотал головой.

– Я и есть обыватель, – признался Гераскин. – А вы кто такие? Я обыватель и желаю знать, как оно было, а вы мне суете Ленина с Крупской такими, что меня тошнит и от этого мужика, и от его бабы. Всех наших великих людей вы кастрировали. Что Толстой, что Кутузов – они ж у вас евнухи. Вы, историки, – страшный народ. Против вас человек ничего не может, каким вы его изобразите, таким он и останется на веки веков. Жуков, к примеру, или Суворов, ни выпить им не даете, ни сблядовать.

Молочков смеялся.

– Вы, Евгений Иванович, норовите опустить историю ниже пояса... Допустим, дали вам донжуанский список Пушкина. Что это вам для понимания его поэзии? Двадцать у него было или двести женщин. Какое вам, спрашивается, дело?

– Пушкин без яиц – это, знаете ли, куда хуже, чем Венера без рук...

На помощь Гераскину пришел Антон Осипович, который тоже отводил женщинам большое место в жизни великих

людей. Вспомнили, как впервые появилась для советских людей жена генсека Раиса Горбачева, как англичане все знают про похождения принца Чарлза. А нам Виталий Викентьевич Молочков преподносит примерного семьянина – случайные шалости на ходу и ничего серьезного. А где безумства? Ум не так велик, если он не способен обезуметь.

Поддавался Молочков неохотно. Без воодушевления и красочных подробностей изложил нам ряд коротких увлечений Петра. Настоящих любовниц после Анны Монс у него почти не было. Царская фаворитка пользуется известностью, признанием, с ней считаются, соблюдают куртуазный ритуал. Она влияет, вмешивается в дела. Метрески же, как их называл Петр, сменялись быстро, это не считая тех, кем он овладевал бесцеремонно, на ходу, без особого разбора. Ему недоставало ни воспитания, ни вкуса, чтобы предаваться изыскам любви. Он с удивлением слушал рассказы короля Августа об изощренных сладостях любовных утех. Август Сильный обожал женщин и умел вкушать их прелести. Каждая следующая была для Августа страной, которую он завоевывал. Женщины не могли ему наскучить, женщины были основным его занятием. Говорят, что у него было 365 детей. Противоположностью был Карл XII, тот почти не знал женщин, во всяком случае знать их не хотел. Петр расположился между этими двумя, метресок у него перебывало достаточно, они появлялись и исчезали бесследно, не оставляя ни сожаления, ни счастливых воспоминаний.

Уступая, Молочков преподнес несколько историй, как Петр делил своих любовниц с Алексашкой Меншиковым и другими собутыльниками. Коллективный секс происходил на пирушках, упьются – и уже не разбери-поймешь, кто с кем и как. Когда ж Петр хотел, он мог исполнять роль галантного кавалера, но недолго. Все завершалось грубо, правда без насилия, не полагалось отказывать царю, и будь то принцесса Мекленбургская или дочь купца, а то и жена – они уступали, ложились, задрав свои сарафаны, рубахи, кринолины. Неразборчивость молодости перешла у Петра во вседозволенность деспота.

Оргии, которые описывал Молочков, были тяжелы, похабны. Он наверняка еще преувеличивал: „Вы этого хотели – получайте“. Брезгливое его чувство поднимало у нас тяжелую муть воспоминаний о таких же пьяных вечеринках: нестройные песни в табачном дыму, скользкие женские губы, беспамятные тела случайных любовниц. Разгул, в котором не было ни чувства, ни обретения, скорее хмельной ритуал, с головной болью наутро и физическим отвращением. Зарекались и старались забыть.

... Но тут учитель холодно отделил нас от Петра: его оргии, его мужское скотство – то, да не то, Петр пил, гулял, озоровал, безобразничал, а дела не забывал. Всегда у него в конце загула, в результате его грубых, нечистых потех выплывало дело. Правду говорят – пьяный проспится, дурак никогда. Не кто иной, как Петр ввел русскую женщину в ассамблею, заставил танцевать, потребовал модно одеваться, учиться иностранным языкам и приятным манерам. Вместо теремов предложил салоны, вместо затворничества – балы, визиты, выезды. Принуда длилась недолго, женщины, вкусив запретный плод, поняли его прелесть, через несколько лет освобождение засверкало в России женскими талантами.

Кабацкие закидоны Петра, вольности его секса сосуществуют с его действиями реформатора. Женщина для него предмет удовольствия – и она же участница русской общественной жизни.

В Екатерине он получал и то и другое. Их брак расцветал непредвиденно для самого Петра. Он любит ее, она на любовь его отвечает, ее любовь ответная, и пылкость и радость – ответны. В этом разница, откуда-то отсюда возникла будущая трагедия.

Их брак решил оформить Петр, он повел ее под венец. Через несколько лет решился на шаг неслыханный в русской истории – устроил коронацию, сделал императрицей, посадил на престол. За двадцать лет их связь возвысилась от постельных утех до прочной настоящей любви, пожалуй единственно столь долгой в его жизни. На тридцать шестом году жизни он

впервые занялся обустройством царской семьи, императрица получала государственные права. Прошлые его увлечения, порой бурные, оказались мелкими в сравнении с тем, что он испытывал к Екатерине.

Были еще соображения – ему следовало узаконить детей, которых рожала от него Екатерина, заодно позаботиться о будущем своей подруги. Мысль о наследниках подспудно все сильнее тревожила его.

Готовя торжества коронации, Петр не жалел никаких расходов. Сам вникал во все подробности сценария. Как-никак, теперь, после смерти царевича Алексея, речь шла о родительнице престолонаследника. Петр обсуждает с петербургским ювелиром эскиз короны. Украшенная жемчугом, алмазами, огромным рубином, она весит полтора с лишним килограмма. Петр сам надел ее на голову Екатерине...

С удовольствием учитель принялся за рассказ о торжествах коронации, сперва в Москве, потом в Петербурге, о званом обеде, золотой посуде, о том, как сидели гости: по одну сторону дамы, по другую кавалеры, в центре зала шуты и шутихи; про вина, яства. Его прервал Гераскин:

– Как же так, корону надел, а царство не завещал?

– Не успел, – нетерпеливо объяснил Антон Осипович, который любил слушать подробности насчет царского стола, кушаний и питья.

– Что значит – не успел? Умер-то он не в одночасье, – настаивал Гераскин. – Может, ему помогли? Как она получила корону, так захотела сама царствовать.

– Если не ошибаюсь, у Екатерины как раз перед смертью Петра была какая-то история с ее секретарем, – сказал профессор.

– Монсом! – вспомнил Дремов и вспомнил, что казнили и его.

– Не завещал, а все же она царствовала, Екатерина Великая, – сказал Антон Осипович.

– Екатерина Великая – это Вторая, – поправил профессор. – У Петра была Первая.

– Раз Петр был Великий, то и жене полагалось быть Великой, – Антон Осипович настаивал, он никогда не отступал.

– Екатерина Великая тоже была шлюха, – сказал Гераскин.

– Что значит тоже? – поправил его Антон Осипович. – Петр не стал бы сажать на престол шлюху. Она, значит, исправилась.

– Не бывает, – сказал Гераскин. – Шлюху укротит только старость. А Петра понять можно. Любовь зла...

И тут Гераскин привел наглядный пример из жизни своей автобазы, где начальник, бывший боевой летчик, не мог устоять, назначил диспетчером оторву, которая переспала со всеми механиками, слесарями. Она командовала им как хотела. Или таксер, дружок его, который застал свою жену с любовником в положении бутерброда, ничего, проглотил, потаскухи обладают заговором на своих мужей.

Про Монса учитель подтвердил – казнили. Его спросили с подмигом – говорят, мол, за то, что застал царь этого Монса в неглиже с царицей.

Учитель помрачнел, стал наливаться краской.

Мы понятия не имели, откуда у нас такие сведения. То ли вычитали, то ли слышали, отечественная история накапливается в нас с детства, так же, как семейные предания.

С тихим упреком он сказал:

– Ни один серьезный историк не позволил себе видеть в этом водевиль. Никто. Ни Соловьев Сергей Михайлович, ни Ключевский. Это была трагедия Петра.

– Па-адумаешь, какие мы чистюли, – протянул Антон Осипович. – Про наших вождей не стеснялись, а про царей нельзя. Заботливые больно. Слава богу, у нас не монархия.

– Да поймите же, материалы касательно этих событий были уничтожены. Самим Петром! Какое право мы имеем лезть в его семейные дела, если он не хотел. – Учитель недоуменно оглядел нас. – В конце концов, это непорядочно!

Антон Осипович поднялся, постоял перед ним, глядя на него сверху вниз.

– Ну конечно, где нам, вы вместе с Соловьевыми хозяева. Нам что дадут, то мы и должны жрать.

– Я Соловьева не в том смысле...

– Нет уж, послушайте. Вы вот нам указываете, что нам можно знать, а что нельзя. А вы откуда знаете про это? – Он обернулся к нам. – У меня племяш приходит из школы, рассказывает, им учительница два года назад доказывала, какие герои были народовольцы. Желябов, Софья Перовская и тому подобные, а в этом году она же говорит: убили такого замечательного царя, такие-сякие террористы. Такие они, ваши принципы. Это как, порядочно?

– На учителя вешают все... Я привык. Учитель безответен. Что он может, если есть программа... Но это не значит, что я согласен.

– Бросьте вы, Виталий Викентьевич, интересно же знать, – примирительно сказал Гераскин. – Неужто Петру баба его рога наставила?

Молочков вскочил, взъерошил волосы, забегал.

– Вы бы стали в замочную скважину подсматривать, что в чужой спальне творится? Стали бы?

Рядом с массивным Антоном Осиповичем тщедушная фигурка Молочкова, пылающего негодованием, выглядела петушино-комичной.

Антон Осипович усмехнулся, безнадежно махнул рукой, вернулся в свое кресло. Но Молочков продолжал наскакивать на него.

– Это про вас Пушкин писал! И про вас! – последовал выпад рукой в Гераскина. – Помните, когда он Вяземскому писал?

– Чего-то я не помню, – сказал Гераскин. – Про меня писал?

– Не надо. Он писал о Байроне. Зачем толпа хочет смотреть его на горшке. Чтобы радоваться его слабостям и унижениям. Ага, он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы, говорит Пушкин, он мал и мерзок не так, как вы, – иначе! Это точно.

– Ну вы даете, Виталий Викентьевич, – сказал Гераскин. – Ругаться стали. Чего это вы? Не идет это вам.

– Потому что я не желаю потакать.

– Сплетни ведь тоже материал для историка, – мягко сказал Елизар Дмитриевич.

– Слухи в России всегда были средством массовой информации, – сказал Дремов. – Слухи ни изъять, ни сжечь. Они постоянно сопровождают казенную историю.

Молочков отошел к перилам, смотрел в сад, не отвечал.

Заговорили о слухах, доставшихся нам от прошлого. О том, что Сталин застрелил свою жену, о том, как он организовал убийство Кирова, вспомнили легенду про старца Федора Кузьмича, что, мол, Александр Первый скрылся на Урале под его именем. Слухи про смерть Максима Горького, про заговор против Хрущева... Слухи клубились над тайнами истории, прикрывая их, бывало, что власти сами запускали нужные им слухи.

Молочков отмалчивался.

– Обиделся, – тихо сказал Гераскин.

– Учитель должен обладать терпением, – сказал Антон Осипович.

– К детям! – добавил Дремов.

Профессор подошел к Молочкову, извинился за нашу настойчивость, за низменные интересы, за бесцеремонность, да так, что Молочков покраснел, расчувствовался, попросил прощения за свой несносный характер и тут же стал настаивать, что Петр по-своему был примерный семьянин, такая черта достойна уважения, он обращался к нам с вызовом и вдруг помрачнел, признав, что в этом-то и заключалась уязвимость его героя, тут-то и произошла трагедия.

– Вы хотели про Монса, ладно, я вам расскажу, известно далеко не все, о многом можно лишь догадываться... Вся история обросла грязными сплетнями.

Гераскин подмигнул – как принимает к сердцу! Торопясь, виновато, Молочков принялся рассказывать, как Анна Монс устроила своего брата Виллима при дворе. Родство с фавориткой помогло ему стартовать. Его сразу определили на офицерскую должность. Государь, когда порвал с Анной Монс, гневался больше на ее жениха. Гроза прошла мимо Виллима Монса, он успешно остался служить. Помогло ему то, что был он весел, мил, красив собою, под стать своей знаменитой сестрице. На адъютантской службе, в боях под Лесной и под Полтавой,

показал себя хорошо. Прежняя симпатия Петра к Анне сказалась на успешной карьере Виллима Монса. Появилась при дворе и сестра Анны – Матрена Монс, она обладала способностями типичной придворной дамы: собирала сплетни, передавала сплетни, льстила, угодничала, сумела быстро подняться до самой императрицы Екатерины, войти к ней в доверие. Тем временем Виллим Монс добился расположения одного из любимцев Петра, генерал-прокурора Павла Ягужинского. Жадное, бесцеремонное стяжательство свойственно было всему семейству Монсов. По мере того как они благоустраивались при дворе, жадность росла. После смерти Анны Монс они занялись тяжбой за ее наследство. Виллим и Матрена Монсы действовали слаженно, помогали друг другу продвигаться. Свою карьеру Виллим Монс делал и через романы... Женщины были его опорой и оружием. Только по деловым качествам ему сквозь окружение государя протиснуться было бы трудно – писать он по-русски не умел, да и по-немецки не шибко грамотен был, специальности не имел. Немудрено, что выгоднее ему было устремиться ко двору царицы, к статс-дамам, фрейлинам, туда его определили камер-юнкером. Вскоре поручили управление деревнями, приписанными царице. Дело оказалось прибыльным. Дальше больше, через его руки начали проходить тяжбы, назначения, награды. Камер-юнкеру поручают сопровождать государыню в путешествиях, заботиться об удобствах, гостиницах, он имеет возможность часто обращаться к государыне. Придворная камарилья быстро приметила связи Монса, стали через него подавать прошения, устраивать дела. Крупные суммы отпускаются закупщикам, поставщикам с его ведома. Все учитывают, что рядом с государыней появился молодой, смазливый, охочий до подарков. С ним царица может поболтать на родном языке, он украшение ее свиты. Фрейлины двора за ним ухаживают. Он исполняет чувствительные нежные романсы, сочиняет стихи, галантность отличает его от русских сердцеедов.

К государыне пытаются пробиться со всех сторон. Монс имеет к ней особые ходы, таких нет даже у крупных чиновни-

ков. Ясно, что этот малый может очень и очень многое. Его, безродного выскочку, называют „любезный друг“, ищут его приятельства, зовут в гости. У него работает своя канцелярия. Придворные раньше всех, может раньше самого Виллима Монса, подметили расположение к нему государыни. Расположение затаенное, женское.

Растет поток прошений в его канцелярию. Историки изучили эту почту. Ходатайства шли даже из дальних губерний. Появился влиятельный человек при царице, у которого можно выпросить чин для себя, для детей, получить землю, заем, пенсию. Не задаром, но можно! Мало того, стали Монсу идти письма из Англии, Германии, Швеции, Франции. Официально камер-юнкер не имел никаких прав, почуяли, однако, что с ним считаются высшие чиновники. Что он их ни попросит, они делают, помогают, потому что им самим он человек нужный, нужнейший, через него добраться к государю можно, минуя секретарей, денщиков, всех обычных церберов. У Виллима Монса свой ход есть, никому не доступный. К нему едут делегации с дарами. Он берется за дело, если, конечно, дар соответствует.

Перед входом на дворцовую половину государыни развернулась бойкая торговля. Лошади, коляски, перстни, кто из глубинки, те везли Монсу мед, соленья, холсты, наливки.

Самому себе Монс хлопочет о вотчинах под Пензой, вызнает, где есть села и деревни свободные, и просит отписать их ему. За какие такие заслуги? За службу, доводами себя не утруждает – за верность и честность.

Племянник Монса просит дядюшку выхлопотать у государыни деревни и земли в хлебородных местах. Виллим Монс устроил и племянника при дворе государыни. Матрена Монс назначена гофмейстершей государыни. Она тоже добивается от государыни сел и земель в Дерптском уезде, деревень на Украине, сел в Козельском уезде. Монсы энергично выискивали, где, какие деревни высвободились, чтобы первыми накинуться с просьбами. Отпихивая локтями русских хищников, урывали из-под их носа. Считали, что им, иноземцам, поло-

жено больше других. К ним ластилась и знать, те, чьи внуки, правнуки позже составят славу России. Какие фамилии перед Монсом на задних лапках пританцовывали – Трубецкой, Вяземский, Бестужев-Рюмин! Выпрашивали титул, должность. Письма их Молочков читал со стыдом и печалью. Ничем не брезговали. Пресмыкались, льстили без меры. К концу петровского царствования честолюбие охватило всех. Выдвинуться спешили любой ценой, то ли петровская Табель о рангах толкала, то ли атмосфера двора, где все покупалось и продавалось.

На Монса поднялся спрос, он брал подешевле, чем сановники, не сравнить с Меншиковым. Тем более, что тот попал в немилость, сам обращался к Монсу.

Смазливца камер-юнкера обслуживали кучера, слуги, повара, секретари, курьеры; важнейших дел по горло, надо было готовить предстоящую коронацию Екатерины.

Учитель рассказывал о Монсе как о личном недруге. Снисходительный смешок историка не получался – переживал, что Петр часто отлучался, ездил то по России, то на лечебные воды. Не замечал, что творится при дворе государыни. Дух вожделения, тайных свиданий и откровенного распутства воцарялся среди фрейлин, кавалеров, и красавчик Монс был одним из героев многих романов. Часами занимался своим туалетом. Украшал себя жемчугами, носил туфли с изображением Христа, изощрялся как мог, парик то синий, то фиалковый.

Дальнейшее, предупредил Молочков, основано на свидетельствах больше косвенных, отчасти на его догадках и наблюдениях. Это версия, которую он никому еще не высказывал.

Бело-розовый, сладкоголосый Монс имел внешность херувима. Пухлые губы, тугие щечки, голубые глазки, аппетитно-сдобный батончик, душка, общение с ним возбуждало Екатерину. Она вступала в ту сладострастную сорокалетнюю пору, когда сексуальная активность женщины растет. Женщина существо и боязливое и бесстрашное, она не способна рассчитывать наперед, но способна обмануть любое присматривающее за ней око.

Екатерина была хитра той женской хитростью, которая поманила Монса и вовлекла его в эту опасную игру.

– Поверьте мне, чувственная игра требует выхода. Страсть разгорается, страхи уже не останавливают.

Вдруг, совершенно новым голосом, взволнованно, Молочков начал как бы другой рассказ, уже не про Петра.

– Представьте себе, муж в возрасте за пятьдесят. На него сваливаются недуги, болезни, которые лишают его прежней потенции. Жена здорова, крепка, моложе его лет на пятнадцать, может больше. Она его чтит, переживает его болезнь. Но женщина она пылкая, с годами темперамент ее растет. Его же любовь переходит в заботливую нежность, в радость семейного уюта. Появляется, как всегда в таких историях, третий. Он должен был появиться. В данном случае это оказался его ученик, милейший парень. Услужлив, но в науке не тянет, очень уж примитивен. Муж позволяет ему пользоваться своей библиотекой. Ему в голову не приходило, что между его женой и этим парнем может что-то произойти. Он уверен в своем превосходстве над этим юнцом, который много моложе жены. К тому же застенчив. Они с женой забавлялись его провинциальностью и глупыми суждениями о музыке. Как-то лекция сорвалась, и муж вернулся раньше времени. С подарком. Электросамовар, о котором мечтала его любушка. Чтобы сюрприз сделать, тихонько прошел на кухню, вытащил из коробки самовар, поставил на стол и слышит в соседней комнате стоны, возню. Знакомые стоны! Он обомлел. Ситуация старых анекдотов. Рванулся было туда, но сердчишко зажало так, что двинуться нельзя. Опустился на стул, сидит весь в поту, слушает, что там происходит. Бормотание, шлепки, смех. Все узнаваемо. Узнает голос ученика. Снова скрип, стоны. Утехи продолжаются. Она кричит, в голосе ее восторг, памятный ему с первых лет их брака. Буря грохочет за стеной. Он двинуться не может. Сердце не выдержит. Уйти и то сил нет. Он слушает их безумства и проклинает свою слабость. Кое-как, держась за стенки, спустился вниз, в садик, отсиделся, наглотался пилюль, под вечер вернулся домой. Она кинулась ему на шею, благода-

ря за подарок. Накрыла на стол, включила самовар, не могла налюбоваться расписным новеньким украшением стола. Ни капельки смущения, сколько ни всматривался. Нигде признака лжи. Вот что изумительно, всюду натыкался на любовь. Тараторила, и в словах не было фальши. Это было самое страшное. Потому что если бы ложь, то ложь обращена ко мне, значит, я ей нужен, она ложью старается удержать меня. А так выходило, что я не присутствую, эта любовь – любовь к жизни, где есть и я, и то, что было перед этим.

Допустим, я бы обличил ее. Что дальше? Надо расходиться. Так ведь не смогу. Знаю, что не смогу. Презираю себя заранее. Но и она не хочет, раз вида не подает. То есть не хочет расстаться со мною. Под каким-то предлогом отказал ученику от дома. Ах да, показал ему его бездарность, к тому же при всех, так что его на работу у нас не взяли. Мне надо было отомстить. Иначе я бы себя презирал. Он ведь воспользовался моим доверием и своей молодостью, это совсем непорядочно.

Оба они, и он и она, казались мне чистыми. Оба любили меня и так легко обманули. Я не мог его простить. Потому что всякий раз боюсь, что она сравнивает, и еще больше ощущаю свою немощь. Вот в чем мука. Развестись? Не в силах. Я вспоминал о Петре. Открылось то, чего я раньше не понимал в его поведении. И разница, и как я жалок в сравнении с ним. Многое открылось. Анонимному письму он не поверил, занялся корреспонденцией Монса, выяснил, что Монс хозяйничает деньгами императрицы, устраивает просителям займы из ее средств. К Монсу обращались как к заступнику перед руководителями страны, такими, как Брюс, Нарышкин. „Единый на свете милостивец“ – каково это было читать Петру? Всем, значит, известна близость Монса к императрице, знают, что ему отказа нет. Судя по письмам, началось это еще до коронации Екатерины. Когда на коленях, вся в слезах от умиления целовала руку Петра, она уже спала с этим душистым проходимцем. Когда Феофан Прокопович на коронации возносил ее любовь и верность – „О честный сосуд, о добродетель!“, Монс

тут же преданно прислуживал, и Петр от полноты счастья определил его в камергеры – за верность и прилежание.

Кому же она предпочла великого императора – ничтожному хлыщу, мелкому вымогателю, пустоплету, у которого нет никаких заслуг перед Россией. Для Петра это была и государственная измена.

Никто не знал про его сокровенные мужские терзания. Чем меньше он мог, тем больше любил. Называл себя в письмах Екатерине стариком, ждал возражений, она, чуткая на эти дела, действительно возражала, но на самом деле ее темперамент страдал, любовный аппетит не давал покоя.

Наступил день икс. Упорный анонимщик указал место и час тайной встречи на островке в Летнем саду. На том самом островке, в беседке, куда прежде он возил поблядушек, куда в последнее время удалялся поразмыслить в одиночестве над делами.

Приплыл тихо, на лодке, разгоняя уток и лебедей. Знал, что анонимщик следит откуда-то издали, но удержаться не мог, давно чувствовал запашок прелюбодеяния.

Подошел к стене, застекленной витражом. Сквозь цветные стекла их голые фигуры двигались, становясь то мертвенно-синими, то зелеными.

Смотрел недолго и бесшумно удалился. Судя по всему, они ничего не заметили.

Его бурная яростная жизнь нанесла ему немало измен. Когда-то его оглушила измена Мазепы, не раз ему изменял король Август. Его обманывали, он обманывался, душа его была иссечена шрамами. Нынешняя измена нанесла самый страшный удар, в самое чувствительное место.

Алексей, маленький Петр Петрович, Меншиков – крепости рушились одна за другой. Катерина оставалась последним убежищем, и оно рухнуло.

Необузданный, доходящий до припадка, откуда он взял воли сдержаться?

Расправиться с Монсом как с любовником супруги было бы просто и по-мужски, но не по-царски. Выставить Екатери-

ну на позор – значит опозорить царствующий дом, имеет ли он право?

О том, что произошло на острове, никто толком не знал. Слышали про анонимку, гадали, кто автор. Все выяснилось позже. Царь вел себя непроницаемо. Сочли, что ничего такого не было. Впрочем, было одно – последовал указ вести розыск среди слуг и помощников Монса. Розыск вели тайно. Ведомство Ушакова и Толстого соблюдало тайну хорошо. Слухи наружу не выходили. Так что внешне все оставалось по-прежнему. В застенках же сразу пошли признания о мздоимстве Монса, и не только об этом. Но царь направлял следствие в сторону взяток, незаконных поборов, как говорится, злоупотребление служебным положением.

Материалов хватало. И не хватало. Свести действия Монса к обыкновенным поборам Петр не мог.

С кем посоветуешься? Не с Меншиковым же, они давно заодно, наверняка он ведал о ее шашнях с этим крысенышем.

Была одна женщина, так ведь молода советы давать в таких государственных передрягах.

Не мог он выставить на позор мать своих дочерей, принцесс российских.

В тот вечер у государыни собралось большое общество. Петр приехал к ужину. Спросил шутливо, по какому поводу пир, может, кого-то надо поздравлять. Приветствовал всех милостиво, Монсу улыбнулся в ответ на его искательный взгляд. Монс знал, что помощников его допрашивают, может, пытают, но государь ничем не выделил его, с государыней был любезен, как обычно. Она шутила, улыбалась всем, Монсу же улыбкой особой, твердой, подбадривая, нельзя было, чтобы со страху выдал себя. Обойдется. Уверена была в себе.

Позже вспоминали, удивлялись – никто ничего не заметил, ни одного жеста, взгляда грозного, ни одного признака беды, как ни в чем не бывало слушал Петр и Монса, и его сестру Матрену, и прочих, ел с аппетитом, выпивал.

Боль была спрятана надежно, нельзя никому показывать, как мы страдаем, нельзя, чтобы учуяли запах слабости.

Посреди рассказа у Молочкова вырвалось:

– Как я понимаю его!

Простодушное это признание нарушило рассказ. Да, в страданиях нет ни великих, ни малых, и, очевидно, собственное несчастье открыло Молочкову то, что происходило с Петром триста лет назад. Будь хоть тысяча лет, какая разница, боль от обмана, измены всегда была та же.

История самого Молочкова, как мы узнали позже, закончилась тем, что он все же нашел в себе силы развестись.

Поужинав, государыня попросила Монса спеть. Все перешли в гостиную, Монс приготовился, но тут Петр спросил, который час. Полночь? И приказал всем отправляться спать. В голосе его появился металл, никто не посмел возражать, тихо разошлись.

Пришел день, и подошел час, как говорится в Библии: есть время сажать и есть время вырывать посаженное.

Той же ночью к Монсу явился начальник Тайной канцелярии Ушаков – корявый, темнолицый, внушающий ужас. Арестовал Монса, повез к себе на квартиру. Заметьте, не в канцелярию! Там ждал их царь. Это был уже совсем другой человек. Монс увидел ненависть и презрение такой силы, что сник – не мог защищаться. С этой минуты дело Монса завертелось с небывалой быстротой.

Пушкин говорил, что гений может быть мерзок и мал, да только иначе, чем мы с вами. Петр никому ничего не объяснял, действовал без жалости, но как бы соразмерно, и действительно иначе.

Монса доследовали по-скорому. Царь лично пересмотрел бумаги, взятые у подсудимого, его любовные записки, стихи. Отобрал то, что надо было уничтожить. Допрашивал лично. Опросные листы заполнялись, лишь когда перешли к взяткам, подаркам. Не поборы, не хапомания интересовали государя. Другая истина, тоже без жалости, предстала перед ним неопровержимо. Зачем-то сидел на последних допросах, в дальнем темном углу, молча слушал, как всплывали фамилии сановни-

ков, вплоть до царевны Прасковьи, вдовы брата его, Ивана, которая подарила Монсу деревню, чтобы „был добр". Монс не запирался. Понял, что участь его решена не взятками. Списки его поборов нужны были для публикации, как официальный повод. Взятки вспоминал покорно, в пытках не было нужды. Суммы, набранные им, не шли в сравнение с грабительскими сделками крупных чиновников, еще не достиг. Дворцовые круги полагали, что дело обойдется разжалованием, по крайности – кнутом. Царица заверяла сестру Монса, что все уладится без последствий. Значит, и она не знала о том, что проведал Петр.

Монс не мог устоять перед гневом царя, когда над ним дергалось искривленное лицо Петра, выпученные пылающие глаза, он падал в обморок. Слабел, голос пропадал, шепотом признавался во всем.

Спустя неделю после ареста суд приговорил Монса к смертной казни. Афишки по городу развесили: „Завтра будет в час пополудни экзекуция на Троицкой площади бывшего камергера Монса".

Судили при Петре быстро и редко когда ошибались.

В час пополудни 16 ноября Монса вывели из крепости, он поднялся на эшафот, палач отрубил ему голову и насадил на шест, который стоял на том же месте, где казнили князя Гагарина.

Запахло дымом от кухни, ночные мотыльки кружили в молочном свете фонарей. То холод, то тепло, хранимое листвой, обдавали нас.

– Вы его ненавидите, – сказал Дремов.

– Кого?

– Монса.

– Петр говорил, что неблагодарные люди безобразят человечество.

Потом учитель сказал:

– Петр слишком часто сталкивался с неблагодарностью. Это бывает с людьми, которые много делают для других, а в ответ получают подлости как насмешку.

– Что-нибудь он сказал перед смертью, этот Монс?

– Кажется, попросил палача не тянуть. Свидетельствуют, что держался твердо. Простился с пастором, вынул часы с портретом Екатерины. Поцеловал портрет и отдал пастору.

Нам казалось, что Монс должен был кричать, биться в руках солдат... Если перед смертью человек раскрывается... Может, он по-настоящему любил Екатерину, влюбился в нее со всем пылом молодости, могло такое быть?

Молочков пожал плечами: конечно, Екатерина способна была приворожить к себе, умелая в любви, женщина в полном соку, она могла вскружить голову даже этому расчетливому прохвосту. Такой поворот чувств Молочков прежде не принимал во внимание, в голову не приходило, в Монсе он видел своего личного врага, напомаженного ласкателя, втирушу.

– Это объясняет кое-что, – пробормотал он.

Спустя какое-то время он сказал:

– Историк должен быть и психологом. Если Монс жертва своей любви, это многое меняет. Не мог же царь вызвать его на дуэль, выслать? Екатерина вернула бы его, когда осталась вдовой. Будь я царь, я бы тоже казнил его. Не просто голову долой, а колесовал бы.

Серега смотрел на него, улыбаясь глазами.

– Это вам кажется.

– Наверное. Для этого надо иметь характер Петра... Вы знаете, ведь он явился ко мне просить рекомендательное письмо на работу. Наглость какая.

– Что вы ему сказали?

– А что я мог. Дал. Он подумал бы, что я мщу ему по личным мотивам. Я его как бы простил, от этого я себя стыжусь и его еще больше ненавижу... Извините за то, что навязываю вам свою исповедь. Ладно, вернемся к Монсу. Вы считаете, что его твердость от любви?

– Он знал, что шел на смерть за свою любовь. Гибель из-за дамы сердца.

– Он был романтичен, – сказал Молочков, – романтика могла придать ему силы.

– А что если он действительно был жертва любви?

– Не хочется, – сказал Молочков. – Не хочется видеть Монса другим, гармония нарушается.

– Какая гармония?

– Я про Петра... Все равно он прав.

Не знаю, как отозвалась толпа на казнь Монса, но у нас казнь его вызвала одобрение. Рассуждали, что в России при повальном казнокрадстве ничем другим не испугаешь. Если бы Петр не казнил, еще больше воровали бы. При Екатерине Второй наказание смягчили, и лихоимство возросло. При Сталине сократилось. Этот спуску не давал.

Тема эта волновала всех.

Антон Осипович читал, что какой-то персидский царь казнил смертью судью, которого уличили во взятках, приказал содрать с него кожу и покрыть ею судейское кресло. Подействовало. Учитель рассказал, как при Петре один губернатор посадил на цепь судью-взяточника, поместил его в клетке, клетку же поставил в присутствии.

Рассказы эти встречались с удовлетворением. Нашим душам не хватало возмездия. Слишком много скопилось безнаказанного. В конце XX века русское общество страдало от этого сильнее чем когда-либо.

Вернулись к Монсу. Вторично обсудили измену Екатерины. Учитель рассказал новые подробности, он как бы поворачивал объектив, события приближались, позволяя различить детали, происходящее разрасталось, история показывала свою неисчерпаемость.

...После казни, через два дня, Петр повез супругу мимо эшафота. Тело Монса запрещено было погребать, оно лежало у плахи, голова торчала на шесте. Посыпанная снегом, она казалась седой. Монс смотрел на них. Петр смотрел на Екатерину. Она оставалась спокойной. Зрелище не вызвало у нее ни ужаса, ни слез. В этом она была достойной подругой Петра. Вечером Петр пил пиво с приезжими купцами, слушал их рассказы, Екатерина во дворце разучивала с дочерьми менуэты. Они

оба изображали картину семейного мира. Умение скрывать чувства – наука монархов. Жена Цезаря выше подозрений, а уж сам – тем более.

Здоровье его между тем угасало. Казнь Монса, необходимость разрубить сети дворцовой камарильи потребовали много сил. Он не привык беречь себя, не умел, хотя и врачи, и он сам понимал, что нельзя вылечиться, если считать себя здоровым. В эти дни, как говорит легенда, он на яхте возвращался с осмотра солеварен, решил заглянуть на Сестрорецкий ружейный завод. Был вечер. На заливе разыгралась буря. Яхта пристала к берегу. С моря послышались крики. Тонул бот, перегруженный матросами и солдатами. Петр послал на помощь шлюпку со своими людьми. Они не могли стащить бот с мели. Говорили, что Петр не вытерпел и сам отправился на шлюпке спасать людей. Из-за мели шлюп не мог подойти к судну, Петр выскочил и по пояс в воде помогал стаскивать бот с мели. Спасены были двадцать человек. Это происшествие сильно ухудшило здоровье государя. Знал, как нельзя ему в ледяную ноябрьскую воду, ничего не мог поделать с собой. Как жил, не щадя себя, так и заканчивал. Возможно, это всего лишь легенда.

– Про это нам учительница преподавала, – сказал Гераскин. – В порядке воспитания.

– Хрестоматийная история, – подтвердил профессор.

И опять разговор свернул на Монса. Все же, как выразился Антон Осипович, Монс был ее кадр, должна была Екатерина понимать, что просьбы Монса не бескорыстны, что хлопочет не задаром. Что она в нем нашла?.. Женщина увлекается личностью часто ничтожной, прельщенная хорошими манерами или уменьем одеваться... Женщина охотно надувает того мужчину, который любит ее искренно и безгранично... Эта баба доконала Петра...

Кто-то процитировал поэта:

Глупец, кто в женщине одной
мечтал найти свой рай земной!

Когда мы отвели душу, у Дремова появились вопросы: умирал ли Петр в любви, то есть любя Екатерину, простил ли ей, или же ненавидя? Как это было?

Он ничего не ответил Дремову, проговорил лишь, что в последнее время в жизни Петра появилась другая женщина, Мария Кантемир, это было не случайно.

Болезнь давно донимала Петра, пуще болезни донимали его проволочки в делах, сопротивление. Вот где все его чувства сосредоточились. Будучи в Олонце на минеральных водах, он признался врачу: „Лечу свое тело водами, подданных – примером. И то и другое исцеление идет медленно. Все решит время, на Бога моя надежда".

Время его жизни утекало, болезнь затягивала петлю, а время его дел тянется и тянется. Несоответствие мучило. Время жизни не остановишь, он мог лишь подгонять свои дела. Он принимал решения одно за другим, не откладывая на завтра, понимал, что сегодняшнее время дороже завтрашнего. Жизнь заканчивалась. Быстрокрылые годы куда-то умчались. На сделанное он не оглядывался, оно пристроилось, но не утешало, потому что задуманного было больше. Кому оно останется – все то, что лелеял, вынашивал? Может, бесприютное, так и сгинет. Мысли эти досаждали хуже болей в животе.

Ему тяжелая смерть выпала. Не на скаку, не в седле, не в бою. Когда подумаешь о его муках физических, несколько дней криком кричал. Утихнет боль, подступали муки душевные. Знал, что умирает. Смерть стояла над ним и медлила, заставляла молиться. Каялся за Алексея? Как все сошлось, одно к одному. Кому теперь передать престол, на кого положиться?

Екатерина не отходила от постели мужа, но он ничего ей не говорил, не ею были заняты его мысли. Скорее всего, тем Всевышним судом, перед которым он вот-вот предстанет. И Россией – делом его жизни, неоконченным, незавершенным, оборванным в самом разгаре.

Голос Молочкова прервался. Он замолчал, и мы молчали. Видение смерти завораживает, тем более, что каждого из нас

она недавно коснулась ледяной рукой, напомнила, что ждет, всеобщая наша владычица. Умирать придется, да только думать об этом неохота, если б можно было выбирать...

И тут Дремов и прочел вслух:

Легкой жизни я просил у Бога,
Посмотри, как тягостно кругом.
Бог ответил: подожди немного,
Ты меня попросишь о другом.

– А дальше? – спросил Гераскин.

Сергей посерьезнел, лицо его опустело, глаза смотрели туда, где не было ни нас, ни этого вечера.

Вот и дожил, не длинна дорога,
Тяжелее груз, и тоньше нить.
Легкой жизни ты просил у Бога,
Легкой смерти надо бы просить.

Все призадумались. Елизар Дмитриевич повторил последние строчки.

– Сам сочинил?

– Нет, это не мои.

– Чьи?

– Неизвестного автора.

– Да, легкой смерти Петру не даровано было, – сказал учитель.

На пятый день, в минуту облегчения, Петр промолвил: „Из меня познайте, какое бедное создание есть человек". Петра, видимо, и мучило и удивляло, куда низвергла его болезнь. Он, великий государь, помазанный на царство, превратился в жалкое существо, раздавленное болью, орущее, беспомощное, уже никому не страшное, всем в тягость.

Крики его проникали во все покои дворца, доносились на улицу. Смерть не могла одолеть могучее тело, оно не отпускало душу вопреки желанию Петра, который уже исповедался, причастился.

Он кричал и хрипел и вновь прорывался истошным воем. В минуту просветления попытался что-то написать, говорить-то уже не мог. Нацарапал слабеющей рукой „отдайте все...“

Остальное, сколько ни пытались, не разобрать. Не хватило последней клеточки жизни, тратил поначалу без счета и на гульбу, и на пьянку, сжигал в яростных припадках, а тут в тоске, ужасе за царствие свое, рванулся, что-то вспыхнуло и погасло, так и не успев осветить его предсмертную волю – кому отдать престол.

Это был миг, когда кончилась эпоха, величайшая в истории государства. Предсмертный хрип оборвался. Наступила тишина. Петровское время остановилось. Все, кто находились во дворце, замерли. Через несколько минут страсти нового царствия нахлынут, растащат их в разные стороны, но сейчас они оставались еще его сподвижниками, душа его еще витала над ними, острое чувство страха и потери пронзило даже тех, кому смерть его сулила выгоду.

Мы слушали учителя и думали о таинстве смерти.

Думать о смерти нелегко, на это надо отдельное мужество. Думал ли Петр о смерти, готовился ли? Вряд ли. Готовиться – значит привести в порядок свои дела, попрощаться с близкими, поправить то, что еще можно успеть.

Молочков однажды прочел у Марка Аврелия: „Еще немного, и ты исчезнешь, так же, как всё, что ты видишь, и все, кого ты знаешь“. Но в этом нет утешения.

Всё, что ты видишь, и все, кого видишь, – останутся, в этом и печаль, и счастье. Осознать свою смерть – значит увидеть и мир, и свою жизнь по-другому.

По мнению Сереги Дремова, великие не могут представить мир без своей персоны, они не желают думать о смерти, Петр тоже из их числа, боялся думать о ней, храбрый был человек, а поглядеть ей в глаза боялся. Они все уверены, что умирают слишком рано. Показывать пример жизни они умеют, быть великим в смерти, как Сократ, – это редкость.

– У нас вообще нет культуры завещаний, – вдруг встрепенулся профессор. – К смерти относимся некультурно. Ну лад-

но, допустим, многим из нас завещать нечего, никакого имущества нет, но все равно хоть какие-то предметы свои на память родным и знакомым... – он безнадежно махнул рукой. – Я сам тоже никак не соберусь. Но уж Петру непростительно, Россию бросил на кого попало.

– Смерть всегда является не вовремя, без спросу... – сказал Дремов. – Правда, большинство рассказов о римских императорах заканчивается словами: „При этом известии Рим и Италия вздохнули с облегчением“.

Глава тридцать четвертая



ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ

Впервые Молочков читал нам по тетрадке. Сперва стеснительно покашливая, потом увлекся, в голосе появилось чувство, он помахивал самому себе рукой, порой радуясь хорошей фразе, иногда морщась. Было ясно, что писал он сам, видно, давно, и теперь он переживал за свой текст.

Россия отмечала окончание войны со шведами. Отмечали Ништадтский мир пышно, буйно. Празднества в Петербурге, празднества в Москве. Пили, веселились. Петр придумывал потешные шествия. Разъезжали большой компанией по знатным домам, цугом пожаловали во двор к господарю Кантемиру. Пока княгиня Анастасия и князь Дмитрий распоряжались насчет стола, Петра развлекала княжна Мария. В прежние наезды он ее отметил, сам не зная почему. Чернявая, худенькая, она совершенно терялась в ослепительной красе своей молодой мачехи Анастасии, урожденной Трубецкой. Пышная, белокожая, голубоглазая, Анастасия играла глазами, задиком, всякая часть ее молодого тела показывала себя. Семнадцатилетняя Мария выглядела несмело – слишком тоненькая, хрупкая, на балах танцевала хорошо, но успехом не пользовалась. Разговор зашел о предстоящей свадьбе князя-папы с вдовою Зотовой. Свадьба была шутовская. Петр велел, чтобы все явились в маскарадных костюмах. Себе придумать еще не мог – то ли монахом, то ли римским воином. Мария подняла глаза, прикинула, как бы издали, порекомендовала матросское одеяние, только из черного бархата. Это почему? – удивился он, но тут же смекнул: и в самом деле – таинственно и властно. Самое необычное – это когда обычное чуть по-другому смотрится. Примерно так пояснила княжна и что-то добавила по-итальянски.

Он сразу узнал язык, который ему нравился больше других. Он любил чужие языки. Знал по-голландски, по-латыни, по-немецки, немного из французского, особенно что касалось корабельной оснастки и морского дела. Но итальянский... Однажды в Лондоне он слышал на улице итальянского певца. Петр попытался вспомнить, напеть, он был уже выпивши, а выпивши, заводил всех на песни. И тут вдруг эта пигалица подхватила, вернее, она вытащила из него на свет божий ту уличную итальянскую песенку. Маленький голосок ее был как раз для этих покоев с низким потолком, узкими оконцами. Пела бесстрашно, весело, а на клавесине играть отказалась, пообещала в следующий раз.

Хозяева пригласили к столу. Блюдо подавали за блюдом, в очередь – молдавские, румынские, турецкие. Петр пил за сыновей Кантемира, всех троих – бравых, хорошо грамотных, особо ему люб был младший, Антиох, лет тринадцать, глаза смышленые, все подмечающие.

Повеселились, отправились дальше, прихватив хозяина с хозяйкой. Дети вышли на крыльцо провожать подводы, запряженные дрессированными медведями, собаками. Петр приказал всем надеть дурацкие колпаки, носы красные прилепить, и тронулись по улицам со звоном колокольчиков. На прощание царь помахал всем рукой, ничем не выделив княжну.

На потешном маскараде справили свадьбу Бутурлина со старухой Зотовой. Кантемиры приехали, согласно приказу, со старшими сыновьями и княжной. Она была в зеленой маске, поверх платья накинут дырявый зеленый плащ, веточка в берете, и сама, как зеленая веточка. „По твоему совету, княжна!“ – представился Петр. Матросский костюм из черного шелка молодил его, за ним шел светлейший князь Меншиков, в таком же костюме, с барабаном, отбивал дробь.

Свадебная процессия подхватила их, увлекла за собою, возглавляли ее наряженные чертями с алыми хвостами толстяки, первый из них – министр Шафиров.

Спустились на берег, там ждали шлюпки, украшенные хвоей, и плот для новобрачных из винных бочек.

Увеселения длились несколько дней. Петр пил, гулял, куролесил от души, отстаивал неутомимо на богослужениях, посвященных успешному окончанию Северной войны. Принимал военные парады. Народ поили бесплатно пивом и водкой. Петр пил на Троицкой площади вместе со всеми, не пьянел, только пуще шутил, плясал на столах посреди жареных гусей и пирогов. Столица гуляла, позабыв все военные горести двадцати ратных лет.

Разгул достиг своего предела. На балу, в здании Сената, специальный представитель царя в маске строго следил, чтобы пили, не пропуская, чтобы все были пьяны. Обнимались, танцевали, обмахивались снятыми париками. Под присмотром государыни поили и женщин. Посреди пира Петр вдруг спросил князя Кантемира, где его супруга и дочь, почему не видно. Князь сослался на то, что обе болеют. Назавтра же царь послал проверить – Ягужинского, своего денщика Татищева и личного врача Блументроста. Не поймешь, то ли помочь хотел больным, то ли вызнать причину отсутствия.

Княжна с Блументростом объяснялась по-латыни, чем пленила врача, и он подтвердил простуду и домашний режим, дабы не заразила гостей. Однако внимание царя было замечено.

На святках празднества продолжены были в Москве, опять с маскарадами, балами, гуляниями по городу. Царский двор в полном составе прибыл в бывшую столицу. Князь собрался ехать один, но велено было взять жену и дочь.

В Москве выпал снег, ударил мороз. Царь затеял катание по улицам на санях, сани сооружены были кораблями, и они под команды Апраксина и самого Петра выделывали всякие маневры. Князю Кантемиру приказано было поставить на полозья турецкую многовесельную лодку-каюк, снабдить ее малиновым парусом. На лодке сидели княгиня с княжной, окруженные свитой, а на носу, в кресле, нацепив черную бороду, сам Дмитрий Кантемир, одетый в турецкий халат, с чалмой на голове.

В последний день маскарада варили брагу, медовуху, пили венгерские вина. Женщины собрались в отдельном от мужчин

зале. Московские дамы решили напоить петербургских и посмеяться над ними. Однако Екатерина приставила к пьющим смотрительницу, она следила, чтобы все пили одинаково, не увиливали. Женщины веселились крикливо, разгулялись. К ним явился Петр в сопровождении Толстого. Оба в масках. Петра на маскарадах узнавали сразу по росту, по голосу, по властным его манерам. Обращались согласно правилам, как со всеми – „Маска". Петр обошел стол, чокался, отпускал любезности. С масками кокетничали напропалую. Ему тоже интересно было отгадывать, кто под маской. Княжну Кантемир он узнал – стройная худышка с тонкой талией, груди выставлены, как кулачки, она к тому же была в костюме юнги – матросская куртка, берет. Глаза в прорезях маски обрадованно блеснули. Петр что-то сказал Толстому, и тот по-итальянски обратился к княжне. Они заговорили на этом чужом языке к обиде окружающих. Петр слушал с удовольствием. Проверял ли он Марию или Толстого, может, обоих. Под конец обнял Марию, что-то сказал ей на ухо, так что шея у нее покраснела. Женщины бесцеремонно допытывались, что сказал, она уверяла, что всего лишь комплимент.

Петр Андреевич Толстой считался другом семьи Кантемиров. Он предупредил князя Дмитрия, что царю, судя по всему, приглянулась „ягодка". Кто-кто, а Мария, мол, имеет право на царскую любовь.

В Петербурге царь участил визиты в дом Кантемиров, ужинал у них то с Апраксиным и Меншиковым, то с французским посланником. Деловых поводов находилось много. Справлялся о княжне. Отец приглашал ее присутствовать за столом. Это нравилось Петру. Однажды, обнаружив познания княжны в греческой мифологии, попросил рассказать про сочинения Геродота и про Афину Палладу. Князь старался оставлять их вдвоем.

В другом доме Петр не искал бы повода. Кантемиров же дом был особый. Да и Мария держалась пугливо. Дмитрий Кантемир, господарь Молдавии, открыто принял сторону России, когда Петр объявил войну Турции. Потомок византий-

ских императоров, все военные годы он хранил верность Петру. Его ценили как знатока Турции и турецкой политики, Петр сделал его сенатором. Автор „Истории Османского государства", Дмитрий Кантемир был серьезным ученым, писателем, сумел дать блестящее образование своим детям. Что мешало ему, так это тщеславие. Он считал, что заслуживает большего, чем быть советником царя. Проверив интерес царя к Марии, он решил во что бы то ни стало использовать счастливый шанс. Союзником привлек Петра Толстого, человека близкого, хорошо изучившего придворные нравы.

Из своих детей Кантемир более всего ценил младшего сына Антиоха, прочил ему блестящее будущее, но до этого будущего было далеко. Марию же после смерти своей первой жены и старшей дочери приблизил к себе, теперь на нее одну легла забота о братьях, на молодую мачеху надежды не было. Поначалу Кантемир удивился, что царь обратил внимание на Марию. Для Толстого же ничего удивительно в этом не было. Среди придворных дам она отличалась образованностью и европейским воспитанием, был в ней еще свежий, молодой невинный ум, никак не порченный придворными интригами. Толстой предупреждал князя, что, если Петр захочет, он, конечно, девушку употребит не задумываясь. Звание и положение Дмитрия Кантемира его не остановит. Кантемир не верил. До сих пор царь чтил его, выказывал ему достаточно уважения. Но что, если у Петра серьезные намерения? Или же дочь окажется очередной царской прихотью?

На это Петр Андреевич хитро щурился – как повернется, да еще какова она окажется в постели. Не стеснялся, грубость коробила князя, русский двор не умел блюсти этикет. Внимание государя лестно, да отдавать дочь единственную для забавы не годится. Другой бы обрадовался, сказал Толстой, многие ищут, как бы привлечь внимание царя, готовы и жену, и дочь подложить. Но Дмитрий Кантемир горделиво напомнил, что, слава богу, его род подревнее Романовых и окольничих Толстых. В тот раз они чуть не разругались, несмотря на дружбу с турецких времен, когда оба жили в Константинополе. Кан-

темир многое мог бы предъявить Петру Андреевичу, да всерьез ссориться было невыгодно. В конце концов, Толстой единственный при дворе приятель, с ним можно посоветоваться, к тому же и человек он европейский.

Петр Андреевич напомнил, что княжну Марию с детства любил, на руках носил, при нем выросла, ему ее интерес дорог, но ведь сердцу не прикажешь, сам видел, как она радуется государеву вниманию. И момент ныне особенный. Известно, что у царя сейчас не то отношение к царице, что было. После смерти Алексея Петровича все права наследника перешли к маленькому Петру Петровичу, сыну Екатерины. Но Господь прибрал его к себе. Умер сынок, надежда государя. Словно рок какой. А государыня все мертвых выкидывает. Толстой крестился, вздыхал тяжело, собирал сердечком тонкие, бледные губы, куда он гнул, князь не мог понять. Допытывался осторожно. Петр Андреевич еще осторожнее пояснял, что государя томит отсутствие наследника по мужской линии. Допустим, какая знатная девица понесла бы от царя и разрешилась мальчиком, то могло бы от этого произойти непредвиденное. И хотя рассуждал он без имен, отвлеченными проектами, однако сумел растревожить князя. Много разных „если бы да кабы" имелось в том проекте. Кабы не кабы, и мы были бы цари. Вся шутка в том, что Петр Андреевич не настаивал, князь пробовал прижать – Толстой стал пятиться. Государыня свои интересы запросто не уступит, а государыню кто поддерживает, тоже люди не маленькие. Отступал, а потом опять в сомнение возвращался – шанс-то какой, упустить жаль. Государя если затянет, он ни перед чем не постоит, упечет в монастырь, как упек Евдокию, никто не пикнет, многие рады будут оставить Меншикова без заступницы... Так они ходили вокруг да около, воображение князя все больше распалялось, он старался вызнать у Толстого, что могло бы быть, какие препятствия возможны, какие ходы предпримет государыня. Говорили осторожно, вместо слова государыня употребляли латынь – mater. Петр Толстой не преминул процитировать Горация: “Matre pulchra filia pulchrior”, что значило – дочь более прекрасная, чем прекрасная мать.

Петр Андреевич мог поспособствовать в смысле свиданий. На метресок своего царственного супруга Екатерина смотрит сквозь пальцы, ежели, конечно, они не посягают.

Никаких обещаний Толстой не давал, да князь Кантемир и не требовал, слишком деликатное было дело, обговорили кое-какие подступы, опять же осторожно, чтобы не походило на заговор, – не более, чем сочувствие амурной страсти государя, без всяких дальних планов.

Под предлогом переводов с итальянского Толстой приезжал к княжне и как бы между прочим намекал на интерес государя к ней, к ее учености, а еще больше к ее девичьей прелести. Мария слушала жадно. По словам Толстого выходило, что к Петру женщины стремились либо ради корысти, либо из тщеславия. Никто из них не мог оценить его личность, слишком малы умом были все эти метрески.

Петр Андреевич Толстой слыл хитрецом. И внешность у него была хитрющая: губы тонкие с изгибцем, со смешком летучим, по какому поводу смешок – неизвестно, видно, себе на уме, верткие глаза на собеседника не смотрят, все по краям бегают. Внешность эта мешала ему, он прикрывал ее благочестивостью, улыбался скорбно, изображал то суровость, то смирение. Однако отделаться от дурной славы не удавалось. Ни усердные молитвы, ни хождение в церковь, ничто не могло заставить забыть, как коварно выманил он царевича Алексея из его убежища в Неаполе, лишил защиты австрийского императора, пообещав родительское прощение. Не послушай его царевич, кто знает, может, жив был бы по сей день. Упорно толковали, что в угоду Екатерине он и в суде вел дело к погибели Алексея. В народе говорили, что Толстой ночью в каземате Петропавловской крепости задушил ослабевшего от пыток царевича подушкой. Умирая, царевич проклял его и весь его род. Но и допреж царевича о Толстом ходили дурные слухи. Будучи послом в Турции, якобы отравил подьячего. Тот собирался донести о присвоении денег, отпущенных для подкупа турецких чиновников, и вдруг преставился. Кантемиру об этом было известно. Знал, что Толстой интриган, продувная бестия,

начальничает страшной Тайной канцелярией, говорят, что пытчик, одно слово – каналья. Но ведь клятвенно заверял, что государя настроит соответственно и Марию поддержит, кроме того, у него самого прямой интерес помочь государю в столь щекотливом и в то же время обещающем деле. Ежели, конечно, Мария понесет...

Безумная мечта овладела помыслами князя. Он видел дочь государыней. Видел императрицей, матерью наследника. Брак будет достойным и для российского монарха, не то что с этой солдатской подстилкой. С Марией не стыдно будет показаться в любом европейском дворе.

Все ее достоинства Толстой красочно расписывал государю, по крайней мере так он заверял Кантемира. И очевидно, это было правдой, потому что Петр все охотнее навещал Марию. Судя по всему, отношения их становились короткие. Князь не позволял себе подглядывать, но в соседнем покое кое-что слышал. Видел, как Мария расцвела, как она сияла, выбегая навстречу государю. Петр наезжал внезапно, без предупреждения, без свиты, всего с двумя денщиками, они оставались в сенях. Царь, не таясь, шагал прямо на половину Марии.

Его привлекала прохладная свежесть Марии, ее чистота, вдумчивость, с ней было о чем поговорить, отвлечься от дворцовых сплетен, от государственных забот.

Неумелые ее ласки тешили горячностью, в них не было ничего наигранного, она плакала от восторга. Царь был первый мужчина в ее жизни, она видела в нем совершенство и всерьез влюбилась в него.

Многое князь узнал от Петра Андреевича Толстого. Все шло как нельзя лучше, как вдруг к княжне посватался Иван Долгорукий, сын Григория Долгорукова, русского посла в Польше. Фамилия знатнейшая, отказа быть не должно, и сама государыня проявила упорный интерес к сватовству. Случайно ли? – вот что насторожило и князя, и Петра Андреевича Толстого. Про новую любовницу государыне наверняка известно, как и про всех прочих. По совету Толстого, не следовало хоро-

ниться. Чем меньше таиться, тем меньше опасений. Однако похоже, что государыня встревожилась.

Переговорив с Толстым, князь Кантемир отправился к дочери. Мария был настроена против Ивана категорично – ни за что! И слушать не хотела. Князь не уговаривал, о причинах не спрашивал, еле скрыл радость. Посоветовал отказать жениху, поскольку тот не имеет никакого чину в службе его императорского величества. Сам же согласие Ивану Долгорукому высказал, даже счел честью породниться со столь знатной фамилией, о чем и написал государыне, окончательное же решение оставил за дочерью: его дело – советовать.

На очередной ассамблее государыня сказала князю: если вся закавыка в чине для молодого Долгорукова, то можно сыскать подходящее место. Князь Кантемир обещал еще раз с дочерью поговорить, заверил государыню, что лучшего жениха, чем Долгорукий, не желал бы...

Государыня смотрела испытующе. Черные волосы ее масляно блестели, видно было, что крашеные, и брови крашены. Располнела, тяжелая грудь колыхалась, лицо в румянах оплывшее, князь невольно сравнивал ее с дочерью – тоже брюнетка, но что значит молодость, и чернота чище, и волосы веселее. Подурнела государыня, и зубы порченые, не сравнить с Марией.

Роль свою князь играл неплохо, чувствовал преимущество, накануне жена сообщила, что падчерица, то есть Мария, забеременела, так что теперь все зависит от того, кто родится. Или – или, может статься, многое в истории России определится там, в чреве Марии Кантемир.

Петр занят был предстоящей войной с Персией. Князя предупредили, что государь повелел участвовать в кампании, придется плыть по Волге до Астрахани, готовить манифесты на турецком языке и на персидском для населения Закавказья, княжна может ехать с ним до Астрахани, там пусть останется. Про беременность, видать, знал, велел князю взять и княгиню, и Марию, и доктора домашнего.

Петр Андреевич Толстой тоже включен был в свиту как специалист по восточным делам.

Плавание шло два месяца по рекам – Москве, Оке, Волге, до самой Астрахани. Кантемиры плыли на отдельном корабле.

Мария ходила с заметным животом, счастливая, беременность красила ее. К ней приставлен был домашний врач грек Паликула. Когда плыли по Волге, царица простыла, Петр Толстой порекомендовал ей врача Кантемиров, который имел большой набор лечебных трав. Грек отваром быстро снял простуду. Екатерина щедро отблагодарила его, между прочим расспрашивала про княжну Марию, как беременность переносит, не мается ли животом, когда разрешится. Паликула выставлял себя знатоком женского организма, славился приемами восточной медицины, лечил от бесплодия, брался предсказывать ход беременности, кто родится. Приписывали ему старинные секреты врачевания, исцеление от хронических заболеваний.

Когда войска добрались до Астрахани, сделали двухнедельную остановку. На отдыхе Екатерина пригласила к себе придворных дам. Княжна Мария отказалась, ссылаясь на нездоровье. Назавтра государыня сама пожаловала к ней. Узнала о самочувствии, спросила, последует ли княжна с ними дальше по Каспию, чего ей не можется, и все смотрела на живот. Княжна прикрывала его руками, держалась любезно, согласилась спеть. После отъезда сказала отцу, что визит не понравился, у государыни „дурной глаз". Князь только посмеялся, рукой махнул, обнял ее. „Твое дело рожать, ни о чем плохом не думать". Мария прижалась к нему: „Боюсь я, боюсь".

В один из вечеров нагрянул государь. Был озабочен сборами, выглядел усталым, говорил отрывисто, лицо влажно-бледное. За ужином замолкал, глядя на княжну Марию, повелел ей оставаться в Астрахани вместе с мачехой и младшим братом. Петр Андреевич Толстой тут же присоветовал оставить при княжне врача Паликулу. Государь согласился.

...Допытывалась у Толстого, на что надеется князь Кантемир. Выблядка своей дочки подложить государю наследником? Не выйдет! Еще родить надо да вырастить... Неизвестно,

как все обернется. Стоит ли ему, Петру Андреевичу, сторону князя держать? Известно, что дружат они, но значит ли это, что против законной государыни можно идти? Понимать должен. Пусть подумает. Не выгоднее ли служить верой и правдой?.. Не без ее помощи ведь тайным советником стал. Может и на другой чин рассчитывать... Правду ли этот грек-врач говорил, что княжна здоровьем слабовата? При таком здоровье выкидыша ждать можно.

Намекала грубо, все упорнее. Сердилась. Толстой непонятливо таращился, руками разводил. Девица на болезни не жаловалась, росла крепенькая. Конечно, все в руках Божьих. Кивал, кланялся, но не поддавался, ничего не обещал. Ждал преспокойно, чтобы она сама раскрылась, деваться-то ей некуда. Надо, чтоб от нее исходило, чтобы она прямыми словами вымолвила... Умысел нешуточный.

Порядки в розыскных делах Тайной канцелярии его многому научили. Случалось, сам вел допросы „с пристрастием". Жег огнем, раскаленными щипцами, встряхивал на дыбе. Оговоры бывали, но почти всегда установить можно было – кто первый начал, с чего пошло-завязалось, кто слово произнес.

Про грека-врача не случайно спросила. Как бы указывала. С нее спросу немного, она, мол, по ревности могла пожелать зла сопернице своей. Он же не должен давать ей в руки свидетельства, его дело слушать, изъявлять свою преданность, приказ исполнять.

В конце концов, она разразилась, да еще с матерщиной, по-солдатски, призналась, чего ей надо, выдала сполна и тотчас посулила усердие его вознаградить титулом, недавно учрежденным, ясно было, что речь идет о графском титуле. У Толстого сладко екнуло в груди. О большем и не мечтал. Чин что, чин дело временное, граф же Толстой во веки веков, и детям и внукам перейдет... От него весть доходить будет потомкам, пока род Толстых сохранится.

Прослезился, ручку поцеловал, пообещал все, что в его силах, ибо все в руках Божьих.

Она посмотрела на него с бабьей проницательностью:

– Только самого себя не перехитри!

Его всегда подозревали то в криводушии, то в слишком остром уме, он привык, но тут она попала в цель. Может, это ей от государя перешло. Петр никогда до конца не верил Толстому. Доверял должности, дела тайные поручал, а полной веры не было... Считалось, что из-за участия в Стрелецком бунте, еще в 1682 году, когда молодым посещал тайные совещания в доме своего покровителя, боярина Ивана Милославского. Сорок лет прошло, а Петр все не забывал, „семя Ивана Милославского" виделось ему во многих. И сам Петр Андреевич знал, что государь чует в нем неверность.

Как-то, по обычаю своему, подпоив всех на вечеринке, царь ходил, слушал пьяные речи и вдруг подошел к Толстому, который, сняв парик, дремал, свесив голову. Петр хлопнул его по плеши, определил:

– Притворство, господин Толстой! – и, оборотясь к остальным, сказал: – Эта голова ходила прежде за иною головою, ишь как повисла, боюсь, чтоб не свалилась с плеч.

Толстой успел взять себя в руки, ответить браво:

– Не опасайтесь, Ваше Величество, она вам верна и на мне крепка.

– Видите, – сказал Петр, – он притворялся, он не пьян. Поднесите ему стакана три доброго вина, так он поравняется с нами и будет так же сорочить!

Все годы ему приходилось быть настороже. То и дело он чувствовал на себе испытующий взгляд монарха, как будто Петр знал, что неверность в самых сокровенных уголках души постоянно искушает Толстого, нет-нет, да и высунет свою лисью морду.

В походе Толстой ведал дипломатической канцелярией государя, просматривал все доклады, готовил воззвания к народам Кавказа, к персам. Бумаг было множество, все наиважнейшие. Государь не до конца открывал свои планы, ясно было, однако, что проект был проложить дорогу русской торговле к Персии, а затем и к Индии, к этому источнику, у которого толпились европейские страны.

Замысел был грандиозный, после победы над шведами все казалось под силу. Однако то, что он слышал от государыни, мучило больше. Он послал за греком, передал, что неможется... Грек жил при Кантемирах, в астраханском кремле. Вскоре он появился, растер спину мазями, уговорил выпить своей греческой мутно-белой водки. Толстой и его заставил выпить. Грек покачал головой, пил, улыбаясь. Толстой задумчиво разглядывал его, взвешивал, грек окружал масляной заботливостью, не поймешь; риск был там, и риск был тут, отказаться – риск и согласиться – риск. Греку довериться тоже риск.

Вспомнил пылающие глаза Екатерины, проверять будет, если он не сделает, она сама этого грека уломает, заставит, припугнет, ее ничто не остановит. И никогда не простит. А если государь узнает – уничтожит. Вот и выбирай!

Хмельного Толстой не любил, морщась, выпил еще стопку этой вонючей греческой и вдруг ощутил, что в его руках руль, дрожащий послушный руль, куда двинет, туда и повернет, то ли к государю, то ли к государыне, а корабль-то – Россия! От него, Толстого, она зависела, что решит – тому и быть!

По указанию царскому надлежит врачу Паликуле остаться при княжне Марии, следить за ее здоровьем.

Грек огорчился, он рассчитывал сопровождать князя, может, еще понадобится государыне, которая внимание к нему проявила. Княжна здорова, у княжны все как надо, местные бабки с родами справятся лучше него. Незачем ему оставаться...

Никаких повивалок, оборвал его Толстой, роды должен принимать сам Паликула и следить, следить за княжной.

Что-то в голосе Толстого, в длинном холодном лице его заставило грека насторожиться. Слова отеческие, а взгляд металлический, немигающий.

Всего лучше княжну до полных родов не допускать, так велено передать Паликуле. С надеждой на его искусство.

Грек заморгал глазищами, сделал вид, что не понимает. Прикинулся, бестия. Просил растолковать – разве можно остановить природу? Придет срок, хочешь не хочешь – рожать надо.

Губы пересохшие облизнул, ждет, однако, слова прямого. На притворство Петр Андреевич всерьез рассердился. Говорить лишнее не любил. В таком деле лишнего нельзя произносить. Плохой, значит, врач, если случаев возможных не понимает. Что же он, Толстой, должен ему медицинские казусы объяснять? Выкидыши у самой государыни бывают.

Грек все больше бледнел, колени его подкосились, рухнул, головой ткнулся в ноги Толстому.

– Избавь меня, Петр Андреевич.

Толстой руками замахал.

– Не могу, не проси, я в этих твоих делах не мастак.

– Как же брать такой грех на душу, чтобы извести душу невинную, дите...

Толстой ногой притопнул, кулаком замахнулся, еле сдержался, прости господи.

– Кто сказал извести дите? Слов таких не было. И быть не может. Разве тебе про младенца толкуют. Плод это, плод во чреве материнском. У него и души еще нет, не крещен, не наречен. С плодом всякое бывает. Если родится мертвый, на то воля Божья. У государыни нашей сколько раз такое женское несчастие случалось, и для нее, и для его величества.

Грек поднялся, шатаясь, зашептал еле слышно. Способствовать такому невозможно, нет, нет, немыслимо, ежели само собой получится... И тут же вопрос задал. Вопрос его был подлый, потому что тут как раз черт их подстерегал – если женского рода младенец, тогда как? Погуба будет неправедная. А заранее кто угадает, как узнать? На это Толстой напомнил, как грек хвалился своей ученостью, вот и определи, и избави себя от злодейства. Не можешь – моли Господа простить свое неразумие.

Петр Андреевич горячо перекрестился. Грек не унимался, хотел вызнать – зачем? Чего ради рушить то, чему сам господин тайный советник способствовал? Понимал, что суется куда не следует, от страха запинался, скулил по-собачьи, но удержаться не мог. Толстой на государыню не ссылался. Одни лишь намеки, движением перепутанных морщин указывал, что дело государственной важности, уберечь надо всех от смуты и

беспутицы, какая произойдет, если появится дите мужского пола. Греку доверено уберечь.

Внезапно грек замахал руками, объявил, что поручение трудное, к тому ж опасное, не по малым сим деньгам. Толстой торговаться не стал, накинул еще полтысячи. Насчет опасности предупредил: опасность одна – от языка, – если хоть какой звук прорвется, тогда язык отрежут, в пыточной камере у Толстого такие операции проводят запросто.

Перед отплытием государь пожелал заехать к Кантемирам попрощаться с княгиней, от которой мужа увозил, заодно и с дочерью. Когда хотел, Петр умел быть галантным. Веселился, обещал привезти женщинам подарки персидские – шали, серебряные украшения. Губернатору Волынскому наказал следить, чтобы ни в чем княгине и княжне отказу не было.

Князь Дмитрий обнял врача Паликулу, сказал, что надеется на него как на медика искусного и как на друга своего верного.

С тем и отправились.

Ветра не хватало. Плыли по Каспию медленно, сквозь густой неподвижный зной. Молочное марево застилало горизонт. Конница шла берегом. Шнявы тайного советника Толстого и князя Кантемира скользили рядом, следом за императорским ботом. Флотилия из нескольких сот судов растянулась далеко. Время от времени становились на якорь. Император вызывал к себе на Военный совет.

Толстой готовил письма русскому консулу в Персию, добивался, чтобы шах принял помощь русских войск против бунтовщиков и за это уступил несколько прикаспийских областей. Писал в Грузию царю Вахтангу, составлял воззвания населению. Зачитывал государю. Князь Кантемир давал поправки, переводил письма шаху. Канцелярия работала безостановочно. Больше всех работал государь. Диктовал распоряжения Сенату об учениках и работниках для фабрик, составлял инструкции, как в такую жару следить за здоровьем солдат, как фрукты потреблять. Иногда умолкнет, уставится на господина тайного советника, словно подслушивает его мысли. Толстой взгляда не отводил, но сердце начинало стучать так, что

слышно, кажется, на всю каюту. Круглые, чугунного блеска глаза императора – не отпускали.

В такие минуты хотелось бежать куда подальше от всех этих следящих, всех, кто за спиной, сбоку. Старому сердцу не под силу ждать и ждать удара невесть откуда. Шутка ли, восемьдесят три года. С виду осанистый, крепкий, еще не горбится, но к концу дня затылок свинцом наливается, виски ломит, никто не знает, как брюхом мучается от царских чарок безотказных, изжога сутками не отпускала. На покой пора. Мечтал в Италию уехать, понежиться в Венеции, где так привольно горожанам, среди веселья сладкого, песен монахинь и гондольеров, будет ходить в Оперу, наслаждаться приветливостью людей, которые живут без страху и постоянного пригляда. Хорошо бы остаться там, провести последние годы. Но знал – пустые мечтания. Не покинет двора, будет все так же справлять свои смертоопасные должности. Чего ради? Графского звания дождаться надо. А там, глядишь, еще чего заблестит. Сколько дружков своих проводил, кого в ссылку, кого на плаху. Поди, тоже чего-то дожидались, выслуживались. Никто с почетом по своей воле так и не удалился. Мысль, как ни петляла, заводила в один и тот же тупик – чего ради?

Перед сном раскрывал походный серебряный складень, усердно молился. Просил здоровья и более всего – сил вытерпеть этот поход и ожидание. Князь Кантемир донимал своими безумными планами – что последует, когда княжна родит мальчика, как царь отделается от Екатерины, сразу ли посватается к Марии...

Толстой не разуверял, поддакивал. Опять же – чего ради?

Царица тоже волновалась, пытала Толстого: можно ли надеяться на грека, нет ли от него вестей. И Кантемир ждал письма из Астрахани. Молился. Просил Толстого помолиться за Марию. Все ждали. Может, и государь ждал, вида не подавал, он никогда не откровенничал, никто не знал, что зреет у него.

Доставалось от все новых царских выдумок, пирушек, неуемного любопытства. Еле удалось отбиться от купания на празднике Нептуна. Государь приказал каждого, кто впервые

на Каспийском море, трижды окунать в воду. К широкой доске привязали груз и на канатах новичка опускали в море под свист и хохот зрителей.

Толстой выпросил снисхождение по возрасту. Петр критически осмотрел его, сказал: „Стоячая вода протухнуть может", но отпустил. Свирепая жара не щадила никого. Государь коротко обстригся, носил широкополую шляпу. Лицо его оголилось, стало видно, как он осунулся. Болезненные приступы у него участились. Посреди работы схватывался за живот, ложился весь в поту, губы запеченные, темные, как сургуч. Приходил врач, поил травами.

Князь Кантемир тоже прихварывал. Царь никому не давал покоя. Его любопытство превозмогало недуги. Поехал осматривать древний каменный мост, затем развалины какого-то персидского города. Брал с собою переводчиком князя, прихватывал и господина тайного советника. И все это под палящим большим солнцем, от которого негде укрыться. Одна лишь государыня держалась бодро, свежо, с аппетитом ела виноград, любовалась местными тканями и чеканной посудой. Толстой убеждался, что правильно сделал, поставив на нее, она переживет государя.

Русские войска направились к Дербенту. По пути местные султаны встречали царя миролюбиво, просили принять в подданство.

Короткое сражение произошло у Дербента. Войско султана Мухамеда было разбито. В захваченном городе император отдыху не давал, заставил укрепить крепостные стены, башни по новейшим правилам европейского искусства.

С государевой почтой пришла князю весточка из Астрахани от грека. Почерк его безобразный, не прочесть, и текст темный, мол, княжна хворает, к счастью, все обошлось, надеется ее выходить, а о главном – разрешилась ли и кем – ни слова. Показал Толстому, тот тоже не растолковал. Ясно, что грек встревожен, а чем – неизвестно.

Государыня проведала о письме, Толстой отвечал как есть, она нахмурилась: „Хитришь? Чего крутишь?" Видно было, как

встревожилась. Толстой успокоил ее, но, что бы он ни говорил, все воспринимала как недосказ, словно чего-то утаивал. Бесполезно было оправдываться. Да и чего ради?

Грек наверняка с умыслом темнил, князя щадил, а его, Толстого, держал в напряжении, знал, что князь покажет письмо. Сейчас все сводилось к нему, к греку, он власть и показывал. Толстой от него зависел, государыня от Толстого, да и сам государь... Но об этом мыслить не следовало, тайные мысли тоже опасны, они обязательно где-то как-то наружу высунутся.

Казалось, Петру все подвластно, однако Каспий взбунтовался. Разразилась буря, суда, груженные хлебом, провиантом армейским, разметало, потопило. Продолжать поход стало трудно. На военном совете решили отложить действия до следующего года и возвращаться в Астрахань. В Дербенте же оставить гарнизон.

Астрахань встречала прибытие государя пушечной пальбой, торжественной церемонией. Князь Кантемир еле дотерпел до пристани, в сопровождении Толстого поскакал на рыбный двор, к своим.

Дочь застал в постели, слабой, полуживой. Рассказать, что случилось, не могла, плакала, что-то шептала. Рассказала княгиня. Был выкидыш, отчего, неизвестно, может, от дурной рыбы, может, от бури – так определил врач, Паликула. Он еле спас саму несчастную мать. У нее сейчас полный упадок сил и, главное, – сникла духом. Врач все делает, чтобы не дать угаснуть. Князь был в отчаянии, крепился, старался приободрить дочь.

Толстой утешал как мог Кантемиров, но торопился к государыне. Хотел первым доложить ей, знал, что у нее своих осведомителей хватает. Успел. Она скрыть не могла радости. Тайный советник поклонился, попросил разрешения передать князю Кантемиру соболезнование от ее величества.

Узнав от Екатерины о неудачных родах Марии, государь промолчал, похоже, сразу утратил интерес к этой истории. Через два дня заехал к князю, который от тяжких переживаний

не выдержал, слег. У постели больного царь просидел час, заглянул в женскую половину к княжне. Побыл там минуту-другую, сказал несколько утешительных слов. При выходе, проходя мимо сыновей, слуг домашних, задержался перед врачом-греком.

– Говорили, ты знатный лекарь, многое можешь, – приставил твердый свой взгляд. Не было смешка, было раздумье, от которого грек испугался, не в силах был ничего молвить.

Вскоре князь призвал к себе Толстого. Лежал он тощий, желтый, болезнь съедала его. Боялся, что уже не встать ему, просил позаботиться о сыновьях, более же всего о Марии, виноват он перед ней, не остановил, поощрял. Поддался соблазну. Зачем? Вот и задул Господь свечку. Под конец вдруг приподнялся, схватил Толстого за руку, стиснул, сообщил горячечным шепотом, что выкидыш-то был мужской плод. Это у грека выпытал. Не уберегли. Мог быть наследник царю, все, все могло осуществиться, Россия имела бы царя благородных кровей...

Толстой соглашался, было жаль старого друга. Выйдя в соседнюю комнату, спросил врача, поднимется ли князь. Грек помотал головой, от нервного расстройства у князя сухотка воспламенилась, не остановить, сгорит за каких-нибудь две недели. Что же, ничего нельзя сделать? – допытывался Толстой. Ничего, уж если он, Паликула, поставил диагноз, никакой другой врач не поможет. Ответил со злобной слезой в голосе, словно на Толстого вину возводя.

Зачем рассказал он князю про выкидыш мужского пола? Грек отмахнулся дерзостно, затем, что повитухе рот не заткнешь. Ну хорошо, а Марии он тоже сказал? Ей-то зачем? Злодей, ах злодей, ведь это ее еще пуще убивает.

Грек никак не признавал себя злодеем, наоборот, он спас княжну, выкидыш-то был не натуральный, вполне роженица могла погибнуть. Ему за спасение благодарность полагается и добавление денежное.

Бесстыдно и глупо вел себя грек. Невоздержанная речь – первая губительница, твердил бы всем – знать не знаю, какой

плод, и концы в воду, мало ли что повивалка болтает, ей веры мало, теперь же в случае чего гнев государев будет велик.

Тайный советник давно убедился, что большую часть несчастий человеку язык приносит.

Грек не воспринял, не испугался, намекнул тайному советнику, точно соумышленнику, что теперь от государыни милости должно быть побольше. Смекнул, значит. Толстой не сдержался, огрел его палкой, предупредил – когда на дыбе повиснешь, заступы не будет ниоткуда. В Тайной канцелярии Толстой умел нагнать страху еще до пыток, до допроса. Ударил грека не сильно, вновь поднял палку, поклялся, что, если Марию не вылечит, отправится грек в застенок, где издохнет. Удивился своей горячности, клятве своей, давно ведь правило соблюдал – чувств своих высказывать никому не следует, сам перед собой не открывайся.

Перед отъездом государь еще раз посетил князя. Толстой ему подсказал: „Надо попрощаться, может, не свидятся больше“. В этих случаях государь свято соблюдал обычаи, слугам своим верным сам верен был.

Князь первым делом попросил за дочь. Ни на что не намекал, просто молил, чтоб не оставил своей милостью семейство его, и особо княжну слабенькую, болящую, пока в себя не придет. Царь обещал покровительство, обещал ко двору приблизить. После этого подробно обсуждали турецкие дела, в которых князь Кантемир был лучший знаток. Распрощался государь с грустью, поцеловал князя в лоб.

Болезнь отца вынудила Марию подняться, ухаживать за ним, князь Дмитрий то и дело призывал ее, мучило – не пристроена, на кого оставляет, продолжал строить планы, как возобновить ее отношения с царем, чувствовал себя виноватым, что не сложилось, рвался что-то исправить, Мария не спорила, сухотка, по-нашему рак, доставляла ему страшные муки, сознание его путалось, но он упорно требовал везти его в Москву скорее, пока не началась весенняя распутица.

Двинулись в дорогу. Не доехав до Самары, остановились в каком-то городке, князю стало совсем плохо. Болезнь уносила его все дальше от жены, от сыновей, последнее, что привязывало его к земным заботам, была все та же молитвенная надежда устроить царственную судьбу Марии.

В августе князь скончался на ее руках.

Без Дмитрия Кантемира семья быстро распалась. Красавица-вдова пустилась в светскую жизнь, старшие сыновья поженились.

Мария осталась в Петербурге вдвоем со своим любимцем, младшим братом, Антиохом. Талант его расцветал, Мария не могла нарадоваться быстрым успехам юноши в поэзии, недаром царь рано приметил этого мальчика и продолжал им интересоваться.

Про Антиоха Кантемира, первого русского поэта, – тут Молочков не мог удержаться, отвлекся в другую историю – историю литературы.

Настоящие поэты, утверждал учитель, начинают сразу, без разбега, стихи Антиоха Кантемира сегодня устарели, не читаются, так же, как стихи Сумарокова, Тредиаковского, но тогда сатиры Антиоха были для российской публики сенсацией. А еще Антиох Кантемир отличался от всех других как словотворец, таинственный этот дар выделил его и утвердил навсегда в русской словесности. Он умел вводить в язык новые слова. Редчайшая способность! Любой русский писатель, самый великий, радовался, когда удавалось обогатить русский язык хотя бы одним, двумя словами. Карамзин ввел „промышленность", Достоевский – „стушеваться". Кантемир ввел в обиход много слов, таких, как – материя, природа, идея, центр, депутат. Целые выражения приписаны ему – „смех сквозь слезы", „пусть страсти не качают весы правосудия" или „пусть слезы бедных не падают на землю".

Он пустил в обиход великое слово „гражданин".

Странный это дар. Попробуйте ввести новое слово, да чтоб оно укоренилось...

Щуплый, легкий, смешливый – что его роднило с Марией, – он обращал на себя внимание изучающим взглядом серых глаз, они неохотно принимали участие в его шутках, смехе, вели собственное вдумчивое существование.

От его короткой жизни остались девять сатир, первых русских сатир, с восторгом встреченных читателями, и новые слова. Увы, слова не носят имя авторов, они влились в океан русского языка такими же анонимными, как прочие.

Вскоре после астраханского похода Петр решил короновать Екатерину. Надежд, связанных с беременностью княжны Марии, не стало, забота о престолонаследии все сильнее угнетала, болезненные приступы не давали успокоиться. Оставалось одно – назначить Екатерину правительницей на случай своей смерти, до тех пор, пока наследник или наследница не определятся.

Толстой отныне стал одним из ближайших доверенных лиц государыни. Его отправили в Москву готовить торжества коронации.

Коронация состоялась 7 мая 1724 года. Толстой хорошо позаботился, церемонию отработали во всех деталях, пышно, богато.

Впереди шел отряд лейб-гвардии. Серебряные шпоры звенели на высоких сапогах. В зеленых кафтанах и белых париках выступали двенадцать пажей императрицы. Длинное шествие возглавляли депутаты от провинции, генералитет, сановники коллегии. Главное шествие открывал Толстой. Верховный маршал, он нес серебряный маршальский жезл, на верхушке его распростер золоченые крылья российский орел, украшенный алмазами и рубинами. Жезл был тяжел. Толстой прижимал его к себе, чтобы не уронить, не выдать дрожь в руках. Он шел впереди тайного советника Остермана, князя Голицына, впереди князя Долгорукого со скипетром, Мусина-Пушкина, графа Брюса. Они все завидовали ему. Он первым ступил на красное сукно, толпа взирала на него. Это была вершина его жизни.

Он вкушал сочную сладость успеха, российский орел парил над ним, обозначая его, отныне графа, Петра Андреевича Толстого.

Торжеству мешала потная слабость, надо было донести этот проклятый пудовый жезл до собора, чтобы наконец поставить на пол и утереть лицо. Перед лестницей один из герольдов, что шли по бокам маршала, предложил помочь, Толстой отпихнул его. Не для того он столько лет поднимался к этой минуте...

Никто здесь знать не знал, что это он, Петр Толстой, расчистил дорогу Екатерине к императорской короне. Ей самой не все было известно. Правители не любят брать грех на себя, не любят и быть кому-то обязанными. Толстой не выпячивался, он умел ждать. И дождался. Иезуиты правы: хорошо живет тот, кто хорошо скрывается.

Он, граф Толстой, можно сказать, „навеки запятнал себя графским достоинством". Пользуясь случаем, выпросил себе еще поместье на Яузе и двор в Петербурге.

Красное сукно, по которому шествовала Екатерина, протянулось от мертвого младенца до кремлевского престола. Об этом знал он один.

Сознавать свою роль Толстому было и страшно и сладко.

В церкви он стоял у самого трона, опираясь на жезл, отдыхал. Звонили колокола, гремели залпы пушечных салютов. Отныне царица Екатерина и граф Толстой навеки войдут в историю России: она – первая императрица, он главный маршал коронации. Он мог гордиться своей дальновидностью: различал свое счастливое будущее, как будто уже свершилось, – когда царь Петр умрет, Екатерина станет Екатериной Первой, ее возведут на престол...

Так оно и произойдет. Недаром он считал себя провидцем, мудрым политиком, он все рассчитал, выбирая между Петром и Екатериной.

В этом месте учитель отвлекся от участи графа Петра Андреевича Толстого и перешел к судьбе рода Толстых, из кото-

рых произошел в третьем поколении казанский губернатор, в другой ветви министр народного просвещения, в третьей посол при дворе Наполеона. Там был обер-гофмаршал, собиратель рукописей, замечательный художник Федор Толстой, медали его работы до сих пор остаются образцом высокого искусства, был блестящий поэт и писатель Алексей Константинович Толстой и, наконец, лучший плод этого древа – Лев Николаевич Толстой.

Генеалогия удивляла учителя своей причудливостью. Какой род ни возьмешь, обязательно среди порядочных тружеников вдруг вынырнет жулик, а то и разбойник. Таланты сменяли бездарей. Чисто православных нет, обязательно в каком-нибудь колене найдется мусульманин или католик. В самом что ни на есть русском человеке всегда течет чужая кровь, то немца можно обнаружить, то еврея, то татарина, то такого папуаса – руками разведешь. На самом деле, если проследить корни, все мы родственники, генеалогия могла бы быть не наукой о знатности, а о родстве людей. Генеалогия не позволяет никому чваниться своими предками. Если были великие, то были и ничтожества, подонки.

Его Величество Случай смешивал в колбе родословные бабок, тетушек, прадедов, любовников, проходимцев, чтобы в каком-то из потомков вспыхнул то ли злодей, то ли гений. Генеалогия бессердечна. Такой и должна быть наука. Она с равным интересом возвышает, разоблачает, сближает, заставляет думать о чести своей фамилии и о наследниках, о чудесах и тайнах наследственности.

Смерть отца подкосила еще слабое здоровье Марии. Интерес к жизни угас. Лекарства не помогали, Паликула старался как мог, превратился в сиделку. Мария уходила из мира безропотно, и у грека не было средств удержать ее. В отчаянии он представлял себе, как приведут его к императору. Прошлый раз под взглядом Петра сердце замерло, еще немного, и он во всем признался бы. Страшный взгляд недаром задержался, царь что-то почувствовал.

Паликула решился сообщить Толстому о положении княжны. Граф приехал, увидел, прослезился. Она погладила его руку, утешая.

– Ты что ж это надумала... – начал он жалобно, сморкаясь, сказал, что государь справлялся о ней, хочет навестить, как же она в таком виде предстанет.

Придумывал, не боясь, не надеясь ни на что, расписывал интерес царя, не жалея красок. Позже утверждал, будто знал, как вернуть княжну к жизни, любовь для молодых лучшее лекарство.

То, что государь помнит о ней, было счастье, она вдруг ощутила, что любовь ее не безответна. Любить, а не ждать любви – вот в чем жизнь. Когда любовь взялась за дело, болезнь отступила, вернулся румянец, ожили глаза, волосы вновь взмыли черным пушистым облаком.

Мачеха считала, что лучшее исцеление – замужество, принялась сватать. Мария отказывала, не приводя никаких причин. Мачеха уговаривала ее, и братья уговаривали, княжна отмалчивалась, чему-то улыбалась.

Петр и впрямь несколько раз справлялся о княжне у Толстого, как бы мимоходом, навестить желания не выразил и ко двору не приглашал. Молодые Кантемиры, впрочем, являлись на ассамблеи, звали сестру, Мария уклонялась.

В ноябре закрутился розыск по делу Монса.

На второй день после допроса Монса Петр из Тайной канцелярии вдруг отправился к Марии Кантемир.

Нежданно-негаданно вышло, что никого другого у него нет. Княжна любила его, он это знал, любила его самого, без титулов, любила Петра Алексеевича Романова, она умом напоминала принцессу Софию-Шарлотту, не так головным умом, как сердечным.

Княжна ни о чем не расспрашивала и не прикидывалась безразличной. Она радовалась его приезду, о чем-то говорила и молчала, и ждала. Это была та участливая воспитанность, которая помогала ему.

Он рассказывал сперва без подробностей. Мария держала его тяжелую руку, слушала.

Собственная слепота уязвляла его. Вспоминал, как при коронации, в Кремле, царица опустилась на колени, он возложил корону на ее голову, и слезы покатились по ее щекам. Спустя два дня, улучив момент, опять пустилась в сладострастные забавы с Монсом.

Сейчас, задним числом, десятки улик всплывали перед ним, мелкие испуги Монса, перешептывания, как она касалась его грудью, любовные перегляды, рискованная игра, которой она возбуждала себя.

Считалось, что с первого знакомства он определял цену человеку, обманывать его не удавалось, а эти двое, оба недоумки, хитроныры, запросто оставили его в дураках.

Мария отвергала его самоуничижение, просто он был слишком велик для этих мышиных плутней. Она не льстила ему, она всегда восхищалась силой его ума. Ах, ни черта не стоила вся его мудрость и могущество перед тем, как хихикала челядь, какие пересуды вели между собой дипломаты. Лучше слыть антихристом, чем стать смешным. Смеху голову не отрубишь. Главный рогоносец России!

Рассказать то, что он узнал, он не мог, его начинало трясти, всего корежило. Мария не знала, как утешить его, нестерпимая его боль словно передалась ей, слезы выступили на глазах, она прижалась к его руке.

Эти слезы были ему нужнее любых слов. Поза, в какой он застал их на острове, еще стояла перед ним. Екатерина нагишом сидела на этом распростертом под ней мозгляке. Петр сам любил привозить блядей на островок и забавляться с ними, и Екатерину когда-то возил сюда на лодке, и поза была знакомой. Но помнил он не это, а то, как безобразно огромно-распутной выглядела ее туша в солнечно-цветных пятнах от витражей, и щуплый Монс под ней.

Петр так описывал это, что Мария вдруг захохотала, сама испугалась своего смеха, но не могла с собою совладать. Слезы еще катились по щекам, а она, закинув голову, смеялась. Петр откинулся на спинку кресла, смотрел на нее хмуро, молча, рука его сжалась в кулак и разжалась. То, что можно было смеяться над этими двумя, поразило его.

Получив бумагу с приговором Монсу, Петр написал размашисто, брызгая чернила: „Учинить по приговору!“

Казнь совершали на Троицкой площади. Палач отсек голову красавцу Монсу, поднял ее за волосы, раскрытые глаза смотрели на площадь, запруженную народом, казалось, они еще видели всех, и царя, и царицу.

С того дня Петр стал часто ездить к княжне Марии.

Перед Новым годом привез подарки – братьям бочонок мозельского вина, Марии – породистого жеребца с богатым убором. Расспрашивал об успехах, особо выделил младшего, Антиоха.

Он знал его с десятилетнего возраста. Записанный солдатом в Петровскую гвардию, мальчик на смотре преподнес царю проповедь, сочиненную им на греческом и переведенную на русский. Петр стал читать, и так ему понравилась, что тут же повез Антиоха в монастырскую церковь и поставил там читать проповедь прихожанам. С той поры не упускал мальчика из виду.

Нынче Антиох попросил позволения прочесть монарху свои переводы стихов греческого мудреца Солона. Государь слушал с удовольствием:

„... Я словно волк вертелся среди стаи псов“.

Этим строкам усмешливо покивал. Потом Антиох прочитал собственное сатирическое стихотворение. Щеки его пылали. Петр смотрел с удовольствием и печалью. Мария понимала, что шестнадцатилетний красавец, кипящий волнением и счастьем, вызвал у государя тоску о наследнике.

Подавали золотистых форелей, украшенных раками и деликатесом – прозрачными кружками лимонов. Мария сильным счастливым голосом спела молдавскую застольную. Государь вина не пил, врачи настрого запретили, зато подносил всем, изображая голландского трактирщика. Подносил без обычной принуды, сыпал прибаутками, весельем зажег Марию, она пошла танцевать с Антиохом, старший брат играл на скрипке. На следующий танец Петр вызвался сам, но танцевал недолго, помешала боль в боку.

Прилег на диван. Братья удалились. Мария присела у него в ногах. Когда Петру стало легче, перешли в спальню. Мария разделась за пологом, вышла в короткой рубашке, босиком, с распущенными волосами. Петр любил перебирать их скользкую шелковистость. Волосы были без той крашеной жгучести, что у Екатерины. Все же Мария напоминала молодую Екатерину, отличие было в тонко выписанных чертах. Сказывалась порода, осанка тоже давала знать, подчеркивала фигуру.

Петр обнял ее, прижал к себе, она прильнула с готовностью, более всего любя эти минуты подступающего желания, по-всякому стараясь продлить их, оттянуть его нетерпение. Иногда удавалось вовлечь его в эту игру, иногда грубо обрывал, не считаясь с тем, чего хочет она, брал без ласки, без волнения, как прочих баб. Только что он слушал ее с интересом, был благодарен, учтив, она была особенной женщиной, а эта в постели – просто та, что подвернулась, не событие, такая, как все.

Были случаи, когда в постели она продолжала пребывать для него княжной Марией, той, что становилась все любезнее его душе и сердцу.

В этот раз что-то не ладилось. Он к чему-то в себе прислушивался, словно ждал. Внезапно оттолкнул ее, согнулся, схватился за живот, стоял качаясь и мыча повалился на пол, скорчился. Мария испуганно наклонилась над ним, он, ругаясь, замотал головой. Она выбежала в сени к царским денщикам, погнала их вместе с Антиохом за греком.

Боль отступила. Перетащили его на кровать, он лежал мокрый, в испарине, огромный в своей беспомощности. Полотенцем Мария утирала его лицо, разглаживала прилипшие волосы. Выдохнул виновато: „Видишь, каким слабым стал". Губы его задрожали. Мария тоже удерживалась, чтобы не разрыдаться, откуда сил набралось на улыбку – хорошо, что остановила его... Позже призналась Антиоху, что такой жалости и одновременно счастья не было в ее жизни, был он в полной ее власти, бессильный, испуганный. Она гладила и гладила его – его круглую голову, маленькую без парика.

Как бы отделяясь от своего измученного тела, он изучал свою немощь. „Бедная плоть моя, – бормотал он, – плоть смерти“. Пытался понять, воспрянет ли плоть эта, неужели все. Сокрушался над Марией, да и над собою: „Господи, сколь жалок человек“. Неужели вот так теперь будет, быть того не должно. Мария горячо уверяла, что это всего лишь приступ. Не верил. И себе не верил. Что ж он, не сможет больше, износился...

Доктора все не было.

Петр молчал, устремясь куда-то, Мария не смела тревожить его. Радовалась, что боль его притихла. О чем он думал? Ее вдруг испугала огромность того, что могло совершаться рядом с ней, в его думах.

Он повернулся, сел на кровати, заругался тихо, опечаленно о том, как болезнь держит его за ... Маленькая усмешка прошла по его лицу. Подходит роковой час, и не стало скорбящих о его муках, словно учуяли, изготовились. И тут он, притянув к себе Марию, высказал то, в чем никому еще не признавался: голову горгоне Медузе отрубили, так ведь змеи с ее головы живы. Он бы мог и саму Екатерину наказать, а что делать с ее приспешниками, с сочувствием к ней. Самое страшное, что открылось, – весь змеевник на ее стороне. При Монсовом розыске потревожено было великое множество обманных дел, пакостных хитростей, столько грязноделов, о которых он и не подозревал, знали же про блуд царицы и покрывали. Меншиков, друг сердечный, наверняка знал, видать, тоже в заговоре состоял. Опять возвращался к тому, как сладкопевно Феофан Прокопович вещал с амвона при коронации: „Ты, о Россия, видишь в ней неизменную любовь и верность мужу и государю своему, честный сосуд!“, а она слезы роняла и думала о том, как будет разваливаться под Монсом, сучка! Как начала блядью солдатской, так блядью и осталась.

Вновь захлестывало его горькое одиночество, где не было места Марии. Понимал ли он, что Екатерине куда роднее было с Меншиковым, и уж тем более с этим ласкателем Монсом?

Паликулу денщики приволокли чуть ли не силком, так перепугался он пользовать царственного пациента. Мария стоя-

ла у окна, пока он осматривал государя, на улице мальчишки бросались снежками в пьяного монаха. Через Неву, по льду, цепочкой переходили солдаты. Время распалось на картинки, потом годами она будет перебирать их, как четки.

На Паликуле была вязаная кофта, валенки, в глаза не смотрел, достал из сумки каких-то порошков, велел принять, сам тут же проглотил для верности, просил лежать в тепле. Отечная желтоватая бледность не проходила, государь сидел обмякший. Мария спросила, не следует ли отправиться в Париж на лечение, тамошние медики прославлены. Грек головой замотал, дальняя зимняя дорога его величеству не под силу, все будет хорошо, если его величество будет следовать советам.

Петр слушал насупленно, взял руки Паликулы, рассмотрел перстни на пальцах, внезапно спросил про Монса, какие дела были с Монсом, кто его с Монсом свел? Толстой... Ага, а с императрицей?..

Увидев, что творится с греком, Мария решительно выставила его – не об этом сейчас государю следует думать. К тому же врач Паликула много лет пользует их семейство, ее самое, когда она на сносях была.

– Врет он, – Петр устало махнул рукой. – К розыску его следовало бы присоединить, видишь, как затрясся, да ладно...

Накинув на плечи коричневый свой кафтан, Петр сгорбился, свесил голову. Говорил тихо, неразборчиво. Говорил, что лекаря врут, этот пуще других, говорил, что нельзя жить так, словно жизнь бессрочна. Безбожно жить не готовым к смерти, и не разумно. Нить может оборваться в любой момент. Думал, времени на все хватит, теперь видно, что поле его кончается. Пахал, пахал, лишь бы больше захватить, а что на нем вырастет, увидеть не придется. Жизнь уходит, ей бы сейчас только начаться.

Это был совсем другой царь, таким она его не знала, да и знал ли кто?

Глядя на княжну, сказал скорбно.

– Поздно.

И еще раз.

– Поздно.

Ушел, опираясь на палку, денщики по бокам, Мария провожала до саней. Снег скрипел под ногами. На прощание приобнял: „Бог даст, свидимся еще“. Заглянул в глаза, улыбнулся тому, что там увидел: „Замуж пора!“. Она отвергающе мотнула головой, он наклонился, поцеловал ее в голову.

Денщики заправили полость, верховые выехали вперед, двое вскочили на запятки, кони рванули, полозья зашипели. Она стояла, пока сани не скрылись в ранних декабрьских сумерках.

Войдя в дом, заплакала, слезы лились и лились, никак не могли кончиться. Плача, опустилась на колени и стала молиться о его здоровье.

На следующее утро во дворец Кантемиров явился Паликула, попросился на прием к княжне. Был он всклокочен, возбужден, весь как в лихорадке, бросился к ручке княжны, благодарил за то, что заступилась перед государем, не спал всю ночь. Мерещилась ему дыба, пыточный застенок, и розыск ведет сам граф Толстой. Княжна пробовала успокоить, напрасно он тревожится, государю не до этого, а граф Толстой всегда был расположен к врачу. Но Паликула твердил свое: государь, воспаленный делом Монса, обязательно станет расспрашивать Толстого, а от того не защиты ждать, а поспешного губительства. Было непонятно, чего он так боится, почему графа Петра Андреевича обвиняет в коварстве. Княжна строго напомнила греку, что граф благодетельствовал и ей, да и ему, на это грек как-то безумно захохотал, воздел руки к небу: „О, святая простота!“ То, что он дальше наговорил на графа, было безобразно и невероятно: что Толстой способен запрятать подальше Паликулу, а то и вовсе убрать, чтобы обезопасить себя, чтобы он, Паликула, не выдал про его происки. Какие такие происки – недоговаривал, твердил только, что за жизнь свою боится, покушателем будет Петр Андреевич, не знает княжна, ох не знает этого пытчика! Заплакал, упал в ноги княжне, бился головой об пол, молил дать укрыться во дворце. Страх его темный, истеричный наплывал на княжну.

Она рассердилась, велела подняться, запретила оговаривать графа. Наветам не верит и укрытия ему не даст. Невозможно! Ногой топнула. Грек вскочил, черные глаза его горели, рванул шелковый бант на себе, голосом сдавленным, хрипящим заявил, пусть передаст графу, что, ежели что начнется, колесовать Толстого будут первым, он, Паликула, донесет обо всем государю, ничего не скроет. Заверил клятвенно, наставив палец на княжну. Перекрестился. Ей стало не по себе.

Позвала Антиоха, явилось предчувствие, как будто все это касается ее самой, как будто она причастна к тому, что головы и Толстого и Паликулы будут торчать на колу. Но за что, за что, недоумевал Антиох, как же она не выспросила у грека? Он не понимал, чего она испугалась.

На Рождество Антиох устроил представление. Пригласили графа Петра Андреевича Толстого, он подарил княжне ожерелье крупного цейлонского жемчуга, расспрашивал про царский визит, о чем таком говорил царь с греком. Узнав, что государь обмолвился про розыск, задумался, сел в кресло. Княжна, обеспокоенная, рассказала и про приход Паликулы. Толстой разглядывал ее внимательно, искал чего-то, не найдя, похвалил наряд – расшитый бисером бархатный жилет, сафьяновые сапожки, полюбовался ею, вздохнул, напомнил, как покойный ее батюшка завещал ему опекать княжну, беречь. Про грека лучше не болтать, грек, видно, не в себе, нынче, после казни Монса, у многих повреждение от страха. Спросил, как Марии показалось, крепок ли государь? На ее тревогу кивал мелко, задумчиво щурился, точно карты свои разглядывая, сказал: „Не успеть...". Разное это могло означать. Княжна переспрашивать не хотела. Голос ее похолодел, видно, Толстой почувствовал, потому что заговорил за столом, что государь не бережет себя, не думает, что его здоровье значит для России, затем встал и торжественно провозгласил тост за здоровье императора. Антиох вдруг звонко добавил: „И пусть Бог покарает тех, кому это не надо!"

Паликула пропал. Приходили из царской канцелярии, справлялись, не знают ли у Кантемиров, где доктор. Потом от генерал-полицмейстера тоже интересовались, куда он подевался, мол, его потребовала царица. Антиох придумал целую историю, как грека утащили в Тайную канцелярию и там заточили до поры до времени, „дело рук Петра Андреевича", уверял он. Но Мария понимала, что грек спрятался где-то, напуганный государем.

Операция императору облегчения не принесла. Стало известно, что государь почти не встает, мучается от болей. Да так, что порой криком кричит.

В Крещенье в Троицкой церкви к Марии подошел граф Петр Андреевич и сообщил о страданиях государя, понять можно было, что надеяться не на что.

В день своего тезоименитства Мария не вытерпела и поехала во дворец. Несмотря на мороз, под окнами толпился народ. Стояли, сняв шапки, крестились. В покоях полно было придворных. Священники, дипломаты, генералы, фрейлины, одни плакали, другие шептались, ходили от группы к группе. Кабинет-секретарь Макаров поклонился княжне, сообщил, что государя будут причащать, спросил, зачем она приехала. Вопрос княжне не понравился. Она вздернула голову так, точно перед ней стоял не кабинет-секретарь его величества, а подьячий – ему здесь положено быть по службе, она же приехала к своему монарху, согласно дворянскому этикету. Намек на его низкое происхождение был прозрачен. Макаров принял его безропотно, сказал терпеливо, что все же покорнейше просит ее уехать, при этом сослался на государыню.

– За что же мне такая немилость... – начала было Мария, но услышала вопль, что донесся из внутренних покоев, отстранила Макарова и ринулась на этот звук, словно слепая спешила, протянув вперед руки, перед ней расступались, кланялись, что-то говорили, она не отзывалась. Она шла все быстрее туда, откуда он взывал о помощи, они все слышали его стоны, вся эта придворная гнусь, чего они ждали?

Украшенные звездами генералы, напудренная физиономия Меншикова, красноносый Брюс, сгорбленный князь Шаховской с нелепым желтым бантом. Изготовились, глаза рыскают...

Остановить ее никто не мог. Граф Петр Андреевич откуда-то выскочил перехватить, взял под локоть, сказал, что туда нельзя, сейчас императора будет причащать архимандрит, государыня не велела никого пускать.

С неожиданной силой она оторвала его сухонькую цепкую руку.

Тяжелый спертый воздух тесной спаленки провонял лекарствами, мочой, печным дымом, едким потом. Безликие фигуры мелькнули и пропали, среди них грудастая масса государыни, все растворялись в духоте, осталась только кровать, на которой метался Петр в разорванной рубахе. Слезы лились из его выпученных бессмысленных глаз, он скулил по-собачьи – огромный, горячий кусок боли. Крича и хрипя, пытался вырваться из своего гибнущего тела. Ничего не осталось от могучего, грозного правителя, от воина, от нетерпеливого любовника, бесстыдного, неутомимого всадника. Одна рука парализованная висела, уже не рука – ненужная вещь. Мария поймала другую, распухшую, горячечную, прильнула к ней губами. На мгновение он затих, не глазами, а кожей как бы уловив что-то знакомое, или это ей показалось, но затем новая волна боли накатилась, унесла его.

Вывели княжну по приказу Меншикова, вели под руки, почти тащили, она отбивалась, все куда-то спешили, сходились, расходились, толкались, вдруг останавливались, замирали. Она поняла – ждут конца. Внизу, в темном вестибюле, графиня Апраксина и адмирал Крюйс выпивали прямо из бутылки. Апраксина предложила Марии глотнуть, сказала откровенно: „Скорей бы отмучился“. Макаров проводил княжну на набережную, усадил в сани.

На похороны императора она не пошла, не хотела видеть его в гробу, слышать панихиду, речи. Но спрятаться от его смерти не удавалось. Эта смерть все кругом превращала в воспо-

минания. Не стало ни настоящего, ни будущего. Целыми днями она сидела у окна, тупо глядя на ледяную гладь Невы. Поземка закручивала снежные космы, редкие прохожие, редкие сани не нарушали морозной опустелости. Непонятно было, куда все подевалось, зачем этот город. Ее пытались развлечь: гости, разговоры, музыка, она слушала, отвечала, переодевалась, ничего не воспринимая. Внутри все замерзло, и то, что происходило вокруг, казалось фальшивым, жизнь лишалась смысла. Она вдруг увидела, что все эти люди оказались тоже без смысла.

Смерть Петра подвела черту, за которой ничего не было. Ее собственная судьба завершилась.

Весной она стала выезжать. Молодая ее натура против воли выкарабкивалась из отчаяния. Человек не знает своей судьбы, то, что она считала концом, оказалось лишь эпизодом, ей суждено было еще много прожить и пережить.

Волосы ее заблистали сединой, она теперь редко поднимала глаза, на бледном лице появились морщины, но странное дело, она привлекала мужчин больше, чем прежде. Безучастная к своему телу, она словно отпустила его на свободу. Когда она шла, тело ее струилось, бедра, плечи вели игру, неведомую ей, и бледность и седина красили ее, и опущенные глаза заставляли ждать, когда она их поднимет. Успех оставлял ее равнодушной, но ее домогались еще настойчивей. Говорили, что кое-кому удалось добиться своего. Предложения о замужестве она отклоняла. Сваты уезжали ни с чем, свахи звали ее блажной, царской зазнобой.

...Княжна заявила, что замуж не собирается. Толстой ходил, шаркая ногами, показывал на портрет Петра, который княжна повесила в зале, на медали с его изображением, разложенные на столах: обо всем этом ее величеству было известно. „Двух вдов у государя быть не должно", – голосом подчеркнул Толстой, так чтоб все слышали, и ладонью прихлопнул.

Предупредил, что этого „не потерпят". Сослался на Меншикова. Мария помнила последние слова Петра, такова была

и его воля. Новый жених говорил по-французски, хорошо танцевал, был с ней нежен. Несколько раз они встретились. Когда он стал ее целовать, она оттолкнула его и заплакала. Ничего не могла с собою поделать. Извинилась перед молодым князем, сказала, что о замужестве не может быть и речи.

Двор не отступился. В следующий раз Толстому придали в спутники генерала Павла Ивановича Ягужинского, которого он терпеть не мог.

Выбрали его не случайно, знали, что он стал мил княжне после скандала в Петропавловском соборе. Во время всенощной Ягужинский появился перед гробом Петра, сдернул парчовое покрывало, закричал: „Посмотри, государь, что делается! Меншиков творит обиду за обидой. Грозится шпагу снять с меня. Ты меня жаловал, а ему я мешаю, неудобный!“

Службу прервали. Наступила тишина. Все, замерев, смотрели на гроб. Было страшно.

– Эх, не слышишь ты! – воскликнул в отчаянии Ягужинский и хмельно разрыдался.

Назавтра доложили государыне. Меншиков требовал судить обер-прокурора. Шпаги уж наверняка лишить. Внезапно все соединились против Меншикова отстаивать Ягужинского, один за другим просили государыню за него, напоминали, как покойный государь благоволил к нему, выделял его особо: „Если что осмотрит Павел, я это знаю, будто сам видел“.

Выходка его многим потрафила. После смерти государя никто не осмеливался остановить Меншикова, с каждым днем он набирал своеволья. Ягужинский выглядел героем.

От него пахло одеколоном, камзол блестел серебряными пуговицами. Поклоны, комплименты, все у него было высшего класса, украшено белозубою улыбкой.

Управиться с княжной оказалось не просто. Приезду их она удивилась. Чего они ездят, ее замужество не такая серьезная вещь, чтобы занимать высших сановников. Зачем они ратуют за жениха, знают ли, что он ни к чему не пристроен, может, по негодности? Сами-то они исправно служат, граф Толстой,

несмотря на почтенные годы, успешно несет свои должности, генерал Ягужинский с юности у государя денщиком старался, ему ли не знать, что государь велел считать всех дворян по годности, терпеть не мог лоботрясов.

– Ты с нами не равняй, – остановил ее Толстой. – Я опора власти был и остаюсь, без меня не обойтись. Слишком я велик для твоего примера.

Княжна произнесла по-итальянски: „U om, se'tu grande o vil? Muoru e il sopra!“ Перевела Ягужинскому: „Велик ты или мал? Умри и узнаешь“.

Впрочем, тут же задумчиво исправила: „Узнаешь перед смертью“.

Упоминания о смерти Петр Андреевич не терпел. Недавно один из молодых вельмож, приехав из-за границы, встретил его и весело удивился: „Ты еще жив, старик?“ За эти слова граф его возненавидел и постарался упечь на малую службу в Омскую губернию.

Ягужинский примиряюще расшаркался – возможно ли подыскать жениха, подходящего княжне по уму, образованию, красоте, да к тому же с должностью?

Но они же не искали другого, плохие они сваты, смеялась княжна, пусть найдут роста высокого, знающего языки...

Ягужинский опасался – капризов государыня не потерпит, жениха Меншиков скорее всего найдет из своих мюридов, обвенчают хоть насильно, раз есть согласие государыни. Но Толстой успокоил княжну: Меншиков хоть и в силе, так ведь не одной головой свет стоит, мы тоже кое-что значим, есть и на черта грех. Меншикова он нынче не боялся, вот государыню следует уговорить.

Разговор зашел о светлейшем князе. Мария вдруг глаза закрыла, сказала медленно то, о чем впоследствии Ягужинский вспоминал, – от Меншикова им добра не будет, у него свои планы, большие планы, кто ему поперек дороги станет, того сметет. Вещала, будто цыганка. Антиох недоверчиво хмыкал, Толстой же отечески прикрыл ее руку своей морщинистой рукой.

– Девочка, учить ученых только портить, слава богу, мы и сладкое пробовали и кислое.

Ягужинский, тот посерьезнел, сказал, что кассандрами бывают женщины, мужчины же не ведают будущего.

В итоге сватовство ни к чему не привело. Неудача огорчила Толстого: он обещал государыне успех, заверил, что Мария слушается его, считает опекуном. Помрачнев, он дал понять княжне – таких любовниц, как она, у царя было много, напрасно она из себя единственную-ненаглядную изображает, не пристало ей так вести себя, пересуды возбуждать, императрице перечить.

Затряс кулаком, брызги летели из щербатого рта. Уехал, не прощаясь, обругав княжну дурой несмышленой, безумицей.

Генерал Ягужинский остался, выпил вина, повел княжну показывать свою новую карету. Карета блестела янтарными ручками, отделана изнутри малиновым шелком, снабжена ящичками, зеркалами. Прежняя была тоже хороша, недаром ею пользовался для выездов сам государь. Кареты были страстью Ягужинского. Покатались по набережной. Карета ехала мягко, сидеть было удобно. Ягужинский советовал княжне укрыться на время в Москве, подальше от двора. Он и сам думал удалиться куда-нибудь за границу послом. Время честной службы кончилось. То, за что ценил его покойный государь, – прямота, новые идеи – ныне только мешают карьере и вообще могут погубить.

Вскоре Ягужинский и впрямь отбыл послом в Польшу. Княжна, следуя его совету, уехала в Москву. Жила там уединенно. Вернулась в Петербург незадолго до кончины императрицы, и тут что-то произошло с ней, никому не ведомое, страшное. Однажды она куда-то уехала, вернулась домой поздно вечером сама не своя. Ничего нельзя было от нее добиться, она зажимала уши, вела несвязную речь. Непричесанная, в халате, лежала, бродила по двору, пугая слуг и сама пугаясь. Пытались показать ее врачам, но она в ужасе убегала, пряталась. Антиох не разрешал заточить ее в комнате и насильно лечить.

Приходила она в себя медленно. Красота поблекла, черты заострились, обрели злую надменность. Какая-то тайна окружила ее. Угрюмый взгляд отталкивал, при дворе были уверены, что она скрывает какую-то греховную любовную связь. Меншиков всячески обхаживал ее, привлекая на свою сторону от Долгоруких.

Смущали ее суждения, резкие, по тем временам опасные. Столицу сотрясали крутые перемены. Жизнь зашаталась, самые прочные фамилии накренялись, рушились. Неожиданно для всех разжаловали и сослали графа Толстого. Винили в этом Меншикова, он расправлялся с противниками, одного за другим убирал по дороге к престолу и вдруг, почти у самой вершины, сам поскользнулся и рухнул, да как!

Ягужинского вернули из Польши. Встретив Марию в Летнем саду, он не сразу узнал ее. Темное платье, черная лента на шее, волосы седые, гладко зачесаны на пробор. Ягужинский галантно раскланялся, взял ее под руку, сопровождая, напомнил ее предупреждение графу Толстому, сказал, что тогда на него пахнуло запахом нечистой силы. Чем она пахнет? – безулыбчиво спросила княжна. Смеясь, он признался, что это запах Вельзевула, запах серы. И тут же сказал, что ничто так не волнует мужчин, как женщины-пророчицы. Быть Кассандрой – значит обладать великой властью. Княжна холодно отвергла радость такого дара, это не дар, это наказание. К чему предвидеть, если не в силах предотвратить. Незнание будущего лучше, оно заставляет бороться, позволяет наслаждаться настоящим, игрой случая и ожидания. В ее словах звучала злость, как будто она действительно видела наперед, что случится. Ягужинский, человек мужественный, к тому же беспечный, смутился, уловив в ее словах намек на непрочность молодого государя Петра Второго. Сделал вид, что не понял, но через месяц Петр Второй скончался в Москве.

Он говорил друзьям о княжне: „Опасная голова, и не хочет прикинуться глупой“.

Новый двор Анны Иоанновны приглашал ее на приемы, сделал фрейлиной. Являлась она исключительно ради Антиоха.

Свое собственное будущее она уже перечеркнула, ей осталось перебирать прошлое и любоваться успехами Антиоха. Талант его расцветал, Антиох отличался успехами в языках, в политике, более же всего в сочинительстве. Стихи ходили по рукам, возбуждая интерес к молодому писателю с такой знатной фамилией. Жанр сатиры был в новинку в России. Сам Антиох одновременно со всем пылом отдавался и политике, выступал за продолжение реформ Петра Великого, против хулителей просвещения. Его любовь к покойному государю перешла в обожание. Время Петра было для него утраченным „золотым веком, в коем преседала мудрость“.

Он тосковал о той деятельной эпохе, конец которой он успел вкусить. Ныне Наука скиталась в жалком рубище, осиротелая, никому не нужная. Взлет ее прервался.

Тем временем старший его брат, пользуясь влиянием своего свекра Дмитрия Голицына, заполучил наследство – владения покойного отца. Антиох и Мария лишились большей части состояния. Средств не хватало. Княжна, использовав связи, устроила Антиоху назначение послом в Лондон.

В ее саду у пруда стоял высокий белый камень, привезенный еще отцом. Зимой камень был теплым, снег на нем не держался. Когда Мария приходила, слетались снегири, дятлы, березы начинали шуметь, стряхивали непрочные листья. Дул сырой ветер, в этом движении оживало то, что когда-то происходило в саду и в доме, она снова получала поцелуи, ощущала прикосновения.

Однажды он взял ее на руки, поднял к самому потолку. В Астрахани, когда она была уже беременной, Петр привез ей персидский халат, нарядил, обвязал голову чалмой, нарисовал углем усы...

Нельзя дотянуться до того, что было, можно достать то, что будет, но она отворачивалась от будущего, ей хватало прошлого. Тех минут было достаточно, они набухали подробностями, пускали ростки. Заточенные в них события, звуки, краски

сохранялись, как сохраняется в семени весь облик цветка. Она перебирала эти минуты, взращивала их. Его прикосновения, кожа на руках была грубой, мозолистой, а формой безупречны и пальцы и кисть.

Похоже, он смутился, обнаружив, что она девушка. Глаза его округлились, он что-то забормотал, умерил свой пыл. Она с улыбкой всматривалась в это воспоминание, в свой страх и в первое незнакомое наслаждение. Винный запах и запах греха, и запах конюшни... От него часто пахло конюшней.

Чем глубже она зарывалась в прошлое, тем больше находила там сладостных минут.

Размахивая жезлом, он изображал тамбур-мажора, требовал, чтобы все топали в лад. Начав игру, он вовлекал остальных. Всем маршировать, всем присвистывать! Во время фейерверка от восторга хлопал в ладоши. Блики огней отражались на его лице, застревали в усах, высвечивали желтым блеском кошачьи глаза. Значит, она не в небо смотрела, а на него. Ей нравилась его детская страсть к играм.

Граф Толстой, тайный советник, первый министр Тайной канцелярии и прочая и прочая, скончался в каземате Соловецкого монастыря спустя ровно четыре года после кончины императора Петра Первого.

Весть о его смерти в столице впечатления не произвела. Никого не занимали герои петровских времен. Новые фавориты, новые домогатели взлетели на небосклон. Слава мира проходит быстрее, чем это кажется потомкам.

Княжна была единственной, кто заказал панихиду об усопшем. Вместе с Антиохом они со свечками в руках отстояли службу в Семионовской церкви.

Пел хор, пахло сырой одеждой, ладаном, воск теплой коркой застывал на пальцах.

– ... молимся об упокоении души раба Божиего Петра, да простится ему всякое прегрешение, вольное и невольное.

Антиох покосился на сестру, она кивнула – да простится! А тогда не простила. Перед отправкой в Соловки граф послал за

ней. Другие побоялись прийти, Ушаков убоялся, и Ягужинский убоялся, а она приехала.

Старик сидел у каретного сарая. Двор его особняка был полон солдат. Конвой готовил возки к отправке. Во дворце умирала государыня Екатерина Первая, а тут, на Петербургском острове, не было ни беспокойства, ни молебнов во здравие, здесь царила спешка, офицеры подгоняли солдат, приказ был от Меншикова отправляться в ссыльную дорогу, не медля ни минуты.

Несмотря на теплынь, Петр Андреевич кутался в накинутый на плечи нагольный тулуп. Приговор оглушил его, лишенный состояния, всех званий, он разом свернулся в сгорбленного старца.

Увидев Марию, он потянулся к ней, схватил ее руки, стал целовать, благодарил, что приехала, не убоялась, преданная душа, недаром он всегда держал ее как родную, вместо дочери, подарок ему Господь принес, в ней вся надежда, правильно князь Дмитрий ею гордился, и умом ее, и красой, был бы князь жив, не допустил бы, чтоб так изничтожили верного слугу государя. И кто – вор, супостат – Меншиков. С государыней императрицей не дал проститься, шутка ли, его, слугу ближайшего, не допустили, оклеветали, Меншиков подсунул ей бумагу, полную изветов, воспользовался, что царица металась в горячке, невесть что наушничал, заговорщиком изобразил. Каиново потомство, извратитель, вероломец, так выставить его, Толстого. Забыли, какие услуги он оказывал. Ах, как несправедливо!..

Мелкие слезы катились, застревали в седой щетине, он захлебывался, долго надсадно кашлял, клял светлейшего во весь голос, не боясь дежурного офицера.

Протянул Марии бумагу, его всенижайшее прошение ее величеству заменить Соловецкую тюрьму на монастырь, хотя бы в Карелии или на Урале, не вынести ему соловецкой зимы, стар он, немощен, и чтобы его сына-недоумка Ивана пощадили.

Ей, Марии, царица не откажет, княжна-заступница сумеет вымолить, иначе пропадет он. Отправляют без одеяла, драгоценностей лишили, псалтырь и тот не дают с собою взять.

Мария отталкивала бумагу, но вдруг глаза ее сверкнули, взяла бумагу двумя пальцами, медленно разорвала, с усилием еще раз, бросила на землю, придавила ногой.

– Ты что делаешь! – Толстой вцепился в нее, почуяв что-то и не понимая, не веря. – Боишься? За меня просить боишься, забыла, что я делал для тебя?

Она губы стиснула, ответила ему таким взглядом, что он выставил руку, заслоняясь, закричал:

– Окаянная, купили тебя! Да что ж это творится, кто замутил твой разум? Господи, за что, за что? Не будет тебе прощения, если отступишься от меня, – он схватил себя за голову, выл и стонал, раскачиваясь.

– Прокляну, – сказал он вдруг обыденно и серьезно. Пригрозил, что весь род Кантемиров проклянет. Голову к небу поднял, глаза закатились. Взывал истово, с верой. В другое время Мария испугалась бы, а тут, как рассказывала Антиоху, слушала, удивляясь человеческой природе, произнесла спокойно, тихо:

– А младенец мой? Младенец, помнишь? Что ты с ним сделал?

Покачивая головой, говорила, словно объясняла ему: Господь уже покарал графа и еще сильнее покарает, и не Меншиков тому виной... Сама не понимала, откуда в ней твердость такая была и уверенность, словно бы приговор зачитывала. Он замахал на нее руками, отгоняя нечистую силу, хотел остановить Марию, но она назвала грека, и еще раз, чтобы до него дошло, что Паликула объявился, в предсмертный час призвал ее и проклял графа.

Толстой зажмурился, слышать не желая, она поняла, что слова грека были правдой, да и не стал бы грек клеветать, смерть стояла у него в головах, дожидаясь, когда он закончит признание, смерть дала отсрочку, отступила перед его мольбой. Из последних сил шептал вразброс – сколько денег получил, чем плод вытравлял, граф не свои деньги давал, известно, кто главный интерес имел, потому что граф получил себе прибыль, а государю доложили, чтоб от нее не ждал...

Черты лица Паликулы обретали восковую прозрачность, застывали, взгляд туманился, двигались только серые губы, и где-то в голове еще работал, спешил мозг.

...Тот настой, зеленый, тягучий, который он вливал ложками ей в рот, подтвердил Паликула, она вспомнила сладко-вонючий вкус, и ее вытошнило тут же, у постели умирающего. Кто-то вытер ей лицо, она ничего не замечала, тормошила грека: „Зачем, зачем это делали?", ничего другого уже не могла спросить, холодная бездна разверзлась, и она летела туда, бедный разум не мог остановить ее, сознание пошатнулось, если б не Антиох, она бы не вернулась, она не хотела возвращаться к этим людям, к тому, что творилось в этом мире.

„Зачем вы сделали это?" – повторяла она, когда к ней обращались.

С того года волосы перестали виться, туго зачесанные на пробор, придавали ей строгий монашеский вид. Она вглядывалась в людей, словно что-то ища и не находя.

Толстой скинул полушубок с плеч, распрямился. Более не запирался: да, он исполнил волю пославших его, согласился, чтобы избавить Марию от большей беды. Родила бы – и что, что тогда? – торжествуя, допытывался он, – разве позволили бы ее мальчику вырасти? Отравили бы его, придушили, всяко устранили бы. При живом государе не постеснялись бы.

Слюна летела из его беззубого рта. Он простирал сухие руки, обсыпанные старческой гречкой, обличая и Меншикова, и двор, и государыню. Рыжие пятна выступили и на лице, словно он весь был изъеден ржавчиной. То, что он рассказывал, было страшно. Могли и княжну прикончить, хватка у Меншикова волчья. О других выблядках Петра не тревожились, ребеночек же княжны, к тому же и мальчик, был желанный, ждал его государь, известно это было, желанная была и княжна, вот откуда шла угроза, самая прямая, потому, как стоило государю жену неверную убрать в монастырь, тут же и Меншикову конец, только на ней он и держался. Никак нельзя было Кантемирово дитя оставлять, извели бы безо всякого сомнения.

Так она хоть не видела ребеночка живым, личика его не знала. Нет, не ведает она, от какого горя он спас ее. Какой ради нее грех взял на душу. Его, Толстого, числят пытчиком немилосердным, да, он ни с чем не считался, чтобы зло пресечь, врагов государя устранить. Он слугой был верным, самым верным, потому что всю грязь на себя брал, все розыски, экзекуции... Другие уклонялись, а он чинил казни, самолично пытал без милосердия. Потому Россия и укрепилась, перестала бунтовать. Никому не спускали за непристойные слова про его величество и благоверную государыню. Ноздри вырезали, языка лишали. Без этого давно страну бы расшатали. Думал он открыться государю, так ведь тоже не видно было, что получится. Как бы государь повел себя, неведомо. И какое расстройство могло в государстве произойти.

Наклонился к Марии, приблизил лицо, так что дохнуло гнильем изо рта, – могли и государя кончить! Не остановились бы!

Если бы не он, Толстой, кто бы сейчас на троне сидел – Алексей Петрович, царствие ему небесное! Правил бы с бородачами, а Меншикова ладно бы в темницу, скорее же всего голова бы его торчала уже на колу. Это он, Толстой, сколько раз государя от заговорщиков спасал, его Тайная канцелярия государству крепость дала, императора Великим сделала. Военные победы ничего не значат, когда в стране порядка нет. Государыня короной своей не Меншикову, а ему, Толстому, обязана. .. Хуже собак, собака старое добро помнит! Что значит ее недоносок перед делами Толстого! Как посмела Мария судить его?

А она уже неслась без оглядки. Что Меншиков, Меншиков никого не убивал, это он, Толстой, убивец, с государыней заодно, убивцы, недаром Господь их в одночасье опроверг.

– Не предавай меня, Господи, на произвол врагам моим! Восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Ту, что спас, ту, что холил, и та от меня отвернулась. Кругом напраслины, нет мне ни награды, ни защиты, за что так? Нет, не отступлюсь!

Ярость саможженца бушевала в его воплях. Глухие души, каменные сердца, не он ли склонял государя к ее красе, кто растил их любовь, лучшее, что было в ее жизни...

Церковь была пуста. Стояли они вдвоем, она с Антиохом, горели свечи. Теплый воздух дрожа поднимался к голубому куполу. Глаза святых смотрели на них.

Голос молоденького пономаря взывал: „Прости ему всякие прегрешения".

Неужели она простила Толстому его злодеяния? – недоумевал Антиох.

В том-то и стыд ее, что не могла простить, поэтому и заказала отпевание и молилась, чтобы найти в себе силы для прощения. И Паликула умер, не получив от нее прощения. Толстого Петра Андреевича увезли при ней, запихали в повозку, кинули туда мешок со всем его скарбом – подушкой, валенками и медными кружками. За повозкой шагал отряд конвойных солдат чуть ли не в сотню человек, следом обоз, десяток телег. С повозки Толстой слабым голосом кричал: „Верую, что увижу благость Господа на земле живых!" и грозился кулачком.

Священник спросил, поминать ли князя Меншикова? Весть о смерти Меншикова пришла из Сибири одновременно с вестью из Соловков.

О Меншикове княжна не скорбела. Не было жалости в ней ни к кому. Все они властолюбы, властохваты, пожирали друг друга, все были обречены. Не пожалела она и Ивана, сына Толстого, которого тоже отправили в Соловки.

Толстой умирал на соломенном матрасе в сырой монастырской темнице. В те же дни его заклятый враг и погубитель Меншиков помирал в промерзлом сибирском городишке Березове.

Антиоха поражало совпадение их судеб. Оба ближайшие сподвижника Петра сцепились в смертельной схватке и погибли. Толстой боялся, что к власти придет сын царевича Алексея, отомстит ему за смерть отца. Меншикова сгубила ненасытная жажда власти. Такая же судьба ждала и графа

Остермана, того, кто свергал Меншикова, он тоже будет сослан в Березов, где также умрет позабытый всеми, еще недавно всемогущий правитель России. А в Соловецкую тюрьму отправятся вскоре и оба князя Долгоруких, которые валили Меншикова.

С молодой безжалостностью Антиох рассуждал о причудах русской истории. Немудрено, что она непредсказуема, если продажный грек-лекарь может изменить судьбы царствования. Россия могла бы получить наследника из рода Кантемиров, чистых царских кровей, вместо худородных немцев...

– О, тщета человеческих сует! – восклицал он. – Ничтожный случай сотрясает империю, могучий князь превращен в бессильного арестанта. „Взвесь Ганнибала, в вожде величайшем найдешь ли ты много фунтов, – декламировал он Ювенала. – И это тот, кого Африка еле вмещала!“ Петра также не вместило его время. Теперь-то мы видим, что то был золотой век.

Марии нравилось, что он поклоняется Петру, ревнителю просвещения, науки.

– У Петра были десятки помощников и миллионы противников. Без него враз обездомили науку, она ныне скитается в рубище, сиротой, – говорил он про Академию наук.

Царствие Петра, горевал он, оборвалось в самый решающий момент, перед переходом России к веку искусств и наук. Сумел бы Петр воплотить свои мечты? Что-то смущало Антиоха. Мальчиком он замечал, как кругом боятся Петра. Однажды граф Толстой рассказывал Антиоху, как венециане в своей Венеции веселятся, ни в чем друг друга не задирают, страху не имеют, живут, не оглядываются на своего правителя, „Не то что мы“, – с тоской вырвалось у него.

Верность петровскому гению вовлекала Антиоха все сильнее в дворцовую политику. Мария боялась – не могло это хорошо кончиться. К тому же здоровье его стало портиться. Когда он уехал в Лондон, она еженедельно слала ему обстоятельные письма. Он него приходили рукописи, она заказывала их писцам и затем раздавала – пьесы, эпиграммы, сатиры – его почитателям.

Затем его перевели послом в Париж. Но он уже тяжело болел, скоротечная чахотка свела его в могилу на взлете таланта. Ему было тридцать шесть лет, он много успел, но еще больше от него ждали.

Похоронив его, Мария уединилась. Она как бы выпала из времени. Более ничего не привязывало ее к жизни. Иногда ее можно было встретить в Петропавловском соборе у гробницы императора. Она появлялась там с цветами в какие-то, известные ей одной, даты. Поэт Сумароков встретил ее однажды у Летнего дворца. Он знал лишь, что она сестра Антиоха Казимира, память которого чтил. В облике этой женщины ему запомнилось высокомерие на морщинистом, темном, обугленном лице.

Во времена Елизаветы о ней вспомнили перед празднованием семидесятипятилетия со дня рождения Петра Великого. Связано это было еще и с тем, что пошли слухи о скрываемом внебрачном сыне императора. Елизавета пригласила княжну к себе, но княжна сказалась больной.

Тогда к ней был послан князь Трубецкой, с подарками. Князя сопровождал историк Миллер.

Весна в тот год была ранней, все уже цвело. Во дворце Кантемиров полно было цветов. Княжна Мария ходила, опираясь на палку. Она усадила Трубецкого напротив себя. Миллер хотел было сесть в гобеленовое кресло, но княжна показала ему на обыкновенное, пояснила, что то кресло петровское. Может быть, это рассердило Миллера, потому что он довольно грубо принялся расспрашивать княжну о ее отношениях с государем. Княжна отвечала свысока, не стоит трогать того, что покоится, много еще остается от великого имени, но совсем не то, что ищут. После этого она беседовала с Трубецким, не обращая внимания на Миллера.

Вслед за Трубецким во дворец Кантемиров стали наезжать иностранцы, прослышавшие о последнем царском романе. Более всего хотели узнать о судьбе ее ребенка. Вели они себя бесцеремонно, княжна запретила их принимать. Двор был недоволен этой шумихой. Удачливей других оказался немец Якоб

Штелин. Возможно, он действовал по просьбе канцлера, не исключено, что и с ведома самой императрицы Елизаветы. Разумеется, выступал он от своего имени, как член Академии, собиратель сведений о Петре Великом, рекомендованный Нартовым, Бутурлиным, новым фаворитом Елизаветы Петровны.

Матово-смуглое лицо княжны было как бы в трещинках, оно напоминало Штелину старые иконы, безулыбчивое, надменно-отрешенное. Из-под платка виднелись гладко причесанные седые волосы.

Две старушки принесли початую бутылку вина, рюмки, тарелку орехов с изюмом, уселись тут же, позади княжны. Щербатая посуда, старушки в суконных потертых кацавейках, немытые окна. Горел камин. В хрустальной вазе стоял высохший букет. Отовсюду выглядывала бедность.

Штелин пытался представить, какой была княжна в молодости, чем могла привлечь Петра.

Губы старчески поджаты, потеряли чувственность. Профиль же безупречен. Профиль с возрастом мало меняется. Пергаментно-сухая, прозрачная, овал лица уже не овал, а обвал. Под пеплом еще тлел огонь, иногда глаза ее вспыхивали черным блеском, большей же частью слушала его скучливо, пила вино рюмку за рюмкой.

Поскольку он собирает анекдоты о Петре, ему хотелось бы услышать от нее обстоятельства их романа. Об этом много толкуют, однако в своей книге он стремится к точности, и для него великое счастье, что он имеет честь получить сведения из первых рук.

Княжна величественно кивала, вдруг спросила: „Вы член Академии наук? Посмотрите, в какое посмешище они превратили вашу Академию, разве о такой Академии мечтал Петр?“

Далее она завела разговор про то, как царский двор именем Петра бесчестно прикрывает свой срам. Все пороки, с которыми так боролся Петр, выпущены наружу. Двор – вместилище лжи, доносительства, беспутства, подкупов, беззакония... Петр поднимал страну, они ее низвергают. История России остано-

вилась. Вместо нее тянется хроника празднеств, свадеб, юбилеев, фейерверков.

Это было направлено в его адрес. Добропорядочный Якоб Штелин виновато склонял голову, краснел, оправдывался трудами по сбору анекдотов, чтобы сохранить подробности жизни замечательного человека, почитание которого служит славе России. Он, Штелин, разделяет ее благоговение перед личностью покойного императора. Тут он вновь перешел к ее отношениям с государем. Любовь к такой женщине была бы украшением истории царя, любовь возвышает любого монарха, тем более Петра, которого винят в жестокости.

Обычно женщины охотно расписывали ему свои романы с Петром, они и приукрашивали, и сочиняли, эта же уклонялась, и Штелин никак не мог пробиться дальше.

Она перебирала судьбы соратников Петра, его выкормышей, его птенцов – Меншиков, Долгорукие, Бестужев, Иван Бутурлин, Толстой, Девиер, Голицын Дмитрий, Остерман – кто сослан, кто казнен. Почему они истребляли один другого, почему не соединились продолжать дело своего императора? Их место заняли пришельцы, плохо говорящие по-русски, холодные, чужие лица, которым нет дела до России.

Штелин ежился, кряхтел, хотел уйти от этого опасного разговора. Ни от кого он не слыхал подобных обличений.

Злости у княжны не было, врагов – и тех, по ее признанию, у нее не осталось. Мир, в котором она обитала, отделился от той жизни, в какой жил Штелин и все придворные люди. Оттуда она видела их всех и Штелина без подробностей, прищурясь, словно разглядывая мелких насекомых, о чем-то они жужжали, копошились, может так, как их будут видеть спустя много лет.

Вновь он попытался вернуть ее к тем давним временам, когда, судя по всему, государь после истории с Монсом собирался расторгнуть брак с Екатериной и жениться на Марии Кантемир. Так ли это? У княжны есть возможность увековечить свое имя. Какой смысл скрывать столь важную и лестную для нее историю. Не получив ответа, он добавил к своей просьбе

просьбу канцлера узнать – имеют ли основания толки в обществе о ее сыне, где он, что с ним? Есть ли у нее какие-нибудь письменные свидетельства касательно этой материи?

Не отвергая, княжна разглядывала его, прищурясь словно в увеличительное стекло.

Со всей деликатностью Штелин намекнул и на интерес императрицы в силу родственного чувства.

Помолчав, княжна вышла, вернулась с небольшим железным ларцом. Поставила его на стол, открыла ключиком, извлекла оттуда два портрета, обрамленных драгоценными камнями. Один портрет Петра в латах, другой портрет молодой женщины. Близоруко щурясь, Штелин спросил, не она ли это? Княжна ответила, что это давно уже не она, с этими словами бросила портрет в горящий камин. Штелин ахнул, ответа ее не понял, не понял и что она делает.

Там была еще толстая пачка бумаг, взяв сверху несколько листков, княжна начала смотреть их, брови ее изогнулись, „подумать только“, – пробормотала она и сунула их тоже в огонь.

Вечером того же дня Штелин описывал своему другу Хагену из Дрездена, профессору истории, как он пытался удержать княжну, а она „предавала огню лист за листом“. Штелин умолял ее, она просила его не огорчаться, потому что никто правильно не поймет, зачем все это было написано. Там была ее переписка с Антиохом, дневник и несколько записок Петра. В конце концов, она взяла всю пачку, взвесила ее в руке и швырнула в камин. Пламя, придавленное тяжестью, расступилось, потом желтые язычки стали выбиваться, лизать бумагу, листы ожили, зашевелились и, поднимаясь, вспыхивали один за другим. Зрелище было невыносимо для Штелина, он рванулся к огню, княжна выставила руку, остановила его.

Пламя разгоралось, Штелин чуть не плакал, как можно учинять такое варварство, княжна совершает преступление, он захлебывался, молил ее, готов был наброситься на „полоумную мегеру“, как он писал в письме.

Опираясь на подлокотники, она медленно поднялась, встала над ним, высокая, прозрачная как привидение, безмолвные

старушки тоже встали. В неровном свете пламени костлявое лицо княгини то появлялось, то исчезало, и вдруг оно страшно исказилось, ощерилось, заговорило, но еще страшнее было то, что она произносила мертвенно-белыми губами. Штелин даже не осмелился привести в письме к своему другу тех кощунственных слов. Смысл был тот, что преступник не она, преступник сам государь! У него никогда не было сына, у него были только наследники. Из-за этого он принес в жертву первого своего сына, сгубил, из-за этого ему сгубили и последнего его сына. Они расправились с наследником, вытравили его, но ведь это был не наследник, это был ее ребенок, Петр ждал не ребенка от нее, ему нужен был наследник.

Она тыкала пальцем в петровский портрет и спрашивала Штелина, стоила ли эта власть, этот ничтожный двор, этот престол таких жертв. Какая же это любовь? Теперь, в конце жизни, она уже не знала, любил ли он ее, или добивался только наследника.

Государь обездолил ее, из-за него она осталась одинокой, пустой.

Острый ноготь царапал лицо Петра, а в камине корчились, превращались в пепел свидетельства, единственные, бесценные документы неизвестных петровских чувств, дел... „Противно и стыдно жить в этой стране, – ее слова, которые он вспомнил, и как она потом добавила для себя: – ... а в другой не могу“.

Все это было ужасно, ужасно было и то, что он не мог ничему воспрепятствовать.

Она сжигала не только бумаги, она сжигала и то лучшее, что было в ее жизни. Штелин опасался привести в письме ее откровения. В своем ответе Хаген спокойно напоминал своему другу про юридическое право владелицы бумаг, она могла их уничтожить, она не хотела войти в коллекцию анекдотов, и формула княгини не должна его огорчать, это так типично для русских и для немцев – не любить свою родину и страдать без нее. „Нас роднит с русскими, – писал он, – чванство пополам с чувством неполноценности, отвратная смесь“.

Позже Штелин разобрался – слухи во дворе пошли оттого, что сыном Петра она иногда называла Антиоха, конечно приемным, нареченным, ибо государь любил его по-отцовски, в сущности, он во многом был созданием Петра, сын по духу, что сильнее, чем по крови.

Добросовестность не позволила Штелину включить эту историю в свою книгу. Перед ним долго еще являлась княжна в отблесках пламени, словно сама всходила на костер. Ничего больше не привязывало ее к жизни. Впервые перед ним предстал человек, лишенный и прошлого и будущего. Она отказалась от воспоминаний и от надежд.

„Мы знаем с тобой, дорогой друг, что жизнь лишена смысла, – писал Штелин. – Суета наша благодетельна, ибо щадит сознание перед ужасом пустоты. Но тут я увидел ничем не прикрытую бессмыслицу жизни. Боже, во что превратилась ее любовь. Неужели княгиня права? Не хочу об этом думать“.

Канцлера его сообщение о духовном сыне Петра покойном Антиохе Кантемире удовлетворило. Императрица распорядилась пожаловать княжне в память заслуг отца и брата псковскую деревню в сто душ. Пока выправляли бумаги, княжна тихо скончалась.

На похоронах князь Трубецкой сказал, что покойная была из тех женщин, что рождены для любви, и судьба наградила ее большой любовью. До конца своих дней княжна Мария сохранила верность великому государю. Величие женщины определяется не тем, кого она любит, а тем, кто любит ее. По духу, по уму, по знатности она была достойна гения Петра, недаром, умирая, он звал ее.

Откуда он это взял, Штелин выяснить не мог.

– Я тоже, – вдруг добавил Молочков.

Это замечание вернуло нас на галерею, где мы коротали вечера вдали от телевизора, дежурных сестер и бара.

– А что, все так и было? – раздумчиво спросил Дремов.

Молочков кивнул.

– Наверное.

– Или вы сочинили?

– Я сочинил то, что могло быть.

– Да-а, – протянул Дремов. – Не может быть у счастья счастливого конца.

– Вы уж извините меня, – профессор поклонился, – но мне иногда кажется, что вы, Виталий Викентьевич, там присутствовали.

Молочков засмеялся.

– Мне тоже так кажется. К сожалению, это не помогает.

– То есть?

– Ничего достоверного от них не узнать.

– А если б вы встретили Петра? – спросил Гераскин.

– Допустим, я его встречал.

– И что?

– А ничего, все они тоже сочиняют...

В тот последний с нами вечер он говорил так просто и весело, что мы не увидели в его словах ничего странного.

СОДЕРЖАНИЕ



Фонд памяти светлейшего князя А. Д. Меншикова

31 мая 1995 г. в поселке Берёзово, где отбывал ссылку и скончался А. Д. Меншиков, был создан межрегиональный некоммерческий благотворительный Фонд памяти светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова.

Фонд является организацией, не имеющей членства, и всю свою работу строит на добровольной основе. Главным направлением деятельности Фонда является пропаганда заслуг А. Д. Меншикова как государственного деятеля и военачальника. В соответствии с этим Фонд поддерживает научные исследования, в том числе архивные изыскания и археологические раскопки, посвященные жизни и деятельности А. Д. Меншикова, а также усилия отдельных лиц и организаций по охране и восстановлению памятных мест и архитектурных сооружений, связанных с именем А. Д. Меншикова.

Целью создания и деятельности Фонда является:

1. Содействие охране и должному содержанию зданий, объектов и территорий, имеющих историческое и культовое значение и связанных с жизнью и деятельностью светлейшего князя А. Д. Меншикова.

2. Создание историко-культурного памятника «Град Берёзов». Содействие поиску места захоронения А. Д. Меншикова в Берёзове, государственной регистрации, финансированию и функционированию Берёзовской православной общины церкви Рождества Пресвятой Богородицы, учрежденной А. Д. Меншиковым в 1728 г.

3. Оказание помощи и содействия православным общинам.

4. Осуществление работы Научно-исследовательского центра Фонда памяти светлейшего князя А. Д. Меншикова (Меншиковского института), направленной на изучение жизни и деятельности светлейшего князя А. Д. Меншикова и его эпохи, подготовка фундамен-

тальной научной биографии А. Д. Меншикова; просветительская деятельность.

5. Реализация издательской программы по русской истории конца XVIII — начала XVIII в. — «Библиотека Фонда памяти светлейшего князя А. Д. Меншикова».

6. Оказание поддержки на конкурсной основе ученым (историкам, искусствоведам, археологам, историкам архитектуры, филологам), аспирантам и студентам.

7. Содействие возрождению и развитию народных промыслов и ремесел, а также основных направлений декоративно-прикладного искусства, существовавших в России в XVII–XIX вв.

8. Финансирование проектов памятников, памятных знаков, мемориальных досок, а также их изготовления и установки на местах исторических событий, связанных с именем А. Д. Меншикова.

Финансирование Фонда осуществляется за счет добровольных взносов и пожертвований.

Президент Фонда — Сергей Викторович Филиппов;

Почетный Председатель Совета благотворителей Фонда — Александр Васильевич Филипенко, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа;

Почетный Президент Фонда, Председатель Палаты почетных членов Фонда — Даниил Александрович Гранин, писатель, член Президентского Совета Российской Федерации.

Адреса Фонда: 626800, п. Берёзово Тюменской обл., ул. Сенькина, 33;

190000, Санкт-Петербург, ул. Якубовича, 22–9.

Контактный телефон/факс: (812) 312 5220; (34674) 218 44

Internet: www. hmao. wsnet. ru

Даниил Александрович
ГРАНИН

ВЕЧЕРА С ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ
(Сообщения и свидетельства господина М.)

Оформление и рисунки А. Кузьминского
Редактор С. Ефимов
Компьютерная верстка Н. Платоновой
Технический редактор А. Платонов
Корректор Л. Денисова

ЛР № 065052 от 07. 03. 1997
Подписано в печать 20. 06. 2000. Формат $60 \times 90^1/_{16}$
Бумага офсетная. Гарнитура Petersburg
Печать офсетная
Объем 27 п. л. Тираж 5000 экз.
Заказ № 164

Издательство «Историческая иллюстрация».
190000, Санкт-Петербург, а/я 316

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГИПП «Искусство России».
198099, Санкт-Петербург, ул. Промышленная, 38, к. 2

Новый роман известного писателя Даниила Гранина посвящен самой выдающейся и загадочной личности российской истории — императору Петру Великому. Череда героев и событий, таинственных и мистических случаев, придворных интриг, любовных историй и военных триумфов становятся предметом обсуждения и жарких споров компании отдыхающих в санатории на берегу Финского залива.

На страницах романа Петр предстает перед читателем не только Великим Государем, Воином, Созидателем, Ученым, Писателем, но и Человеком со всеми его достоинствами и недостатками, возвышенными и низменными страстями, жестокостью и милосердием.



«Историческая иллюстрация»

Даниил
ГРАНИН

ВЕЧЕРА С ПЕТРОМ ВЕЛИКИМ